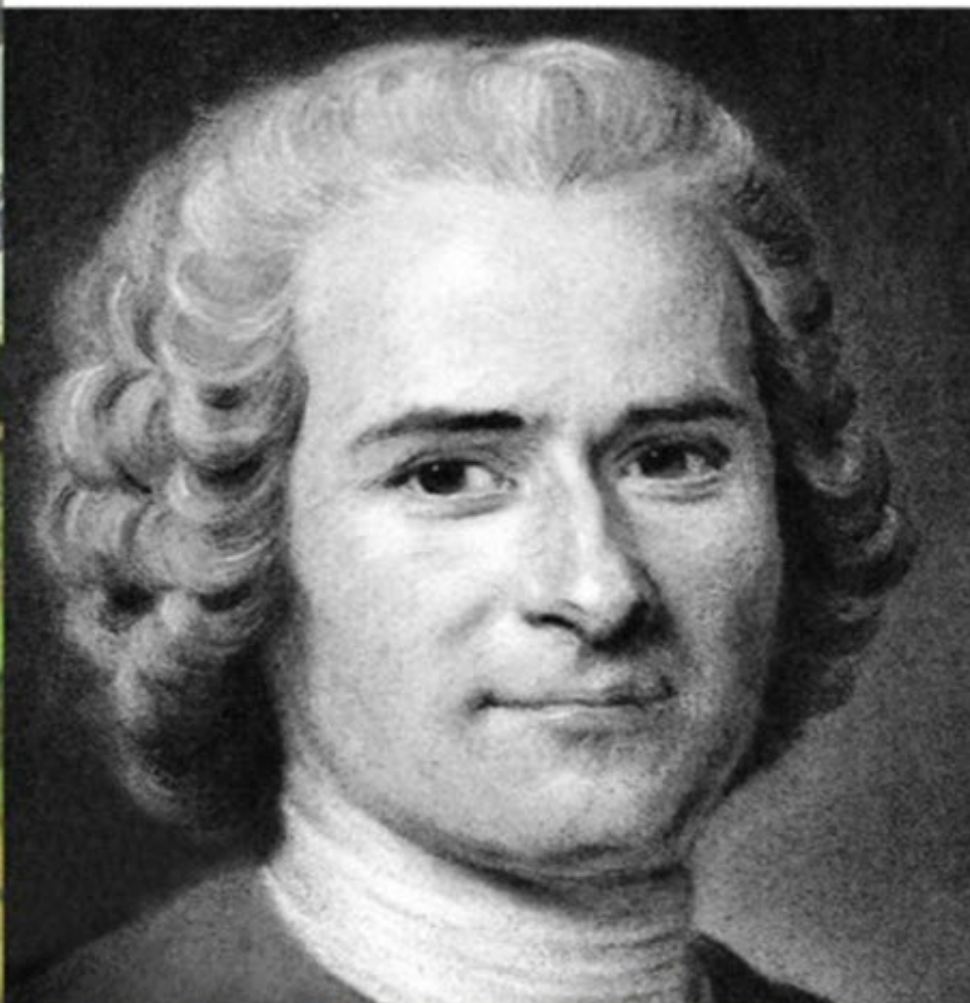


ЖАН-ЖАК РУССО



Рейлон
Труссон



ЖЗЛ — МАЛАЯ СЕРИЯ

Annotation

Выдающийся деятель эпохи Просвещения Жан-Жак Руссо (1712–1778) всегда вызывал интерес и своей необычной судьбой, и своими ни на что не похожими, во многом парадоксальными философскими воззрениями. Родоначальник современного жанра автобиографии в «Исповеди», он представал перед современниками то как любитель парадоксов и софизмов в своих «Рассуждениях», то как властитель душ в знаменитом романе «Новая Элоиза», то как неподкупный законодатель в «Общественном договоре». Он был обожествлен Французской революцией, которая объявила его своим духовным отцом, но в XIX веке на его долю зачастую выпадали прямо противоположные, определения: его то называли анархистом, то видели в нем предтечу будущего тоталитаризма. Сама личность Руссо — одновременно привлекательная и отталкивающая, сложная и противоречивая — до сих пор не перестает вызывать самые страстные споры как среди поклонников этого «защитника вольностей и прав» (слова Пушкина), так и среди его непримиримых противников.

В исходном файле отсутствуют иллюстрации. В случае их появления книга будет дополнена. — Примечание оцифровщика

[Адаптировано для AlReader]



FB2 книгу сделал mefysto

-
- [Реймон Груссон](#)
 - [НАЧАЛО ЖИЗНИ](#)
 - [ОТСТУПНИК И СЛУГА](#)
 - [У МАТУШКИ](#)
 - [В ШАРМЕТТЕ](#)
 - [В ПОИСКАХ УДАЧИ](#)
 - [И НАКОНЕЦ-УСПЕХ!](#)

- [ЗНАМЕНИТОСТЬ](#)
- [ВДАЛИ ОТ МИРА](#)
- [АДСКИЕ МУЧЕНИЯ](#)
- [ОТ «ЮЛИИ» К «ЭМИЛЮ»](#)
- [ОТ РОМАНА К ПОЛИТИКЕ](#)
- [НАВСТРЕЧУ КАТАСТРОФЕ](#)
- [ОТ ПЛОХОГО К ХУДШЕМУ](#)
- [И СНОВА БЕЖАТЬ](#)
- [В ЗАПАДНЕ](#)
- [ИЗ ОДНОЙ ТЮРЬМЫ В ДРУГУЮ](#)
- [ДОРОГА К КОНЦУ](#)
- [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА](#)
- [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ](#)
- [INFO](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)

- [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
 - [35](#)
 - [36](#)
 - [37](#)
 - [38](#)
 - [39](#)
 - [40](#)
 - [41](#)
 - [42](#)
 - [43](#)
 - [44](#)
-

ЖИЗНЬ®
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



МАЛАЯ СЕРИЯ
ВЫПУСК
95

Реймон Труссон

ЖАН-ЖАК РУССО



МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

*

Перевод с французского Е. А. Чижевской

*Текст печатается по изданию:
Trousson Raimond. Jean-Jacques Rousseau. Paris:
Gallimard, 2011*

© Gallimard, 2011
© Чижевская Е. А., перевод, 2015
© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 2015
© «Палимпсест», 2015

НАЧАЛО ЖИЗНИ

«Я родился в Женеве в 1712 году от отца Исаака Руссо, гражданина, и матери Сюзанны Бернар, гражданки». И больше ничего: ни герба, ни генеалогического древа; из предков — только мало что значащие имена.

Первый из известных нам Руссо именовался Дидье — это был сын книготорговца из Монтлери. Когда начались первые преследования протестантов, он, в числе многих других, перебрался в Женеву, бывшую тогда прибежищем новой веры.

В эпоху великих монархий, когда родился Жан-Жак Руссо, Женеве слыла демократическим государством, где граждане сами выбирали своих магистратов. В действительности всё было не совсем так. Гражданами считались только те, кто родился в этом городе от родителей-граждан или зажиточных горожан. Потомственные граждане пользовались всеми политическими и гражданскими правами, имели доступ к любой профессии и обладали правом быть избранными в органы магистратур, вплоть до высших должностей. «Просто» зажиточные горожане приобретали свой статус за звонкую монету, и хотя не могли претендовать на высшие должности, но имели право голоса при выборах в Генеральный совет, а также могли заниматься любыми промыслами и торговлей. Две эти группы не составляли большинства населения: на 18 тысяч жителей их было всего тысячи полторы.

«Женевская демократия» не касалась тех, кто родился от живущих в Женеве иностранцев, имеющих лишь разрешение на проживание, которое всегда могло быть отменено. Они обязаны были платить налоги и подати, допускались к службе в воинских частях, могли заниматься ремеслом, приобретать имущество, но были отстранены от участия во власти — как законодательной, так и исполнительной. Наконец, в самом низу социальной лестницы находились слуги, солдаты-наемники и крестьяне, которые проживали на территориях, относящихся к Женеве. Наш Руссо родился «гражданином», то есть в семье, образ жизни которой отличался от народного.

Впрочем, даже если граждане и буржуа заседали в Генеральном совете, формально независимом, их прерогативы сводились к выбору четырех «синдиков», или первых магистратов, из списка восьми кандидатов, который представляло им настоящее правительство республики. Этим правительством был Малый совет: он состоял из 25

членов («25 тиранов», как скажет впоследствии Руссо), избираемых из Совета двухсот, который сам избирался всё тем же Малым советом. В результате оба эти Совета присвоили себе право назначения других магистратов и чиновников. По сути дела, «женевская демократия» представляла собой олигархию избранных семейств, озабоченных тем, чтобы их строго ограниченный круг не расширялся. «Отцы города» обитали в Верхнем городе, возле собора Святого Петра, а буржуа — в Нижнем городе, в квартале Сен-Жерве.

Упомянутый Дидье Руссо держал трактир и вполне преуспевал в своем деле. Из пятерых его детей лишь один, Жан, пережил своего отца. Он стал кожевником и женился на старшей дочери часовщика, которому по прошествии времени отдал в обучение своего сына, тоже Жана. Так было положено начало традиции: ремесло часовщика передавалось всем Руссо от отца к сыну.

Этих простых ремесленников ни в коем случае нельзя было назвать невеждами. В перечнях имущества, остававшегося после их смерти, мы можем найти не только Библию, но и нравоучительные сочинения в романическом жанре, а также книги по медицине, истории, праву, политике. Таким был и Руссо-отец: «Я как сейчас вижу его — зарабатывающим на жизнь ручным трудом, но и питающим свою душу самыми возвышенными истинами: Тацит, Плутарх и Гроций лежали на его рабочем столе вперемешку с инструментами для его ремесла». Что ни говори, эти люди обладали культурой и гражданским сознанием, отличавшими их от подданных монархий.

В 1657 году Жан 2-й умер, оставив после себя некоторое состояние, а также десятерых детей (всего их у него было девятнадцать, но девять не выжили). Седьмой по счету, Давид, который отошел в лучший мир в 1738 году в возрасте девяноста шести лет, оставил после себя троих детей, один из которых, Исаак, и стал отцом будущего писателя.

Материнская линия присоединилась к классу буржуазии на четыре десятка лет позднее Дидье Руссо. Самюэль Бернар, родившийся в 1597 году, был сперва приказчиком у торговца сукном, а затем женился на дочери своего патрона. Он был человеком культурным, владел прекрасной библиотекой. Когда он умер, его сыну Жаку было всего три года. Возможно, отсутствием отцовского влияния и объясняются проказы Жака, столь неуместные в этом городе, где суровость почиталась первой добродетелью. Кальвинистская Женева являла собой теократию, в которой религия и политика составляли единое целое, — здесь даже приносили клятву «жить по святой евангельской реформации». Консистерия,

состоявшая из почтенных пасторов, пристально наблюдала за религиозной и моральной чистотой жителей города.

Каждодневная жизнь регламентировалась строгими предписаниями, запрещающими лишние расходы: никаких свадебных кортежей, свадебных визитов, пышно обставленных похорон, цепочек к часам, рюшек и одежд с галунами. Внешняя строгость считалась зримым отражением добродетельной души. По крайней мере так было принято в Нижнем городе, тогда как в Верхнем городе «патриции» уже приглядывались к образу жизни соседней Франции. Наш Руссо на всю жизнь сохранит в себе некоторый пуританский дух — склонность к строгим нравам и отвращение к излишеству.

Жак Бернар нередко убеждался на собственном примере, что плоть действительно слаба, — вплоть до 1672 года, когда он женился на Анне-Мариин Машар, дочери законника. В этом союзе, причем менее чем через девять месяцев («неисправимый шалун» поторопился!), родилась Сюзанна Бернар, которая и станет матерью Жан-Жака.

Жак Бернар ушел из жизни в 1682-м, и его брат Самюэль, профессор математики и пастор в своем приходе, взял попечение над маленькой Сюзанной — старшей из трех детей покойного. Таким образом, Сюзанна была племянницей, а не дочерью пастора, как ошибочно думал впоследствии сам Руссо.

Сюзанна получила изысканное образование: уроки музыки, рисунка, пения. Она была любительницей чтения и имела в доме немало романов, которые Жан-Жак поглощал в детстве. Похоже, была очень красивой, любила смеяться и нравиться — эти слабости она унаследовала от своего «шалуна» отца. Женева отвергала любые развлечения, осуждала азартные игры, маскарады; преподавать танцы разрешалось только иностранцам; особо запрещался театр — исключение составляли на короткое время только ярмарочные представления бродячих фокусников. В 1695 году Сюзанне пришлось даже переодеться в крестьянку, чтобы на свой страх и риск отважиться посмотреть комедийное представление в народном квартале Моляр: его давали там заезжие шарлатаны. Она была уличена в этом преступлении и обязана была предстать перед Консistorией, но категорически отказалась. Пришлось отправить ее на допрос к судебному исправнику. Не торопилась она терять и свою девичью свободу: ей было уже 32 года, когда она вышла замуж за Исаака Руссо.

Исаак Руссо родился в 1672 году. Он стал часовщиком, как и его отец и дед. Возможно, он хорошо знал свое ремесло, но, как признавался Жак-Жак, также был «человеком удовольствий» и личностью откровенно

непостоянной. Это же надо додуматься, в 22 года захотеть стать учителем танцев в городе, который считал танцы постыдным занятием! К тому же у него были шальная голова и горячая кровь — он запросто затевал ссору с любым, кто ему не нравился.

Объединил обе семьи случай. Сначала, в начале октября 1699 года, сестра Исаака Теодора вышла замуж за Габриэля Бернара, брата Сюзанны. Затем Исаак попросил руки Сюзанны. И получил ее не без труда, так как имел всего лишь полторы тысячи флоринов (его часть материнского наследства), тогда как Сюзанна имела шесть тысяч от своего дяди, пастора Самюэля Бернара, и должна была получить еще десять тысяч после смерти матери. Но их любовь, утверждал Жан-Жак, отмела прочь эти мелочные различия, и 2 июня 1704 года они поженились.

15 марта 1705 года родился сын Франсуа. К несчастью, легкомысленному и безответственному Исааку не сиделось на месте. Увлекаемый призраком быстрого обогащения, он отплыл в Константинополь и занялся часовым ремеслом в маленькой генуэзской колонии квартала Пера на берегу Босфора. Сюзанна ждала его, как верная Пенелопа. В конце концов одиночество ей наскучило. «Она нежно любила моего отца, — напишет Руссо, — и торопила его с возвращением; он бросил всё и вернулся». Исаак вновь появился в Женеве в сентябре 1711 года, причем с кошельком столь же тощим, как и прежде.

Жан-Жак появился на свет в Верхнем городе, неподалеку от ратуши в доме на Гранд-Рю, приобретенном в середине предыдущего века его прадедом по материнской линии. 4 июля он был окрещен в соборе Святого Петра. Младенец лежал в крестильной купели на руках у богатого торговца сукном, чье имя — Жан-Жак — он и получил. И было это в те самые горестные минуты, когда его мать дома боролась с родильной горячкой, от которой в скором времени и скончалась. Это произошло 7 июля. «Мое рождение, — скажет потом Руссо, — было первым из моих несчастий». Младенец едва не последовал за матерью. Он родился «почти умирающим». Всю жизнь Руссо будет страдать от недоразвития мочевой системы, которое станет причиной «почти постоянного удержания мочи» и ужасных почечных коликов.

Впрочем, недостатка женского присутствия в доме не ощущалось. Младшая сестра отца взяла на себя заботы по хозяйству и попечение о двух сиротах. Даже 60 лет спустя Жан-Жак припоминал отрывки из песенок тетушки Сюзон. Она умерла только в 1774 году в возрасте девяти лет, не имея других средств к существованию, кроме маленького ежегодного пособия, которое Жан-Жак выделял ей в благодарность за те ее

давнишние материнские заботы. Никогда не забывал он и служанку, Жаклин Фараман, его «милую Жаклину», которой он и 50 лет спустя писал ласковые письма и которая умерла за несколько месяцев до его собственной смерти.

Детство Жан-Жака было счастливым. Отец не заставлял его посещать школу, ни к чему не принуждал. Жан-Жак очень рано научился читать, и они вдвоем с отцом принялись поглощать романы, оставленные покойной матерью. Ла Кальпренед, Оноре д'Юрфе, мадемуазель де Скюдери: приключения, галантность, героика — отец и сын упивались этим чуть ли не до самого утра. «Пойдем уже спать, — говорил Исаак, — а то ведь я ребенок еще больше, чем ты». Этими книгами, которые педагог Руссо потом «отберет» у своего воображаемого Эмиля, сам он в детстве напичкал себе голову сверх всякой меры. «Опасная метода воспитания», впоследствии признается он, так как она дает «странные романтические представления о жизни», вместо того чтобы укоренить ее на почве реальности. «Я не имел никакого понятия о реальных вещах, но все чувства были мне уже известны. Я еще ничего не понял, но уже всё прочувствовал».

Любознательный по своей природе, этот ребенок готов был многое узнавать, лишь бы его не заставляли делать это систематически. Исаак, не чуждый образованности, многое рассказывал ему, объяснял траекторию движения Солнца и систему Коперника, давал представление об основах космографии. Зимой 1719 года, исчерпав весь запас романов, отец и сын набросились на библиотеку, доставшуюся им в наследство от пастора Самюэля Бернара, — но она оказалась труднее для переваривания. Конечно, Жан-Жак мог и один развлечься Мольером и «*Метаморфозами*» Овидия, но, читая вместе, отец и сын с головой погружались в книги посерьезнее: «*Историю Венеции*» Нани, «*Рассуждение о всемирной истории*» Боссюэ, «*Беседы о множественности миров*» и «*Диалоги мертвых*» Фонтенеля, смело брались за Тацита и Гроция. Они не дрогнули даже перед шестью тяжеленными томами «*Истории церкви и империи*» Ле Сюэра (Руссо потом уверял, что знает их «почти наизусть»).

Самой большой его страстью были «*Жизнеописания великих людей*» в переводе Амьё: «В шесть лет в руки мне попал Плутарх, а в восемь я знал его наизусть». Так он открыл для себя античную героика, римскую добродетель, свободу греков-республиканцев; Брут и Агесилай оживали у него перед глазами, он слышал их речь, вдохновлялся их примером. И вот уже вечером за столом мальчуган пересказывает с пылом, как молодой патриций Муций Сцевола положил руку в горящие уголья, чтобы наказать

себя за поражение. Ему едва успели помешать положить на горячую печку собственную руку: ведь он и сам грек или римлянин, такой же герой, как они!

Благодаря отцовскому влиянию Женева в глазах мальчика становилась чуть не образцом античной гражданской доблести. Однажды вечером на площади Сен-Жерве солдаты городской гвардии после военных экзерсисов принялись плясать под звуки своих флейт и барабанов. Женщины и дети выбежали на улицы; разливали вино, в едином порыве люди по-братски обнимали друг друга. Взволнованный Исаак позвал сына полюбоваться этим зрелищем. «Жан-Жак, — сказал он, — люби свою страну. Ты видишь этих славных женевцев? Они все — друзья, братья. Радость и согласие царят среди них».

На самом деле эта Женева, единая и неделимая, существовала лишь в воображении Исаака. Еще с конца XVII века город начали сотрясать протестные выступления, вроде тех, что случились в 1734 и 1737 годах. Их свидетелем будет и сам Жан-Жак: тогда протесты с трудом удалось усмирить Посредническим эдиктом, который предоставлял горожанам некоторые незначительные уступки. Да и сам Руссо в период своих *«Писем с горы»* станет причиной таких же серьезных потрясений. И всё же этот отцовский миф рано и потому очень прочно внедрился в его сознание. Романы и Плутарх, патриотизм и гордость республиканца сплелись в нем воедино и породили двойственность его натуры: «сердце гордое и в то же время нежное; характер женственный и всё же непокорный».

Овдовевший Исаак нередко ощущал приливы горечи и потребность говорить об ушедшей супруге. «Ну что, отец, — спрашивал его тогда Жан-Жак, — значит, сейчас опять будем плакать?» Отец любил своего сына, но не мог забыть, что именно его появление на свет стоило жизни любимой жене. Иногда он прижимал сына к сердцу и шептал: «Верни ее мне». Этого могло оказаться вполне достаточно, чтобы наградить мальчугана серьезным комплексом вины. Когда же жизнелюбивая натура Исаака брала верх, он опять становился завзятым охотником и любителем поесть, «человеком удовольствий», не слишком усердным в работе. В июне 1717 года пришлось даже продать дом на Гранд-Рю и устроиться на третьем этаже дома по улице Ку-танс в районе Сен-Жерве.

Руссо почти ничего не рассказывал о своем старшем брате Франсуа, «небрежно воспитанном» и склонном к нехорошим поступкам. Тому едва исполнилось 12 лет, когда отец был вынужден отдать его на шесть недель в исправительный дом. И напрасно: Франсуа убежал оттуда и обокрал не то семейный дом, не то мастерскую. Жан-Жак, более послушный,

естественно, стал любимцем. Его не пускали слоняться по улицам, и он играл со своим кузенком Абрахамом Бернаром, слушал песенки тетушки Сюзон или зарывался в книги. Впрочем, иногда вредничал, как все дети. Так, однажды, чтобы подразнить сварливую соседку, он пописал ей в горшок, пока старая карга была на проповеди. И не раз, вспоминая, посмеивался над этим, когда создавал свою «Исповедь». Словом, у него было беззаботное детство.

Продлилось оно, однако, недолго. В июне 1722 года Исаак охотился в одном лье^[1] от Женевы. Пытаясь проскакать по нескошенному лугу, он поссорился с его владельцем. 9 октября Исаак встретил на улице одного из слуг этого человека и предложил уладить инцидент со шпагой в руке. Для наглецов, отвечал тот, у него есть только палка. Вместо ответа Исаак ударил его по щеке и украсил щеку широким шрамом. Раненый подал жалобу на Исаака, но когда за Исааком пришли, то оказалось, что он исчез: с 11-го числа он скрывался в Нионе, на территории Берна.

Исаак имел вспыльчивую натуру, да и замкнутый образ жизни с двумя детьми действовал на него угнетающе. К тому же он, вне всякого сомнения, чувствовал себя униженным из-за своего социального положения. Когда противников разнимали, Исаак кричал своему обидчику: «Ты еще попомнишь меня: я Руссо!» Он несколько раз повторил: «Я Руссо!» Это был вопль изгоя, оскорбленного презирающим его богачом.

Скрывшись, Исаак оставил своих сыновей на попечение свояка, Габриэля Бернара. С 21 октября Франсуа был отдан в ученики к часовщику. Вскоре, однако, этот неисправимый беглец и вовсе исчез где-то на просторах Германии. Жан-Жак был отдан в пансион вместе с кузенком Абрахамом Бернаром.

Дети оказались в деревне Босси под присмотром пастора Ламберсье и его сестры Габриэль. Жан-Жак тяжело переносил отсутствие отца, но вслух на это не жаловался. Зато деревня привела его в восторг. Он открыл для себя очарование простора и свободы, новизну сельской жизни и мальчишеской дружбы. Вместе с Абрахамом они делали домашние задания, играли, ссорились, мирились, поверяли друг другу секреты. Пастор их обучал, но не нагружал работой.

Жан-Жак провел здесь два года, от которых у него осталось множество воспоминаний, описанных затем в «Исповеди» и в «Эмиле». Так, однажды вечером, чтобы наказать его за насмешки над трусостью кузена, пастор послал его за Библией в церковь. Ночь была черна как смоль, и когда он шел через кладбище, волосы у него на голове вставали дыбом от страха; во тьме склепа ему чудились какие-то жуткие шорохи. Он уже был готов

бежать со всех ног — но тут ясно представил себе, какими насмешками будет встречена его трусость. И тогда он решительно вбежал в церковь, схватил Библию, вернулся, задыхаясь, но торжествуя, и положил ее на стол пастора.

В другой раз мальчики попытались вырастить молодую иву и для этого отвели в сторону воду, предназначенную для орехового дерева, посаженного господином Ламберсье. Тот вскоре обнаружил их ухищрение и разрушил сооруженный ими тайный подземный акведук.

Был еще забавный случай. 24 августа 1724 года король Сардинии проезжал через Босси по дороге в Анси — и, как на грех, мадемуазель Ламберсье угораздило поскользнуться на травянистом склоне и растянуться, задрав юбки, прямо перед носом Его величества. «Я понимаю, что читателю не так уж важно знать всё это, но мне самому обязательно нужно рассказать ему об этом», — писал Руссо. Счастливые воспоминания детства состояли из таких вот пустяков.

Еще одно событие оказалось не менее значимым. Однажды мадемуазель Ламберсье вынуждена была отвесить Жан-Жаку заслуженный шлепок по заднице. О чудо! Ребенок «обнаружил в этой боли, даже в самом стыде, некую примесь чувственности», которая пробудила в нем сладостное волнение, доселе незнакомое. Возникло искушение, но мадемуазель Ламберсье что-то заподозрила и прекратила экзекуцию. От этого шлепка Руссо вел потом отсчет ощущения своей особенной сексуальности и склонности к мазохизму. Несмотря на «взрывной темперамент... очень горячий, сладострастный и слишком рано проявившийся», он избегал девиц легкого поведения: хранил целомудрие из-за своей «постоянной странной склонности», удовлетворить которую ему мешала робость. Как получить от женщин то, что они даже не предполагали от него услышать? Тем более что пуританское женеvское воспитание подавляло стыдливую плоть. Скованный запретами, ребенок мечтал об «известном ему сладострастии и не позволял себе думать о том его виде, который считается постыдным». Поскольку он не мог получить того физического воздействия, к которому тяготел, он довольствовался его заменой — романтической покорностью кавалера у ног своей дамы: «Быть у ног надменной возлюбленной, умолять ее о милости — это было для меня высочайшим наслаждением... Опыта у меня не было, но я не переставал наслаждаться на свой манер, то есть в воображении».

И вдруг и над этим сельским раем грянул гром. Один из гребней мадемуазель Ламберсье был найден поломанным, и в этом обвинили Жан-Жака. Так как он упорно отрицал свою вину, пастор призвал на помощь

дядю Бернара, и тот задал мальчишке хорошую взбучку. «Я вышел из этого жестокого испытания разбитым, но торжествующим». Он не был виноват — и призывал Небо в свидетели даже 40 лет спустя. Именно тогда — Руссо особо настаивает на этом — ребенок обнаружил, что несправедливость существует, что правда не всегда побеждает. Очарование жизни было разрушено, деревня казалась уже не такой прекрасной, даже само солнце померкло. Оба мальчика — а Абрахам поддержал его — перестали уважать пастора и его сестру, начали лгать, нахальничать. Они покинули Бос-си без сожаления.

На несколько месяцев Жан-Жак очутился опять у своего опекуна. Тот не был злым человеком, но при случае мог проявить грубость и, так же как Исаак, был «человеком удовольствий». За детьми он приглядывал довольно рассеянно. Они же развлекались тем, что мастерили клетки, флейты, барабаны, арбалеты, марионеток или же раскрашивали тетрадки. На улицах Сен-Жерве шалопаи насмешничали над Абрахамом — длинным, худым, простоватым; они называли его «*Vata Bredanna*» — «запряженным ослом» (то есть «круглым дураком» на диалекте савояров), и тогда Жан-Жак, защищая друга, набрасывался с кулаками на скверных шутников и бил их — или же бывал побитым.

Время от времени Жан-Жак отправлялся в Ни-он, чтобы повидаться с отцом. Он ничего не рассказывал потом о своих отношениях с ним, зато пересказал историю своих первых любовных увлечений. Он, мальчуган, страстно влюбился в мадемуазель де Вюльсон, девицу двадцати двух лет, которая испытывала к нему симпатию: он писал ей «прочувствованные письма, от патетики которых рухнули бы скалы». Идиллия была короткой: «изменница» предпочла выйти замуж за другого. Более таинственной и волнующей была его привязанность к ровеснице, мадемуазель Готон, любившей изображать из себя школьную учительницу: его скрытые желания достигали апогея, когда он с мольбой стоял перед ней на коленях. Короче говоря, одна взывала к его плоти, другая — к чувствам. Ни одна женщина в его жизни так и не сумеет примирить в нем эти два начала. «Я смотрел на м-ль де Вюльсон с огромным удовольствием, но без волнения, тогда как при одном виде м-ль Готон я уже не мог смотреть больше никуда — все мои чувства приходили в смятение».

Жан-Жаку было уже 12 лет — пора было учиться какому-нибудь ремеслу. Он хотел стать пастором, потому что находил, что говорить проповедь — это красиво. Однако дядя Бернар, будучи человеком практичным, отдал его к секретарю суда Массерону в ратушу. Жан-Жаку там не понравилось, его обозвали ослом и выставили прочь. Тогда дядя

отдал его в ученики к граверу. 26 апреля 1726 года был заключен пятилетний контракт с Абелем Дюкоменом, в котором тот брал на себя обязательство учить подростка ремеслу, давать кров, кормить и, в соответствии с общепринятой формулой, «обучать и воспитывать в страхе Божьем и добронравии, как то подобает отцу семейства».

Таким образом, в его жизни произошли коренные изменения: свободе, праздности и книгам пришел конец. Нельзя сказать, что ремесло Жан-Жаку не нравилось, но молодой хозяин был суров; а сотоварищи — грубы; новому ученику доставались все неприятные работы; он вставал первым, должен был молчать, опускать голову, если выходил из-за стола до окончания обеда. И вот Жан-Жак уязвлен, одинок, несчастен...

Мало-помалу он научился подстраиваться, избегать неприятных обязанностей и подзатыльников, выкраивать для себя время, потихоньку забавляться. Не всегда к добру для себя. Так, он научился изготавливать медали, которые называл кавалерскими орденами. Дюкомен обозвал его фальшивомонетчиком и немилосердно побил. Тогда Жан-Жак стал врать и скрытничать. По натуре он был добр, но злоба окружающих его развращала: вот почему, говорил он впоследствии, все лакеи — плуты и все ученики чаще всего бывают такими же. Его доверчивость эксплуатировали. Один из товарищей по мастерской заставлял его каждое утро воровать в саду своей матери спаржу и продавать ее на рынке — за это он отдавал ему несколько су, и Жан-Жак устраивал себе приличный завтрак. Любитель поесть, он был не прочь стянуть несколько яблок; будучи любознательным, пользовался инструментами хозяина, чтобы смастерить что-нибудь. Денег Жан-Жак никогда не брал. Что это — принцип? Нет, скорее черта характера: он был слишком беспечен, чтобы обставить как следует кражу, и слишком робок, чтобы извлечь из нее выгоду. И главное, он предпочитал непосредственные удовольствия, а деньги для этого не очень удобны: «Деньги ни на что не годятся сами по себе; их нужно преобразовать, чтобы получить на них удовольствие». Когда Жан-Жака однажды уличили в воровстве, он был жестоко избит, и единственной пользой, которую он из этого извлек, был вывод, что «воровство и битье идут вместе».

Итак, Жан-Жак заброшен отцом, позабыт дядей, окружен грубыми товарищами. Чтобы забыться, он опять принялся за чтение: занимал у старой торговки книгами разрозненные тома и с жадностью их проглатывал. Дюкомен отбирал книги, жег их, колотил своего непослушного ученика. Ничто не помогало. Жан-Жак продолжал читать — чтобы отвлечься и заполнить душу мечтой, чтобы забыть хотя бы на время про каторгу мастерской, про грубого патрона и глупые насмешки

товарищей.

Так прошло три года. День за днем он работает напильником и шилом, но мысли его далеко, блуждают во мраке; он «тяжко вздыхает, сам не зная о чем». Развлечения редки. Иногда в воскресенье, после проповеди, он идет вместе с другими в какую-нибудь ближнюю деревню. Однако тут нужна была осторожность: ворота города закрывались с наступлением темноты. Два раза Жан-Жак попадался. На второй раз, утром в понедельник, Дюкомен устроил ему жестокую взбучку и пообещал «угостить вдвойне», если это повторится.

И вот — случилось. 14 марта 1728 года, возвращаясь с полей, Жан-Жак издали увидел, что ворота опять вот-вот закроют. Он рванулся вперед, кричал, махал руками... Поздно. Его товарищи, более привычные, рассуждали более здраво. Он же, после минуты отчаяния, принял решение: в Женеву он больше не вернется. Тут сыграл свою роль, конечно, страх перед побоями, но больше — нежелание и далее смириться с этим безнадежным существованием.

Утром он вызвал кузена Абрахама, которого не видел с тех пор, как стал учеником. Абрахам пришел, принес ему кое-какие мелкие вещицы на память, снабдил маленькой шпагой, поцеловал и ушел.

Вспоминая через много лет свое прошлое, Жан-Жак спрашивал себя в конце первой книги своей *«Исповеди»*: что было бы с ним, если бы Дюкомен оказался лучшим наставником, если бы отец не покинул его, если бы он тогда нашел настоящего друга, поддержку в жизни, если бы... «Я был бы добрым христианином, порядочным отцом семейства, хорошим другом, хорошим ремесленником, хорошим во всем и везде...» Но... он не стал бы Жан-Жаком Руссо. В сущности, он ушел вовремя. За три года ученичества он успел приобрести «скверные наклонности... к низкому плутовству», стал лгуном, воришкой, лицемером. К счастью, в свои 15 лет он был еще не до конца испорчен, и это оставляло некоторую надежду на благотворную перемену в жизни.

ОТСТУПНИК И СЛУГА

Два или три дня Жан-Жак слонялся вокруг города, добывал себе пропитание, оказывая людям мелкие услуги, спал в амбарах. Его отец к тому времени уже был женат второй раз и не интересовался им. Оставалось одно — пуститься на поиски приключений: «Я без оглядки отправился в большой мир».

Юный беглец проследовал в Конфиньон, что в двух лье от Женевы, где жил господин Понвер — один из тех кюре, что специализировались на возвращении раскаявшихся протестантов в лоно католической церкви. У него всегда можно было найти надежный кров и хороший стол. Жан-Жак воспитывался в протестантской вере и потому, как он сам признавался, испытывал «особенное отвращение» к «папскому идолопоклонству». Но жить-то надо было. Понвер накормил его обедом. В «Исповеди» Руссо потом писал, что тогда устоял от искушения навязать бедняге кюре религиозную дискуссию. И поступил правильно: не надеялся же в самом деле пятнадцатилетний «богослов» одержать верх над искушенным проповедником! Но стоило ли ему и 40 лет спустя доказывать, что он тогда «и не думал менять религию»? Понвер снабдил его рекомендательным письмом к «одной доброй и очень милосердной даме» и отправил в Анси.

Жан-Жак не слишком торопился выслушивать поучения набожной католички. Наконец, 21 марта, в Вербное воскресенье, он заявился в город и справился об этой даме. Ему сказали, что она только что ушла в церковь. Он побежал следом и догнал ее. И что же — вместо сварливой святоши, которую он себе представлял, он увидел перед собой очаровательную блондинку двадцати восьми лет: «лицо, исполненное ласки, прекрасные, нежные голубые глаза, ослепительный цвет лица и восхитительные очертания груди». Она пробежала глазами рекомендательное письмо Понвера и воскликнула своим нежным голосом: «Ах, дитя мое!.. Вы такой юный и уже остались без пристанища... Идите ко мне домой и ждите меня там. Скажите, чтобы вам дали позавтракать. После мессы я вернусь, и мы с вами побеседуем».

...Франсуаза Луиза де Ла Тур родилась в Верве, на берегу Лемана, весной 1699 года. Она рано потеряла мать, а отец, женившись второй раз, оставил ее на попечении двух теток, которые воспитывали ее, не слишком заботясь об исправлении ее независимой и капризной натуры. Образованная, умевшая музицировать и петь, имевшая приданое в 30 тысяч

лир, она в 15 лет была выдана замуж (это случилось 22 сентября 1713 года) — за дворянина Себастьяна Исаака де Лоис де Виллардена, отставного офицера двадцати пяти лет, ранее служившего в Пьемонте; он владел землей близ Верве. Франсуаза стала мадам де Варан, или де Варане в немецком произношении.

Молодая семья в 1728 году устроилась в Лозанне; там господин Варан занимал различные муниципальные должности. Он был хорошим мужем, серьезным, уравновешенным, чуждым сантиментов. Она же обладала живым умом, любила чтение, общество, светские приемы. В 1724 году Франсуаза вернулась в Верве и там, не имея ни детей, ни занятий, умирала от скуки. Она была умна, но расточительна и хотела, чтобы ее оценили по достоинству. Была ли она красива? Трудно сказать: ни один из ее портретов не имеет достоверного сходства. Жан-Жак описывал ее так: маленького роста, немного полноватая, но голова и руки восхитительные. В любом случае очаровательная, как признавал один из соседей, господин де Конзье: чарующая улыбка и великодушное, щедрое сердце. Была ли она верной супругой? О ней не ходили слухи ни в Лозанне, ни в Верве, но Жан-Жак упоминает о ее любовниках: это был офицер, господин де Тавель, который научил ее презирать провинциальную мораль и внушил, что плотские отношения как таковые не имеют совершенно никакого значения; кажется, был еще некий пастор.

Чтобы избавиться от скуки, молодая женщина убедила мужа вложить средства в мануфактуру, выпускавшую шелковые и шерстяные чулки, но в этой ее затее было больше честолюбия, чем умения. Начиная с 1726 года предприятие постепенно стало чахнуть. Хозяйка оказалась в долгах; стали поговаривать, что она будет иметь дело с самой Консistorией. Тогда она решила бежать — под предлогом лечения в Амфионе. В ночь с 13 на 14 июля она отплыла на корабле; ни о чем не подозревавший господин Варан сам проводил ее. Супруга отбыла не с пустыми руками: взяла с собой кассу своей мануфактуры, партию товара, серебро, посуду, белье, покрывала, дорогие безделушки и драгоценности.

План Франсуазы был хорошо продуман. В церкви Эвиана, когда там находился король Сардинии в сопровождении монсеньора Бернекса, епископа Анси, мадам де Варан бросилась к ногам почтенного прелата. 8 августа ее привезли в Анси, наскоро обучили в местном монастыре, и уже 8 сентября беглянка сменила конфессию. На следующий год господин Варан получил развод. Она же, хотя и стала католичкой, продолжала считаться замужней, носить фамилию мужа и даже титул баронессы. Ее трогательное «обращение в истинную веру» было вознаграждено. Король Виктор-

Амадей назначил ей пенсион в полторы тысячи ливров за достаточно темную роль агента-осведомителя, а церковь добавила еще пятьсот, благодаря чему она взяла на себя обязанности «обратительницы в веру» на жалованья. Она расположилась в удобном доме вместе с горничной и доверенным помощником Клодом Ане, который служил ей еще в Верве (он тоже сменил конфессию), а также кухаркой и садовником. У нее появились средства к существованию, и она продолжала жить беспечно, представляя собой легкую жертву для разного рода шарлатанов и нахлебников...

Вот с этой женщиной и повстречался Жан-Жак. Он был робким и неловким, но мог нравиться: «Я не был красивым мальчиком, но при маленьком росте был хорошо сложен, у меня были стройные ноги, красивые ступни, мечтательный вид, живое выражение лица, миловидный рот, черные волосы и брови, глаза маленькие и даже глубоко посаженные, но при этом умевшие бросать выразительные взгляды, — следствие огня, горевшего в моей крови». К тому же его юный возраст вызывал умиление, и он так выразительно рассказывал свою «жалобную историю»...

Мадам де Варан не могла посоветовать беглецу вернуться домой, но всё же постаралась описать ему тревогу отца, беспокойство близких. Однако на этот счет у Жан-Жака не было никаких иллюзий. Так, дядя Бернар, узнав о его бегстве, 20 марта добрался до Конфиньона, но двигаться дальше не стал. Отец же 25-го числа прибыл в Анси, откуда его сын уехал накануне, но затем возвратился в Нион. «Похоже, — писал Руссо, — что мои близкие тайно сговорились с моей звездой предоставить меня той судьбе, что ожидала меня». Это мягко сказано: попросту говоря, о нем никто не заботился.

Покоренный Франсуазой «с первого свидания, с первого взгляда», он уже не оглядывался на прошлое. Однако оставаться в ее доме юноше было бы неприлично. «Бедный мальчик, — сказала она ему, — ты должен идти туда, куда призывает тебя Господь, но когда ты станешь взрослым, ты вспомнишь обо мне».

Так куда же призывал его Господь? На сей раз он соизволил принять облик некоего Сабрана, «здоровенного мужлана». Для беглецов, вроде мальчугана Руссо, в Турине, столице Сардинского королевства, существовал приют: там обращаемых кормили, давали им кров, обучали, предоставляли место. Сабран предложил сопровождать юного «еретика» в Турин, и Жан-Жак, которого мадам де Варан снабдила небольшой суммой, поплыл по течению «без особого отвращения». Он начинал убеждаться, что «религия, проповедуемая такими миссионерами, не может не привести в рай».

Природа была прекрасна. Ему предстояло пересечь Альпы, как некогда Ганнибалу, — и он мечтал о будущем, вспоминая о ласковой улыбке своей покровительницы: «Я тогда находился в том редком, но драгоценном периоде жизни, когда ее полнота дает нашему существу развитие всех его ощущений и украшает в наших глазах весь мир прелестью нашего собственного существования».

Путешествие длилось около двадцати дней. Сабран, набожный проныра, держал перед Жан-Жаком поучительные речи и даже облагодетельствовал его своими обносками и несколькими су.

12 апреля 1728 года тяжелая, окованная железом дверь приюта Святого Духа захлопнулась за Жан-Жаком, и он, отступник от своей веры, вернулся к действительности. Здесь до него уже восемь или девять неофитов «вступили на истинный путь». Среди особ мужского пола «четверо или пятеро были законченными бандитами»: два еврея, а также арабы или левантинцы^[2], жизнь которых протекала в периодической смене вероисповеданий. Среди «дам» большинство являли собой «настоящих мошенниц и самых бесстыдных шлюх, которые когда-либо оскверняли колыбель Господню». Исключение составляла разве что восемнадцатилетняя евреечка с плутовскими глазками, которая присоединилась к компании через два дня после него.

В «Исповеди» Жан-Жак потом написал, что был ошеломлен быстротой событий и не сразу осознал взятые на себя обязательства, но потом «с настоящим ужасом» понял, что находится на грани «бандитского преступления». Сбежать? Но как обратно перебраться через Альпы и куда идти потом? Он решил выиграть время и, «не принимая окончательного решения о переходе в католичество», оказывать своим «обратителям» возможно долгое сопротивление, а для этого собрать воедино всё то, что он помнил из своего религиозного образования, вместе с обрывками из «Истории церкви» Ле Сюэра, прочитанной когда-то с отцом. Он неплохо управлялся со старым болтливым святошей, кое-как говорившим по-французски, но с молодым священником, более ловким и лучше подкованным, сражение затянулось.

Жан-Жаку уже не терпелось покинуть приют. Его поведение создавало ему проблемы, и вдобавок с ним приключилась неприятность. Один из его компаньонов, левантинец Алеп, дымя плохим табаком, недвусмысленно дал ему понять, что он вполне в его вкусе. Жан-Жак пожаловался администратору, но тот пояснил ему, что нечего устраивать из этого трагедию. Тогда парень решил, что со всем этим надо кончать. Объявленный преступником за нежелание отречься от «ереси», он предстал

перед отцом-инквизитором. Это был монах-доминиканец, который грубо спросил у него, думает ли он о том, что его мать будет проклята. Затем его, закутанного в серый балахон, отвели в церковь Сан-Джиованни для крещения.

В «Исповеди» Руссо написал, что «путь к спасению» занял у него около трех месяцев. Сохранившийся журнал приюта этих сведений не подтверждает: Жан-Жак был принят 12 апреля, заявил о своей согласии 21-го и окрещен 23-го. Удивительное упущение: в журнале не указана дата его ухода из приюта. Убежал ли он в самый день своего крещения, как об этом говорится в «Исповеди»? Сбежал ли потому, что его удерживали насильно, как написано в «Эмиле»? Или оставался там некоторое время вполне добровольно?

И как насчет его ожесточенного сопротивления? Более вероятно то, что Руссо на тот момент вполне примирился с католицизмом, в лоне которого пребывал вплоть до 1754 года. В конце концов, что мог поделывать подросток без поддержки, без средств к существованию? Но вот автор «Исповеди», успевший к тому времени стать автором «Исповедания веры» и «Писем с горы», хочет убедить нас — а главное, и себя самого, — в том, что согласие на отступничество было вырвано у него после ожесточенного сопротивления. В его «Прогулках» об этом будет сказано точнее: «Я был еще ребенком, избалованным, тщеславным, убаюканным надеждами, вынуждаемым необходимостью, — и потому стал католиком».

Если при этом Жан-Жак рассчитывал на какие-то сказочные выгоды, то ему пришлось разочароваться. Ему сунули в руку 20 франков, собранные на улице во время религиозной процессии, и показали на дверь. «Отступник», а заодно и «простофиля», он очутился на мостовой Турина.

Новообращенный нашел себе пристанище на улице По у солдатской жены, стоило это одно су за ночь. Здесь ночевали безработные слуги, все вместе, кучей. За шесть-семь сольдо он получал на обед немного сыра, кислого молока, фруктов, пару яиц и хрустящую булочку. Как настоящий зевака, он бродил по Турину, посетил королевский дворец, открытый для любопытных, смотрел смену караула, пристраивался к процессиям. По утрам ходил в королевскую капеллу послушать «лучший симфонический оркестр Европы» и мечтал о герцогине, с которой можно было бы «завести роман».

На 20 франков не разгуляешься, и Жан-Жак стал ходить от лавочки к лавочке, предлагая выгравировать на посуде какую-нибудь дату или герб. Однажды на Контра-Нова он зашел в лавочку к «исключительно пикантной брюнетке», рассказал ей, как обычно, свою «жалобную историю» и

предложил свои услуги. Мадам Базиль была еще совсем молода. Ее мужу, много разъезжавший по делам, поручил ее наблюдению своего приказчика-сквернословца, который сразу же искренне возненавидел юношу. Жан-Жак получил здесь работу: он составлял счета, переписывал начисто книги записей, переводил некоторые письма. И, конечно же, воспылал любовью к прекрасной туринке — не меньше, чем когда-то к мадемуазель Вюльсон. «Я не осмеливался смотреть на нее, не осмеливался дышать подле нее... Я пожирал жадным взором всё, на что мог смотреть, не будучи замеченным, — цветы на ее платье, кончик ее красивой ножки, полоску ее стройной белой руки, выглядывавшую между перчаткой и манжетой, и иногда — то, что показывалось между краем выреза платья и платком».

Однажды через полуоткрытую дверь он увидел ее бродящей по комнате. Охваченный страстным порывом, он в коридоре бросился на колени, протянув к ней руки. Зеркало его выдало. Не произнес ни слова, не взглянув на него, мадам Базиль только выразительным жестом пальца указала ему место у своих ног. Жан-Жак, потеряв голову от счастья, одним прыжком оказался в указанном месте. Никто из них не произнес ни слова, не пошевелился. Не менее робкая, чем он, мадам делала вид, что не замечает его, — он же ожидал жеста ободрения. Шум, донесшийся с кухни, вывел их из «этого состояния — смешного и восхитительного». Молодая женщина пришла в себя, заставила его подняться; он осмелился дважды прижать ее руку к своим губам. Эта сцена больше не повторилась. Через несколько дней вернулся муж и, выслушав доклад приказчика, поторопился отослать юношу.

Добрая мадам Базиль успела к тому времени передать ему немного денег, белья, шляпу, и Жан-Жак имел вполне приличный вид. Его жилищная хозяйка сообщила ему, что некая дама хочет нанять его на работу. Легко увлекающийся Жан-Жак вообразил, что наконец-то вступает в «мир высоких приключений». Увы! Этой даме был нужен всего лишь слуга. «Таков был неожиданный результат, к которому свелись мои великие надежды».

Дама была из большой семьи савояров. Вдова графа Верселли, образованная, говорившая на двух языках — французском и итальянском, она проживала в палаццо Кавур и умирала там от рака груди. Поскольку она вела обширную переписку, она сделала Жан-Жака своим секретарем: он должен был писать под ее диктовку. Чувствительному молодому человеку было скучно записывать сухие тексты своей педантичной госпожи: «Мое сердце требовало сердечных излияний, однако при условии, что оно найдет отклик в другом сердце». Мадам Верселли же имела душу

возвышенную, но холодную; она занималась благотворительностью, но лишь как христианской обязанностью, без сердечного участия. Напрасно Жан-Жак пересказывал ей свою «жалобную историю», показывал свои письма к мадам де Варан — графиня не проявляла признаков растроганности. Она должна была бы, по его мнению, «заинтересоваться молодым человеком, подающим некоторые надежды». Но это оказался не тот случай. «Она видела во мне только слугу и потому не давала мне возможности проявить себя в ином образе».

Мадам де Верселли умерла 19 декабря 1728 года. Ее племянник, граф де ла Рокка, выделил семейству Лоренцини, служившему графине в течение двадцати лет, пожизненную ренту в 200 ливров и пособие в 600 ливров — их племяннице. Жан-Жаку мадам де Верселли оставила, как и всем своим «низшим слугам», сумму в 30 ливров. Руссо надеялся на большее. Он остался при убеждении, что Лоренцини оговорили его перед хозяйкой: «Я был для них подозрительным персонажем. Они прекрасно видели, что я находился здесь не на своем месте». Откуда он это взял?

Пребывание Жан-Жака в палаццо окончилось плохо. Бесцельно бродя по дому, который постепенно пустел, он заметил серебристо-розовый бант, принадлежавший племяннице Лоренцини, и машинально взял его. Казалось бы, безделушка! Но бант принялись искать и нашли его у Жан-Жака. Растерявшись, он ухватился за первую попавшуюся соломинку: обвинил молоденькую кухарку-арабку Марион в том, что это она дала ему этот бант. Та отрицала, он настаивал. Девчушка рыдала: «О, Руссо! Я-то считала вас добрым. Вы делаете меня несчастной, но я не хотела бы быть на вашем месте».

Граф де ла Рокка не знал, что и думать. В конце концов он ограничился тем, что предоставил виновного его собственной совести. Кража была ничтожной, но она всё же марала репутацию Марион. Через 40 лет угрызения совести продолжали мучить Руссо. Он никогда не раскрывал этого секрета — ни в церковной исповеди, ни мадам де Варан, и только гораздо позже, в «Исповеди», попытался объяснить свой поступок. Оказывается, он тогда обвинил Марион, потому что думал о ней. «Я обвинил ее в том, что она сделала то, что я хотел сделать, и что она дала мне бант, потому что мое намерение было в том, чтобы дать его ей». Стыд и здесь помешал ему признаться. Он предпочел до конца упорствовать в своем малодушии.

Жан-Жак вернулся на улицу По. Будущее его было темно, но шестнадцатилетнего юношу будоражили пылкие мечтания: «Я был рассеян, беспокоен, мечтателен. Я плакал, вздыхал, мечтал о счастье, о котором

ничего не знал». В свойственной ему манере он признавался, что испытывал ненасытную потребность в женщине: «Я бы отдал жизнь, чтобы хоть на четверть часа увидеться с мадемуазель Ротон». С ним случился еще один памятный эпизод, одновременно смешной и стыдный. Он пристрастился бродить по дворам, темным аллеям, и когда видел проходящих мимо девушек, то снимал штаны и поворачивался к ним задом, надеясь, что какая-нибудь раскрепощенная плутовка поймет его «приглашение». Это едва не кончилось плохо. Однажды возмущенные кумушки накинулись на него, грозя метлами, и призвали на помощь прохожего, у которого оказалась большая сабля. Безобразника настигли и крепко схватили за птиво-рот, но он придумал, как можно выпутаться, и прикинулся слабоумным.

«То герой, то ничтожество» — задатки у него были хорошими, а жизнь — плохой. Но нашелся человек, который отнесся к нему, как отец. Жан-Жак познакомился с ним у мадам де Верселли — это был аббат Жан-Клод Гэм, который заинтересовался парнишкой, способным на глупости, но не ничтожеством, — вот только все понятия перемешались у него в голове из-за беспорядочного чтения. Аббат взялся убедить его, что высшие добродетели пускаются в ход вовсе не каждый день и что вполне достаточно заставить себя добросовестно выполнять небольшие ежедневные обязанности. Он сумел затронуть душу Жан-Жака, который больше нуждался в искреннем участии, чем в убедительных речах. Позднее Руссо отдаст должное этому человеку, избрав его прототипом для своего «савойского викария».

Через пять-шесть недель граф де ла Рокка призвал его к себе и сообщил, что хочет помочь ему: ввести в среду, где он сможет пробить себе дорогу, хотя сначала и придется побыть простым слугой. «Как — опять слугой?»

Его новым хозяином был Оттавио Франческо, глава дома Соларо, граф де Гувон, маркиз де Брогли. Это был дворянин при покоях Ее величества, посланник, министр, управляющий герцога Амадея де Савуа-Кариньяна, главный конюший королевы. Старик по-доброму расспрашивал юношу, взялся представить его маркизе де Брей, супруге своего старшего сына, аббату Гувону, своему второму сыну, и своему внуку графу Фавриа. На этот раз Жан-Жаку хватило здравого смысла понять, что обычно так не обращаются с человеком, которого нанимают как простого слугу. Если ему и придется подавать к столу, то не нужно будет носить ливрею и стоять на запятках кареты. Как и у мадам де Верселли, в его обязанности входило писать письма; еще он помогал юному Фавриа вырезать картинки и

наклеивать их в альбом. В первые недели Жан-Жак показал себя таким, каким его и ожидали видеть: разумным, любезным, добросовестным — и при этом без показного усердия.

Вскоре он обратил внимание на внучку хозяина Полину Габриэль де Брей, красивую нежную брюнеточку примерно его возраста. Воздерживаясь от мечтаний о «невозможной любви», он все же украдкой подстерегал ее, восхищался ее гибкой талией, запускать глаза в декольте. За столом он старался предупредить малейшее ее желание. Но кто замечает слугу? «Я был убит тем, что совершенно ничего для нее не значил. Она не замечала даже, что я нахожусь рядом». Помог случай. Однажды, во время праздничного обеда, заговорили о девизе дома Соларо, вышитом на гобелене: «*Tel fieri qui ne tue ras*». Некий пьемонтец заметил, что сюда вкралась орфографическая ошибка: слово «*fieri*» (гордый) пишется без буквы «*t*» на конце. Старик собирался уже ответить, как вдруг заметил легкую улыбку на губах Жан-Жака и предложил ему высказаться. Не изменяя скромности своего тона, тот пояснил, что «*fieri*» — это старинное слово, которое происходит не от латинского «*fērus*» — гордый, жесткий, угрожающий, а от «*ferit*» — «он бьет», и потому весь девиз означает: «Тот, кто бьет, — не убивает». Присутствующие в изумлении воззрились на слугу-эрудита. Граф поздравил его, и весь стол заплодировал. «Этот момент был короток, но восхитителен во всех отношениях. Один из тех редких моментов, которые расставляют всё по своим местам, — мстят баловням судьбы за незаслуженные почести».

В тот вечер он был на вершине блаженства. Недостижимая мадемуазель де Брей бросила на него взгляд и робко попросила пить. Жан-Жак заторопился с графином в руке. Он был так взволнован, что перелил через край ее стакана и пролил даже на нее. Он задрожал как лист, а она покраснела. «Тем и закончился роман»: напрасно он бродил у нее в прихожей — она больше не взглянула на него.

На следующий день старый граф направил Жан-Жака к своему сыну, аббату Гувону, который был не столько богословом, сколько беллетристом. Тот вернул юношу к занятиям латынью, заброшенным со времени Босси, помог ему с изучением итальянского языка, научил правильно выбирать чтение и совершенствовать свой вкус. Наконец-то Жан-Жак «выходил вон из ряда». Семейство Гувон имело дело с дипломатией и министерством, и им нужен был способный человек, который был бы обязан им всем. От него требовались только серьезное отношение к делу, старание и упорство. Этого было слишком для романтической головы Жан-Жака: «Не видя во всем этом ни одной женщины, я нашел такой способ продвижения

медленным, тягостным и печальным».

Случай — именно он управлял всегда его судьбой — довершил остальное. Ему повстречался некий Пьер Бакль, тоже беглец, знакомый ему еще по временам Дюкомена. Ах этот чертов Бакль! Краснобай, шутник, весельчак, чья голова была вечно набита всякими причудливыми прожектами. Жан-Жак привязался к нему, забросил учебу, начал слоняться по улицам. Это не понравилось: Жан-Жака старались призвать к порядку, упрекали, грозили уволить. Эти угрозы поневоле открывали ему иные горизонты, за которыми брезжил блистательный образ мадам де Варан. Поскольку ему самому не хватало смелости принять решение, он предпочел подождать, пока у его хозяев лопнет терпение. Дело кончилось тем, что его выставили вон — как неблагодарного, каким он, в сущности, и был.

Жан-Жак нимало не был огорчен, предвкушая «жизнь настоящего бродяги». В кармане у него бренчало несколько экю, которые ему всё же дал на прощание Гувон. Приятели рассчитывали теперь на имевшийся у них «фонтан Герона» — забавное приспособление, в котором давление воздуха использовалось для разбрызгивания воды. Разве можно было сомневаться в том, что в награду за такое развлечение трактирщики будут бесплатно кормить их? Однако чудо техники сломалось, и за неимением средств друзьям пришлось ускорить шаг.

По мере приближения к Анси Жан-Жак ощущал всё больше неловкости. «Что она скажет, увидев, что я вернулся?» Напрасно он думал о ее доме как об «отцовском»: хотя мадам де Варан и писала ему письма, но знала-то она его всего три дня. Да еще заявиться к ней в компании этого сумасброда Бакля!.. Он стал холодно обращаться с приятелем. Бакль был не из тех, кто навязывается. У ворот Анси они расстались. Жан-Жак бросился на шею приятелю — и продолжил свой путь один.

Жан-Жак дрожал при мысли, что сейчас увидит женщину, к которой привязался с первого взгляда. Он ее увидел — и бросился к ее ногам. «Бедное дитя, ты снова здесь?» Пока ему готовили постель, он разбирал свои пожитки и рассказывал, рассказывал... Он слышал, как мадам де Варан шептала горничной: «Пусть говорят, что хотят, но раз уж Провидение опять посылает его мне, я решила не бросать его на произвол судьбы». Был июнь 1729 года, Жан-Жаку исполнилось 17 лет.

У МАТУШКИ

Почти сразу «быть у нее» стало означать: «быть у себя». «Как получилось, что с первого дня, с первой минуты я усвоил по отношению к ней такие свободные манеры, ласковый взгляд, дружеский тон, — так, как это будет и десять лет спустя?» Ответ прост: «Я был «Малыш», а она была «Матушка». У савояров «матушкой» называли обычно хозяйку дома, но в данном случае слово приобрело прямое значение, так как мадам де Варан была для него «самой нежной матерью» — Жан-Жак всегда настаивал на этом. Он не успел узнать свою мать, а у нее никогда не было детей... Подле нее он расцвел, его неустойчивость сменилась «восхитительным спокойствием».

Вскоре мадам де Варан по-настоящему привязалась к этому юноше. Он же рядом с ней обрел защиту, узнал, что такое нежность, и его чувства к ней доходили до экзальтации. При виде ее глаза у него наполнялись слезами, он страдал от ее отсутствия. Жан-Жак целовал ее постель, простирался на полу, по которому она ступала. При этом она не волновала его как женщина. «Рядом с ней у меня не было ни порывов, ни желаний». Он даже перестал заниматься мастурбацией — «этой опасной заменой», уделом робких натур с развитым воображением: «Я стал благоразумным, потому что любил ее».

Он, так быстро устававший от мелких каждодневных обязанностей, стал буквально ее правой рукой: составлял проекты, переписывал бумаги, так как у мадам де Варан всегда было на уме какое-нибудь новое предприятие. Когда у нее вдруг возникло пристрастие к медицине, он толлок порошки или присматривал за перегонным кубом, и дом оглашался раскатами смеха. По дому постоянно расхаживали какие-то посетители, бродяги, бедолаги неудачники. Не опасаясь более за свое будущее, Жан-Жак вернулся к чтению, подбадриваемый Матушкой: из-за своего «немного протестантского вкуса» она предпочитала читать Бейля и Сент-Эврмона, высоко ценила Ла Брюйера, но не одобряла циничного Ларошфуко. Вместе склонив головы над книгой, они комментировали, обсуждали ее. Малыш забросил романы ради более серьезного чтения: «Зрителя» Жозефа Адисона, Сент-Эврмона, «Генриады» Вольтера, «Словаря» Бейля и даже книг по естественному праву Пуфендорфа. Он приучился читать более основательно и приводить в систему свои сумбурные познания.

У юноши счастливое состояние души — и всё же Матушка тревожится

за него. Чем Малыш может заняться в жизни? Она попросила своего родственника, господина д'Обонна, проэкзаменовать Жан-Жака. Тот побеседовал с ним и покачал головой: парень звезд с неба не хватает. Разве что годится быть сельским кюре... Руссо потом объяснял, почему произвел такое разочаровывающее впечатление. Ум у него медленный, зато чувства легко воспламеняются, а способность рассуждать — ленивая; его рукописи пестрят исправлениями и оговорками: «Можно подумать, что мое сердце и мой ум принадлежат разным индивидам... Это достаточно хорошо объясняет, почему я, не будучи глупцом, часто таковым казался». В светском обществе дело обстояло еще хуже. Робость вынуждала его что-то бессвязно бормотать, лишала возможности вовремя и достойно ответить. Он знал за собой этот недостаток и потому придерживался в разговоре общих мест — из страха допустить какой-нибудь ляпсус. «Я любил бы общество, если бы не был уверен в том, что покажу себя в нем не только в самом невыгодном свете, но вообще не тем, кто я есть. Решение, принятое мною, — спрятаться и писать в тишине, — было именно то, что мне нужно».

Значит, сельский священник... В конце августа — начале сентября Жан-Жак стал семинаристом. Он попал под начало малоприятного лазариста^[3], который наводил на него ужас и оттого не давал проявить свои способности, но, к счастью, вскоре был заменен молодым аббатом Жаном-Батистом Гатье, который сумел заслужил доверие юноши и впоследствии так же, как аббат Гэм из Турина, стал одним из прототипов «савойского викария» в «Эмиле». Жан-Жак мог, конечно, показаться неспособным к учебе — с его ненадежной памятью и стойким отвращением к систематическим занятиям...

Готовясь стать кюре, он однажды стал свидетелем чуда. 16 октября 1729 года в монастыре францисканцев^[4] вспыхнул пожар. Монсеньор де Бернекс пал на колени и вознес к небу молитвы — ветер подул в другую сторону и квартал был спасен. Спустя 13 лет Руссо подтвердит этот факт письменным свидетельством, понадобившимся для причисления этого епископа к лику святых; то есть в 1742 году Руссо оставался таким же верующим, как и тогда — в 1729-м: «...Будучи тогда искренним католиком, я действительно верил». Интересный факт — особенно для будущего ниспровергателя всяческих чудес.

Учеба в семинарии продлилась лишь три месяца. Жан-Жак оказался славным парнишкой, но с «малыми способностями». Он был смущен, а Матушка — та и вовсе убита горем. Но он принес в семинарию кантаты

Клерамбо и сумел самостоятельно разобраться в них. Мадам де Варан увидела в этом знак свыше, указывающий на его призвание: Малыш будет музыкантом. Она шепнула словечко господину Лемэтру, преподавателю музыки при капитуле собора, и в октябре 1729 года несостоявшийся семинарист подался в музыканты. Ему нравились музыка и пение, он был равнодушен к убранству церкви, красоте псалмов — и очень хотел угодить Матушке. И всё же больших успехов он не делал и потому вновь был охвачен смутным беспокойством: «Я был рассеян, мечтал и вздыхал». Продержавшись пай-мальчиком целый год, он ощутил тягу к «новым безумствам».

В один февральский вечер демон приключений предстал перед ним в виде некоего музыканта-француза, подрабатывавшего своим ремеслом и называвшего себя Вентуром де Вильневом. Одет он был забавно: поношенный черный фрак, несвежая рубашка, слишком большие гетры и маленькая шляпа. Что до его внешности, то он был коренастым, подволакивал ногу, и манера держаться у него была, как у «горбуна с плоскими плечами». Но при этом — какая свобода в обращении, знание «всего Парижа», знакомство «на ты», как он утверждал, с музыкантами и актрисами, да еще знает музыку и хорошо поет! За короткое время он стал любимчиком всего Анси, особенно дам. Жан-Жак с открытым ртом взирал на этого паяца — такого непринужденного, обольстительного и умного, облаченного в богемный наряд. Мадам де Варан и заезжий «маэстро» друг другу не понравились: он находил ее манерной, а она почуяла в нем обаятельного шалопаю, представлявшего опасность для ее Малыша.

Матушка нашла предлог, чтобы удалить его от этой опасности. Дело в том, что бравый Лемэтр, прикладываясь к бутылке, иногда держал речи, которые возмущали капитул собора, состоявший из дворян и профессоров Сорбонны. В канун Пасхи он решил бросить своих каноников — как раз на Святой неделе. Жан-Жаку поручили, вместе с управляющим Клодом Ане, секретно переправить в ближайшую деревню тяжелый ящик, в котором были инструменты Лемэтра, а затем Жан-Жак должен был сопроводить его до Лиона. Путешествие окончилось плохо. В ответ на жалобу капитула драгоценный ящик был конфискован церковными властями. Музыкант все это время пил не просыхая, даром что был подвержен приступам эпилепсии. На третий день по прибытии в Лион Лемэтр рухнул прямо на улице, исходя пеной, а Жан-Жак, обезумев от страха, стал звать на помощь. И что за дурацкий стыд вдруг напал на него? Вместо помощи товарищу он скользнул в толпу собравшихся зевак и сбежал, лишив этим бедолагу единственной поддержки. Еще один грех,

который он никогда не сможет себе простить.

Теперь он думал только о том, чтобы вернуться к Матушке, хотя и не ожидал, что его похвалят за такое поведение. «Я не видел для себя другого счастья, кроме как жить подле нее, но каждый мой шаг давал мне почувствовать, что я удаляюсь от этого счастья»...

Он вернулся — и не нашел ее. «Представьте себе мое удивление и боль!» Руссо так никогда толком и не узнал, куда она уезжала. К счастью, Вентур де Вильнев по-прежнему был здесь. Он снимал жилье у сапожника и предложил Жан-Жаку разделить с ним это убогое жилище. Руссо согласился и теперь «не сводил глаз с г-на Вентура... восхищаясь им, завидуя его талантам» и не надеясь когда-нибудь обладать такими же. Когда он не ходил за ним по пятам, то заходил к горничной мадам де Варан, Анне-Марии Мерсере, двадцатилетней милашке, или к Эстер Жиро, приходящей кастелянше, «с сухой черной физиономией, выпачканной в испанском табаке». Впрочем, как женщины они его не устраивали: «Швей, горничные, торговки меня нисколько не привлекали. Мне нужны были барышни». Что это — тщеславие? Нет, вкус к изяществу: ему нравились хорошо одетые девушки, с белыми нежными руками, от которых хорошо пахло, — другие не будили его воображения. И однажды ему повезло.

В то утро, 1 июля 1730 года, Жан-Жак ни свет ни заря отправился побродить за город. Он прогуливался вдоль ручья, когда вдруг услышал топот лошадей и девичий щебет. Его окликнули по имени: две юные всадницы не могли заставить своих лошадей перейти через ручей. Одну из всадниц он знал: встречал ранее у мадам де Варан. Это была семнадцатилетняя мадемуазель де Граффенрид из Берна: она была родом из хорошей, но обедневшей семьи, и потому ей пришлось стать компаньонкой двадцатилетней Клодины Галле. Проявляя любезность, Жан-Жак зашел в воду по колено, потянул лошадей за поводья и перевел их через ручей. Он уже собирался распрощаться, но девушки задержали своего кавалера, чтобы поблагодарить за помощь, — пригласили его на пикник во владения Галле, неподалеку от Тона (или Туна, на диалекте савояров). Мадемуазель де Граффенрид посадила его на круп своего коня позади себя, и он обхватил руками ее талию. Сердце его забилося так сильно, что молодая девушка заметила это и призналась, что ее сердце тоже беспокойно — «из страха упасть». В нашем положении, вспоминал с улыбкой старик Руссо, это звучало как «предложение проверить сказанное на деле».

День пролетел, как сон. Расположившись на широком лугу, они расставили провизию и принялись завтракать. Затем за приятным разговором занялись подготовкой обеда. После полудня они забрались в

сад. Жан-Жак, взобравшись на дерево, бросал в них вишни, а они снизу, крича и смеясь, обстреливали его орехами. Шутнику удалось уложить «обойму» своих «пуль» прямо в корсаж мадемуазель де Галле, которая весело смеялась этому. «Я говорил себе: почему мои губы не эти вишни? Я с такой радостью опустил бы туда их тоже». Он не допустил ни одного двусмысленного жеста: на нечто большее робкому юноше не хватало храбрости. На минутку оставшись наедине с мадемуазель Галле, он отважился поцеловать ей руку. Он ничего не сказал, она тоже. «О мои читатели! Не заблуждайтесь. В своих любовных отношениях я часто испытывал больше удовольствия, заканчивая поцелуем руки, чем получали вы — таким поцелуем только начиная».

С наступлением вечера они отправились обратно тем же манером: Жан-Жак на крупе лошади позади мадемуазель де Граффенрид, мечтая при этом о мадемуазель Галле и немного влюбленный в обеих сразу. Они пообещали друг другу встретиться еще, но больше никогда не увиделись.

На следующий день, устав торчать под их окнами, он решил написать письмо мадемуазель де Граффенрид, так как не осмеливался обратиться к мадемуазель Галле; при этом ему в голову пришла странная идея — поручить доставку бедняжке Эстер Жиро, которая вздыхала по нему. За это она устроила ему своеобразную месть. Анна-Мария Мерсере хотела съездить к родителям во Фрибург. Эстер посоветовала ей взять Жан-Жака в спутники, и они вдвоем пустились в дорогу, причем расходы взяла на себя девушка. Милашка Анна-Мария, как уверял Жан-Жак, была к нему равнодушна и хотя, по ее словам, была очень стыдливой, но в трактире снимала одну с ним комнату. И тщетно, потому что он совсем не проявил предприимчивости. Потом он не мог не заехать в Нион, чтобы обнять отца: «Проехать мимо и не повидать моего доброго отца! Если бы я поступил так, я бы потом умер от сожалений!» Впрочем, лучше бы он этого не делал. Мачеха встретила его прохладно, а добряк отец расплакался и стал упрекать его за обращение в католичество, при этом косо поглядывая на простушку Мерсере. Из Ниона молодые люди поехали в Фрибург, и там Жан-Жак провел еще два дня, а затем попрощался с Анной-Марией.

Возвращаться в Анси? Но что там делать, если нет Матушки? Не раздумывая, Жан-Жак бросился в «самое большое чудачество» в своей жизни — очередное бродяжничество. Сначала он добрался до Лозанны — просто чтобы посмотреть на Женевское озеро в самом широком его месте. Он снял жилье у одного славного человека, который согласился держать его у себя в кредит и даже нашел ему учеников. Дело в том, что Жан-Жак, толком не умея разобрать по нотам простые песенки, выдал себя за

парижского учителя музыки. Лгать так лгать — и он придумал себе «музыкальное» имя: назвался приблизительной анаграммой своей фамилии — Вуссор де Вильнев.

С поразительной беспечностью музыкант-самозванец взялся дать концерт у господина Треторена, преподавателя права и меломана: сыграл маленькую пьесу собственного сочинения, вдобавок украсив ее менуэтом, который весь город и так знал наизусть. К тому времени он еще не перестал жить мечтами — как тогда, когда воображал себя Муцием Сцеволой. Воображение живо рисовало, каким он *должен был* быть. Но его слушатели имели не такое богатое воображение, как он, зато уши — достаточно чуткие. Его «оригинальный» менуэт имел особый успех! На следующий день вся Лозанна покатывалась от хохота.

После столь «блистательного» концерта ученики, естественно, не торопились выстраиваться к нему в очередь. Но Жан-Жак быстро утешился. Время от времени он отправлял письма мадемуазель Галле и мадемуазель де Граффенрид или бродил по городу: он был счастлив уже тем, что видел улицы, по которым когда-то ходила Матушка. В августе или сентябре он добрался до Верве — он вспомнит его пейзажи, когда будет писать «*Новую Элоизу*». Затем, в ноябре 1730 года, он прибыл в Нешатель. Преподавая музыку ученикам, которые понимали в ней еще меньше, чем он, Жан-Жак все-таки кое-чему научился и опять нашел себе учениц. Однако он был всё так же одинок и по воскресеньям гулял за городом, «вечно мечтая и вздыхая».

Однажды, в начале апреля 1731 года, в одной кабачке в Бодри, что километрах в пятнадцати от Нешателя, Жан-Жак заметил любопытного персонажа, щеголявшего в фиолетовой робе и меховом чепце и украшенного огромной бородой. Он с трудом пытался что-то сказать на каком-то ломаном языке. В конце концов они заговорили на итальянском и понравились друг другу. Путешественник представился: отец Атанасиус Паулус, греческий прелат и архимандрит ордена Святых Петра и Павла в Иерусалиме. Это был один из тех прохвостов, которые умеют внушить к себе доверие. Предложение он сделал заманчивое: почему бы Жан-Жаку не сопровождать его в качестве секретаря и переводчика в сборе пожертвований на восстановление Гроба Господня?

Соблазненный Жан-Жак предоставил своим ученицам самим изучать сольфеджио и отправился вслед за монахом. Поначалу всё шло неплохо. Так, во Фрибурге сенат внес свою малую лепту; в Берне, благодаря рвению секретаря, тоже были неплохие сборы.

Гораздо хуже пошли дела в Солере, когда «архимандрит» обратился за

благотворительным взносом к французскому послу. Увы, господин де Бонак ранее был послом при Святом престоле и хорошо знал, как обстоят дела с Гробом Господним на самом деле. Ему не понадобилось и четверти часа, чтобы выставить обманщика вон. Секретарю оставалось только одно: броситься к ногам господина де Бонака, объявить себя жертвой так называемого «святого человека» и опять рассказать свою «жалобную историю». Жан-Жак сумел растрогать своей горькой судьбой супругу посла и отблагодарил ее, сочинив в ее честь фрагмент кантаты. Это произвело сильное впечатление: секретарь посла, устраивая его в комнате, где когда-то провел ночь поэт-изгнанник Жан-Батист Руссо^[5], сказал даже, что только от него, Жан-Жака, зависит, чтобы когда-нибудь было сказано: здесь был «Руссо первый и Руссо второй».

Будущий «Руссо второй» провел там несколько дней и в начале мая вернулся в Нешатель. Здесь он обнаружил, что все его ученицы разбежались. Должно быть, дела его были совсем плохи, если ему пришлось обратиться к отцу: «Должен признаться Вам, что нахожусь в Нешателе в полной нищете, в чем виновата моя неосторожность... Если бы Вы по-настоящему понимали мое нынешнее положение, то возмущение сменилось бы в Вашей душе жалостью... Что я буду делать, если Вы мне откажете? В каком трудном положении я окажусь? Нужно ли, чтобы я очернил свое имя недостойным — после многих лет безупречной жизни, несмотря на превратности неверной фортуны? Нет, мой дорогой отец, Вы этого не допустите».

Тон этого письма выдает полное его отчаяние. Одновременно он написал Эстер Жиро, чтобы прощупать почву у мадам де Варан: как она отнеслась к тому, что он бросил беспомощного Лемэтра, к его исчезновению из Анси, к его долгому бродяжничеству по протестантской стране? В этом письме уже проглядывают первые ростки его литературных амбиций. «Я много работал со времени моего отъезда», — пишет он Эстер и небрежно предлагает показать ей свои сочинения. Конечно, его литературный багаж пока еще совсем не велик. Кроме поэмы, написанной в Анси для Вентура, фрагмента кантаты для мадам де Бонак и «*Письма Коршута императору Селиму*» (фантазии на турецкую тему, навеянной одним из рассказов его «архимандрита»), он набросал еще буколическую пьесу и эпистолу^[6], в которых просвечивают ассоциации с Ариосто^[7] и отроческое увлечение романтическим чтением.

Призыв о помощи не остался без ответа: Жан-Жак получил из Анси от доброго епископа рекомендательную записку для господина де Бонака и

снова направился по дороге в Солер, где его ждали несколько рекомендательных писем, сто франков на дорогу и обещание помочь найти местечко в Париже от некоего полковника Годара: он искал человека в услужение своему племяннику, который поступал на службу в армию. Узнав об этом, Жан-Жак тут же вообразил себя ни много ни мало маршалом Франции — несмотря на близорукость, которая могла быть помехой на полях сражений...

Париж открылся ему со стороны предместья Сен-Марсо и произвел жуткое впечатление: грязные улицы, заваленные отбросами, обшарпанные лачуги, возле которых носилась ребятня в лохмотьях, бродили старьевщики и горланили торговки овощами. Оказалось, что его рекомендовали людям, которым вовсе не было до него дела. Что же до полковника Годара, то Жан-Жак очень быстро понял, что тот искал для своего племянника слугу без жалованья. Прощайте, «мраморные дворцы и золото...». Он узнал также, что мадам де Варан опять уехала не то в Пьемонт, не то в Швейцарию или Савойю... Благодаря еще одной субсидии от великодушного Бонака он смог продолжить свой путь.

При мысли, что он сможет увидеть Матушку, Жан-Жак был по-настоящему счастлив; в дороге его воображение ожило, он опять был предоставлен только себе самому и своим грезам. Он даже сделал круг, чтобы повидать Форез и берега Линьона, где разворачивалось действие «Астреи»^[8], но с сожалением обнаружил, что дивная «призрачная страна» из книги оглашается на самом деле грохотом кузнечных молотов и наковален.

В Лионе, в монастыре Шазо, подруга мадам де Варан посоветовала Жан-Жаку подождать от нее известий. Времени на долгое ожидание у него не было, так как он обнищал до такой степени, что вынужден был ночевать на скамейках под открытым небом. Впрочем, в нищете была своя прелесть: так, он провел восхитительную ночь под аркой террасы на берегу Соны, заснув под пение соловья. Но дни тянулись долго, а в жизни случается всякое — к примеру, ему дважды пришлось отрещиваться от гомосексуальных поползновений. Один добрый священнослужитель вывел его из затруднения, дав ему переписывать ноты за кров, пищу и несколько су.

Наконец до него дошли деньги от мадам де Варан, которая ждала его в Шамбери, где обосновалась сама. На сей раз он не утруждал себя окольными путями, покончив с грезами. В конце сентября — начале октября 1731 года птичка вернулась в гнездо.

В ШАРМЕТТЕ

У Матушки была хорошая новость. По указу короля Сардинии было предпринято составление земельного кадастра в Савойе. Жан-Жак был назначен одним из трех сотен секретарей, в чьи обязанности входило классифицировать документы по фамилиям владельцев в алфавитном порядке. Это было, конечно, хорошо, но помещение, в котором предстояло работать, ему не понравилось: уродливое здание — мрачное, с прогнившими полами и крысами, да еще и без сада. Матушка арендовала его у генерального контролера финансов, который выплачивал ей пенсией.

Жан-Жак опять увидел возле Матушки неизменного Клода Ане, но сейчас посмотрел на него другими глазами. Это был крестьянский парень родом из Монтре, племянник садовника господина де Варана в Верве, который последовал за своей хозяйкой в ее изгнании и отречении. Хозяйкой — в двойном смысле этого слова^[9]. Жан-Жак очень быстро это понял. Он имел с ним довольно резкий разговор, после чего этот парень выпил целую чашку лауданума^[10], и Матушка, напуганная, вынуждена была вызвать помощь и как-то объяснять ситуацию. Жан-Жак не испытывал никакой физической ревности, но в сердце его больно кольнуло: «Мне тяжело было узнать, что кто-то может жить с ней в большей близости, чем я». Впрочем, тот, другой, парень двадцати пяти лет, серьезный, рассудительный, одаренный способностями к ботанике и травничеству, даже нравился ему. Да и вообще, все, кто любил Матушку, «любили друг друга».

Отныне Жан-Жак трудился по восемь часов в день шесть дней в неделю «в скучном бюро, провонявшем дыханием и потом всей этой деревенщины, большей частью нечесаной и немытой». Он загрустил, и — дурной знак — чтение опять становится для него настоящей потребностью. За рабочим столом он рисует цветочки и пейзажи.

Весной 1732 года Ане убедил мадам де Варан арендовать в предместье сад, чтобы засадить его растениями. Вместе с садом был арендован и маленький домик, кабачок, — там Жан-Жак время от времени находил себе убежище. Для развлечения они иногда музицировали; Матушка давала у себя любительские концерты: Жан-Жак дирижировал, а сама Матушка пела дуэтом то с одним, то с другим.

И тут произошел очередной вираж в его судьбе. Жан-Жак вообразил себя музыкантом и певцом, и работа с бумагами сделалась для него окончательно невыносимой. До такой степени, что позднее он вспоминал,

что потратил на нее целых два года, хотя на самом деле — всего восемь месяцев: он уволился 7 июня 1732 года. Теперь у него были другие намерения — стать учителем музыки. Он убедил Матушку, что ему необходимо совершенствоваться в этом деле, и она согласилась нести соответствующие расходы. Итак, Жан-Жак отправился в Безансон, чтобы брать уроки у аббата Бланшара, преподавателя музыки при соборе. Этот аббат, как пояснял Жан-Жак в своем письме, обнаружил у него «чудесный талант». К сожалению, аббат вскоре покинул Безансон и уехал в Париж. Однако он обещал: если его ученик глубоко изучит композицию и подождет два года, то он ручается за то, что сможет упрочить его положение как музыканта. Пока же Жан-Жак должен был преподавать музыку в Шамбери.

Он был в восторге. «Я благоухаю розой и флёрдоранжем: мы поем, беседуем, смеемся, забавляемся». Его ученицы так грациозны — настоящий питомник райских птиц. Даже дочери буржуа милы — как, например, Перонна Лард, столь же глупенькая, сколь красивая, с которой он поет дуэтом: «Лукас, Лукас, горит мой дом». Музыкальное ремесло не приносит дохода, но устраивает его, особенно при отсутствии принуждения и строгого распорядка. Осенью или зимой 1732/33 года Жан-Жак заболел воспалением легких и воспользовался временем, которое потребовалось для выздоровления, чтобы разобрать «Трактат о гармонии» Рамо и кантаты Бернье и Клерамбо — мало-помалу он становился настоящим музыкантом.

Эта вполне мирная профессия привела, однако, к непредсказуемым последствиям. Опаснее, чем сами ученицы, были их маменьки. Одна из них, бакалейщица мадам Лард, посматривала на него с вождедением и при встрече всегда приветствовала его поцелуем — прямо в губы. Невинный Жан-Жак рассказал об этом Матушке — без всякой задней мысли.

Мадам де Варан нисколько не обманывалась насчет намерений пламенной бакалейщицы и пришла к выводу, что «пора считать его мужчиной». В один прекрасный день она привела его в свой домик и имела с ним серьезный разговор, из которого Жан-Жак заключил, что она предлагала себя на ту роль, на которую претендовала мадам Лард: во-первых, для того чтобы он не попал в плохие руки, а во-вторых — потому что было бы «несправедливо, если другая женщина займется обучением ее ученика». Она дала ему восемь дней на размышление, что все-таки было не очень романтично.

И что же: показался ли ему этот срок слишком долгим — с его-то «пылким и сладострастным темпераментом»? Ничуть. «Как случилось, что я ожидал наступления этого часа больше с тревогой, чем с удовольствием?

Почему вместо предвкушения наслаждений я ощущал только страх и отвращение?.. Я слишком любил ее, чтобы воздержаться». Он любил ее, но не так, как должен был бы, по ее мнению. Посвящение в мужчины все-таки совершилось — без сомнения, в том же домике. «Был ли я счастлив? Я всё же испытал удовольствие. Но я не знаю, что за непреодолимая грусть отравила мне его. Я чувствовал себя так, словно виновен в кровосмесительстве».

Матушка превратилась для него просто в женщину, и это смещение понятий погрузило его в глубокую грусть. Именно поэтому ему понадобилось любой ценой оправдать поведение мадам де Варан. Ведь будучи новообращенной, она находилась под пристальным наблюдением общественности маленького городка, живущего сплетнями; повторно выйти замуж она не могла, так как церковь не признавала ее протестантского развода; не могла она и ответить на ухаживания мужчин из порядочного общества. Она вынуждена была держаться очень осторожно, чтобы на нее не пала даже тень подозрения. Такой человек, как Клод Ане, был менее всего на виду. Но в случае с Жан-Жаком — впала ли она в искушение перед еще неизведанным? Бедняга не знал, что об этом и думать. Конечно, софизмы, изрекавшиеся ее первым любовником, господином де Тавелем, успели развратить если не ее сердце, доброе от природы, то ее ум, убедив ее: «ничто так не привязывает мужчину, как обладание женщиной». То есть сексуальный акт не имеет значения сам по себе, но позволяет привязать к себе мужчин, которым отдаешься. Она поверила в это с тем большей легкостью, что, «имея невинное сердце и ледяной темперамент», сама не получала никакого удовольствия. Чтобы «приращение» было чистым, Матушка должна была быть фригидной, свободной от подозрения в сластолюбии. Но как все-таки понимать ее выбор — иногда «мало достойный ее»? Она была слишком добра и отдавалась «несчастненьким». А как насчет деления себя между двумя? Ведь Клод Ане обо всем знал. И Жан-Жак возводит в ранг возвышенного союза промискуитет^[11]: «Сколько раз она умиляла наши души и заставляла нас обмениваться поцелуями со слезами, говоря, что мы оба необходимы ей, чтобы быть счастливой. И пусть женщины, которые прочтут это, не улыбаются лукаво. С ее холодным темпераментом такая потребность вовсе не была двусмысленной: это была исключительно потребность ее души. Так между нами трем установилась общность, подобной которой, возможно, еще не было на земле». Короче говоря, грех, но грех возвышенный... Это был союз самовнушений.

Мадам де Варан мечтала создать в Шамбери Королевский

ботанический сад и фармацевтический колледж, в котором Клод Ане мог бы стать официальным демонстратором. Но однажды утром, собирая высоко в горах альпийскую полынь, парень схватил плеврит, от которого и умер 13 марта 1734 года. Странная все-таки это была идея — собирать травы в начале марта в горах, покрытых снегом. Если верить Руссо, Клод как нельзя лучше воспринял то, что мадам Варан разделила свою благосклонность между ними двумя. Однако это весьма странно со стороны человека, который, по словам того же Руссо, был «бурным в своих страстях, и хотя никогда этого не показывал, но был пожираем ими изнутри». Годом ранее он уже глотал лауданум всего лишь из-за какой-то ссоры. Не было ли теперь это тоже самоубийством — на сей раз удавшимся?

Так Жан-Жак потерял своего «самого надежного друга» и испытал «самую живую и искреннюю печаль». Позднее, однако, он со стыдом признается, что это не помешало ему думать о том, что ему достанется красивый черный фрак покойного и, конечно, о том, что теперь он остался один возле Матушки. Но теперь, к несчастью, ему приходилось следить в одиночку за домом, а на это сил у него не хватало. Умница Клод вызывал уважение Матушки еще и своей деловитостью. Теперь, когда Мальш недовольно ворчал по поводу своей занятости, она только посмеивалась над ним. Впрочем, Матушка стала относиться к нему больше как любовница, чем как мать, и принялась баловать его: одежда, безделушки, часы, серебряная шпага, уроки танца и фехтования. Жизнь шла полным ходом!

Иногда Жан-Жака охватывал писательский зуд. Вот им записаны несколько мыслей о красноречии; вот эпизод из его пребывания в Париже — семейная ссора на улице Сен-Дени; отрывок о женском героизме, фрагмент рассуждения о природе Творца и свободе человека; начало большого очерка о важных событиях, скрытой причиной которых были женщины, — но после нескольких строк очерк заброшен... И ничего законченного. Но и ничего пустого — его ум начинал просыпаться...

Здоровье же тем временем уже начинало его беспокоить. Весной 1735 года он даже подозревал у себя чахотку. «Шпага протыкает ножны, — вспоминал он по этому случаю французскую поговорку. — Это как раз про меня. Я жил страстями, и страсти меня убивали». Какие страсти? Женщины, так как он «горел любовью, не имея ее предмета». Матушка оставалась для него Матушкой, а потому не могла утолить его желания. Невозможно дать этому более точное объяснение, чем сделал он сам: «У меня была нежная мать, дорогая подруга, но мне нужна была любовница. И

я представлял ее себе на месте той, привычной. Я создавал себе тысячу ее образов, постоянно желая перемен. Когда я держал в объятиях Матушку и знал, что держу именно ее, мои объятия не были от этого менее крепкими, но мои чувства молчали. Я мог бы плакать от нежности, но наслаждения не испытывал».

Жан-Жак беспокоился о будущем, даже предполагал возможный крах из-за их немалых с Матушкой расходов и ее расточительства. Таков уж был его характер — весь из крайностей. Он мог проводить ночи напролет за изучением музыки, переживать несчастья героя романа до такой степени, что сам чувствовал себя больным. Если брался за шахматы, то упорно старался выучивать партии наизусть — до полного оупения.

Это была экзальтированная, склонная к угнетенному состоянию натура: нередко за приступами меланхолии следовали возбуждение и беспричинные слезы. Обеспокоенная Матушка заботилась о нем, убаюкивала его, и он становился «полным ее творением, ее ребенком». Можно догадаться, в чем здесь было дело: если он чувствовал себя хорошо, то приходилось быть любовником, продолжать «кровосмесьство»; если же он был болен, то мог оставаться Мальшом, а она — Матушкой. Если она надеялась крепче привязать его к себе, деля с ним постель, то она ошиблась. Раньше он действительно с трудом переносил разлуку с ней; теперь же ему годились любые предлоги, чтобы отлучиться в Нион, Женеву, Лион.

Жан-Жак не слишком торопился перейти во взрослое состояние. Его пригласили давать уроки музыки господину де Конзье, дворянину-савояру, соседу мадам де Варан. Учитель больше времени уделял разговорам о литературе, чем музыке, и благодаря ученику открыл для себя только что вышедшие «*Философские письма*» Вольтера и его переписку с императором Фридрихом II. Эти сочинения вдохнули в него стремление научиться писать так же изящно. Однако доходов от этого ждать не приходилось...

В конце 1735 года молодой человек пишет длинное послание отцу, которого серьезно беспокоило его будущее. Он перебирает разные возможности, но как-то неуверенно. Церковь, юриспруденция или коммерция — на это нужен капитал. Остаются три варианта. Продолжать преподавать музыку — на это можно прожить; можно стать секретарем у какого-нибудь «большого» человека — у него для этого есть стиль, преданность, учтивость; наконец — и он предпочел бы именно это — можно стать гувернером при каком-нибудь молодом сеньоре. Он знаком с науками и беллетристикой, он нравствен и религиозен. Конечно, имеется

«некоторая неправильность в прошлом поведении» (мягко сказано), но это не так уж важно, так как он почувствует себя готовым к этому поприщу только «через несколько лет». Заключительная часть послания, однако, сводит на нет все предыдущие рассуждения. Так в чем же его настоящее призвание? — Оставаться там, где он есть, и оказывать мадам де Варан «все услуги, на которые он способен». Однако несправедливо было бы думать о нем как о человеке праздном: «Это верно, что тщета моих литературных занятий очевидна, но я полностью посвящаю свое время учебе». Правда состояла в том, что в нем уже проснулось что-то значительное, чему он не мог противиться.

Пока же он продолжал быть печальным, подавленным, его постоянно немного лихорадило, ни к чему не было интереса. Матушка предлагала: почему бы не снять домик в деревне (не оставляя при этом дом в Шамбери, дающий некоторый постоянный доход), где больной мог бы поправлять здоровье на свежем молоке и свежем воздухе?

В 1736 году, а возможно, даже годом ранее, мадам де Варан арендовала дом у некоего Филу, который, в свою очередь, арендовал его у некоего господина Ноэре. Однако в сентябре 1737 года дом этот уже оказался занят, и Матушка вынуждена была довольствоваться домом Ревиль, который был куда меньше. Когда же владение Ноэре вновь освободилось, она вернулась туда и 6 июля 1738 года подписала арендный договор. Здесь и развернулась идиллия Шарметта — это название обозначало не столько сам дом, сколько долину, где он находился. Идеальная сельская резиденция: удобная, не слишком большая, с садом, огородом, голубятней, виноградником, ульями, фонтаном, а немного выше — луга для выпаса скота. Одним словом, рай: «Здесь было начало короткого счастья моей жизни... Я вставал с солнцем — и радовался; я гулял — и радовался; я видел Матушку — и радовался. Я покидал ее — и радовался; я бродил по лесам, долинам, читал, наслаждался праздностью, работал в саду, собирал фрукты, помогал по хозяйству — и счастье было со мной везде. Оно не находилось в какой-либо определенной вещи — оно всё было во мне и не покидало меня ни на минуту».

Итак, Жан-Жак был счастлив, но по-прежнему нездоров. Он жаловался на сердцебиение, шум в ушах, одышку, бессонницу. А вдруг он умрет? Опасения за свою жизнь привели его к религии. Он разговаривал о ней с Матушкой, вера которой отличалась некоторым своеобразием. Она была очень добра по натуре и потому отказывалась верить в ад и в «Бога карающего». В ее глазах Иисус был «образцом истинно христианского милосердия», но она не утруждала себя богословскими тонкостями. Это была религия сердца, исповедовавшая первенство совести в делах веры —

наследие пиетизма^[12] ее юности. Из-за этого своего пиетизма Матушка в некоторых областях жизни напрочь забывала о воздержанности: «Она могла бы каждый день абсолютно спокойно спать с двумя десятками мужчин — без всяких угрызений совести, как и без всякого, впрочем, сладострастия».

Начитавшись книг Порт-Рояля, сам Жан-Жак относил себя к «полуянсенистам»^[13], запугивал себя «Богом карающим» и задавался вопросом, будет ли он предан гибели. Для него интеллектуальные искания уже тогда были неотделимы от реально переживаемого. Этот кризис сознания был краток: примиряющая вера Матушки и беседы с двумя иезуитами вернули ему доброе расположение духа.

Матушке нравилось жить на природе, и с приходом зимы она с сожалением сменила Шарметт на Шамбери. Весной они поторопились вернуться в Шарметт. Жан-Жак вставал на заре и благодарил Господа за благодатные Его творения. Затем он подходил к постели Матушки поцеловать ее, еще полусонную; потом они вместе завтракали, выпивали по чашке кофе с молоком и беседовали у открытого в сад окна. После чего наступало время занятий.

Интеллектуал-самоучка открыл для себя в «Беседах о науках» отца Лами методу самообразования, которая заключалась в сочетании умственных упражнений с нравственным самосовершенствованием. С пером в руке он засел за философов: «Логика» Порт-Рояля, «Очерк о человеческом разумении» Локка, Декарт, Мальбранш, Лейбниц пополняли его «склад идей». Затем шли геометрия, алгебра и наконец латынь — ее Жан-Жак никогда не будет знать в совершенстве, хотя сумеет перевести, и очень хорошо, Сенеку и Тацита. «До двадцати пяти лет ничему не научиться и потом захотеть всё узнать — это означало взять на себя обязательство употреблять всё свое время с пользой». В полдень полагался небольшой перерыв: прогулка по саду, еда, легкая беседа, наблюдение за ульями, фруктовым садом. Затем возвращение к работе; к предметам менее сложным: истории, географии, хронологии, астрономии. Шалопай, который еще не так давно дурачился с Баклем или Вентуром, превратился в серьезного молодого человека, В 1736 году он писал: «Я составил себе план занятий для развития души и ума — и следую этому плану неукоснительно».

Теперь Жан-Жак учился сам, без принуждения, и потому учился хорошо. Он взялся также «поухаживать» за лирической музой: написал забавную безделушку — *«Куплеты г-же баронессе де Варан»*.

Однажды произошел неприятный случай. Жан-Жак пробовал сделать симпатические чернила^[14], реторта взорвалась прямо ему в лицо — и он недели на две лишился зрения. Решив, что настал его последний час, он продиктовал завещание, предусматривавшее вклады в различные монастыри, которые должны были помолиться об упокоении его души; долю, положенную отцу «по закону», несколько сотен ливров в счет долга книготорговцам и две тысячи ливров мадам де Варан — «за содержание и поддержку в течение десяти лет». Теперь он мог, как настоящий богач, распоряжаться своим наследством. Дело в том, что 28 июня 1737 года, как раз на следующий день после этого несчастного случая, он по женевскому закону стал наследником и претендентом на долю в материнском наследстве — из суммы, полученной от продажи в 1717 году ее родного дома. 12 июля Руссо предъявил свои права и 31-го числа получил на руки 6500 флоринов; такая же сумма предназначалась его пропавшему брату Франсуа, смерть которого не была официально установлена.

Матушке в это время не хватало денег на ее сельскохозяйственные проекты. Жан-Жак поспешил положить свое состояние к ее ногам, не обратив должного внимания на некоего Винсенрида, ставшего при ней кем-то вроде нового интенданта. На новичка он посматривал несколько искоса, да и чувствовал себя неважно. Что, если у него приключился полип на сердце — болезнь, бывшая тогда в моде? И тут Матушка вспомнила о докторе Физе из Монпелье.

Жан-Жак отправился в путь 11 сентября. До Гренобля он добрался верхом на лошади и, почувствовав себя утомленным, продолжил путь в портшезе с носильщиками. В Муаране к нему присоединилась процессия еще из пяти или шести портшезов. Это был кортеж невесты. Среди сопровождавших ее была некая мадам де Ларнаж — «не столь молодая и красивая, но от этого не менее привлекательная». Во время остановок в трактирах они познакомились поближе. Положение новообращенного затрудняло Жан-Жака, и ему пришла в голову несуразная идея выдать себя за господина Дуддинга, англичанина-якобита^[15], нашедшего убежище во Франции. Мадам де Ларнаж принялась настойчиво оказывать ему знаки внимания. Это была женщина сорока пяти лет, имевшая десятерых детей, разведенная с мужем, но при этом не потерявшая чувственности и явно взволновавшая Жан-Жака.

Под ее призывными взглядами на него напал столбняк, и тогда она решила ускорить события. В Валенсии, во время прогулки, она сама бросилась ему на шею. Свободный теперь от страха впасть в грех, Жан-

Жак удивил самого себя. Многоопытная мадам де Ларнаж открыла ему то, чего ему не хватало с мадам де Варан. «Могу признаться, — вспоминал старик Руссо, — что я обязан мадам де Ларнаж тем, что не умру, так и не узнав наслаждения». Его чувственность, ранее скованная страхом кровосмесительства, могла отпустить себя на волю. Он почувствовал в себе «гордость быть мужчиной и быть счастливым». Надо сказать, что в жизни Жан-Жака больше не будет другой мадам де Ларнаж, чтобы освободить его от внушенных себе самому страхов. С 16 по 18 сентября они прожили в трактире Монтелимара в ожидании неминуемого расставания. И это, действительно, было кстати, потому что Жан-Жак совсем выбился из сил. «У меня оставалось лишь мое желание, и прежде чем расстаться, я хотел воспользоваться этим остатком. Она выдержала — из опасения перед девицами в Монпелье». Они назначили друг другу свидание через пять или шесть недель, когда он приедет заканчивать свое лечение к ней, в Бур-Сен-Андеоль. Он расстался с мадам де Ларнаж 20 сентября и в угрюмом настроении отправился полюбоваться Пон-дю-Гаром и аренами Нима. 22-го в Монпелье Жан-Жак устроился в пансион к ирландскому якобиту доктору Фицморису, который давал приют также и студентам-медикам. По утрам он принимал лекарства или ванны, а после полудня шел смотреть на игру в шары.

Судя по «Исповеди», его пребывание там было довольно приятным, но в «Переписке» всё выглядит иначе. Здоровье по-прежнему хромает, воздух не подходит, жизнь дорогая, город скучный, жители нецивилизованны и алчны. В довершение всего он обременен долгами и уже готов распродавать свои вещи, чтобы на вырученные деньги попытаться счастья в игре.

Настроение у него было мрачное, Матушка ему не писала, Он жаловался ей на это еще в письме из Гренобля 13 сентября. Когда же наконец 23 октября он получил от нее ответ, легче не стало: она советовала ему не возвращаться раньше июня. Жан-Жак запротестовал, но тщетно. 4 декабря Матушка сообщила ему, что выхлопотала для него место секретаря у виконта де Лотрека. Стало ясно, что она ищет повод удалить его от себя. Жан-Жак взмолился: «О, моя дорогая Матушка, я предпочту... выполнять самую тяжелую земляную работу подле вас, чем располагать самым большим состоянием во всяком ином случае. Бессмысленно предполагать, что я могу жить иначе. Я согласен со всем, я всему подчиняюсь, кроме одного — покинуть вас. Тогда бы я пал жертвой самой печальной участи. Ах, моя дорогая Матушка, разве вы перестали быть моей дорогой

Матушкой? Или я задержался в этой жизни на несколько лишних месяцев?»

В конце февраля 1738 года Жан-Жак покинул Монпелье и отправился в Бур-Сен-Андеоль. «Исповедь» донесла до нас тяжелую нравственную борьбу Жан-Жака с его собственной совестью. У его любовницы оказалась пятнадцатилетняя дочь: а вдруг ему вздумалось бы влюбиться в нее? И потом — обманывать Матушку? Ведь он писал ей, что мечтает «посвятить всего себя без остатка лучшей из матерей»? Наконец, случись какому-нибудь аборигену знать английский язык — и мистер Дуддинг погиб! В итоге Жан-Жак преодолел искушения и гордился тем, что смог вернуть себе самоуважение. Однако в этих воспоминаниях он приукрашивает свои тогдашние мотивы: у него была более настоятельная причина не откладывать дольше свое возвращение.

Поздно. Когда он вернулся, Матушка лишь бросила ему рассеянно: «А, вот и ты, Малыш». Непосредственно рядом с ней уже обретался молодой человек, тот самый Винсенрид, которого он видел перед отъездом. «Короче говоря, я нашел свое место занятым».

Она и не делала из этого тайны. Ох уж этот Винсенрид! Парикмахер, сын привратника замка Шильон, «крупный пошлый блондин, неплохо сложенный, с плоским лицом и таким же умом... он в состоянии припомнить лишь половину из списка, маркиз, с которыми переспал... тщеславный, глупый, невежественный, наглый». Вот кто заменил его в сердце и постели Матушки! Глубоко обиженный, Руссо набросал этот его портрет, словно обмакивая свое перо вместо чернил в уксус. На самом деле Жан Самуэль Родольф Винсенрид был сыном не привратника, а кастеляна и судьи в Куртийе. Он родился в Во в 1716 году и был обращен в 1731 году в Шамбери. Позднее в одном из рапортов генеральный интендант упомянул о его вкусе, образованности, свободе речи, познаниях в шахтерском деле. По всей вероятности, он принимал участие в некоторых проектах мадам де Варан, затем женился в 1753 году и умер, всеми уважаемый, в Шамбери в 1772 году. Он был полной противоположностью Жан-Жаку. Крепкого сложения, мускулистый, надежный в деле — и Матушка, вероятно, оказавшись менее фригидной, чем она описана в «Исповеди», нашла в нем опору — и днем и ночью.

«Я умру», — стонал Жан-Жак. На это Матушка резонно отвечала ему, что «от этого не умирают», и предложила ему делить ее с Винсенридом, как это было ранее с Ане. «Нет, Матушка, — говорил я ей пылко, — я слишком люблю Вас, чтобы так унижать». Жан-Жак ставил Ане выше себя, тогда как теперешний соперник был, на его взгляд, мужланом с самыми грубыми

вкусами, который не стеснялся добавлять к «основному блюду» — мадам де Варан — «гарнир в виде старой горничной, рыжей и беззубой». А главное, на этот раз *заменным* оказался он. Ну что ж, уклончивость Жан-Жака повлекла за собой ее охлаждение: он не сумел понять, что, отстраняя любовницу, он отстранял от себя и Матушку. Короче говоря, «тот стал в доме всем, а я — ничем». В июле, после Дня святого Иоанна Крестителя, они вернулись в Шарметт, в дом Ноэре, но с прежней идиллией было покончено: чаще всего Жан-Жак оставался там в одиночестве.

Как никогда раньше, он мечтал избавиться от подавляющей его зависимости. Теперь у него было достаточно времени для занятий. «Чтобы уберечься от постоянных волнений, я либо закрывался от всего со своими книгами, либо уходил вздохнуть в леса». Осенью он закончил длинную поэму — первое свое произведение, которое будет напечатано, — «*Садмадам баронессы де Варан*» (издано в 1739 году). В ней он воспевал одиночество, опрощение, размышления, добродетель. И еще он вел записи в журнале своих занятий: там были перечислены поэты, романисты, философы и моралисты, актеры-трагики, ученые, математики и историки — все, кто пополнял его «склад идей».

Тем временем Матушка, поддерживаемая неутомимым Винсенридом, вбила себе в голову, что должна стать «крупной фермершей», и потому очень нуждалась в деньгах. Флорины Жан-Жака уже растаяли; истрачены были и четыре ее годовых пенсионера, которые она попросила выдать ей авансом. Надо было искать другие источники дохода. В марте 1739 года Жан-Жак тщетно пытается убедить женеvские власти в более чем вероятной, смерти своего брата, исчезнувшего 11 лет назад, — для того чтобы получить его часть наследства. Желая их разжалобить, он рассказывает несчастным, больным, доживающим «остаток жизни». Он даже обращается к губернатору Савойи с мольбой о пенсии и именует его при этом «истинным отцом обездоленных». Его ложь способна исторгнуть слезы у кого угодно: его гложет неизлечимая болезнь, он уже одной ногой в могиле, он не покидает свою комнату, постель, его постигла «ужасная болезнь, искажающая ему лицо»! Тогда же в марте Жан-Жак представил графу Сен-Лорану проект каравана карет для транзитного обмена товарами между Германией, Францией, Швейцарией и Женевой.

Все эти старания не вернули ему Матушку: он так и остался один. Ее отсутствие унижало его. 3 марта 1739 года он попытался заручиться дружбой своего «названного брата», но в конце его послания звучала горькая ирония: «С тех пор как Вы прочно устроились в городе, моя дорогая Матушка, не приходила ли Вам в голову фантазия совершить маленькое

путешествие в деревню? Если мой добрый дух вдохновит Вас на это, то соблаговолите предупредить меня за три-четыре месяца, чтобы я мог подготовиться к Вашему приезду».

Ждать ему было больше нечего. «Такая жизнь становилась мне невыносима». В Шарметте Жан-Жак больше не чувствовал себя как дома. Вскоре ему должно было исполниться двадцать семь лет. В начале 1740 года Матушка через свою подругу в Гренобле нашла ему место гувернера в Лионе. Он же этого и хотел, не правда ли? После стольких лет, проведенных вместе с ней, Жан-Жак удалился от нее, «не вызвав и почти не почувствовав сожалений». 1 мая он снял жилье в отеле Мабли на улице Сен-Доминик, вблизи от Белькура, — в самом сердце Лиона.

Жан Бонно, владелец Мабли, главный прево^[16] коннополицейской стражи провинций Лионской, Фореза и Божоле с 1729 года, встретил Жан-Жака предупредительно. Его супруга, двадцатидевятилетняя красивая брюнетка со светлым цветом лица, была уже матерью шестерых детей. Она взялась немного отшлифовать манеры Жан-Жака, быстро заметив его неловкость. Он счел себя обязанным влюбиться в нее, но она игнорировала его вздохи, и он принял разумное решение думать о чем-нибудь другом. В светском обществе он чувствовал себя неуютно, а низкопробными кабачками пренебрегал, и потому иногда ему случалось «позаимствовать» бутылочку вина «арбуа» и распить ее в своей комнате, закусывая вино булочками. Мадам де Мабли как-то заметила это и, ничего не говоря, спрятала ключ от погребка.

Когда Жан-Жак решался выйти в город, городской шум выводил его из сонного оцепенения, в котором ему случалось пребывать в Шамбери. Лион — город пышный, это крупный производитель тканей, шелка, фаянса, город торговли и финансов, но уже с XVI века это еще и город искусства и культуры, город музыки, открытый новым веяниям. Здесь располагались Академия наук и словесности и Академия изящных искусств. Вскоре малообщительный гувернер принялся даже наносить визиты некоторым нотаблям, например Бертрану Паллю, интенданту юстиции и финансов, влюбленному в итальянскую поэзию; это был бонвиван, отличавшийся весьма гибкой моралью. А старый Габриэль Паризо, главный хирург в Отель-Дье и автор нескольких трактатов по медицине, добродушно показывал Жан-Жаку выгоды умеренного эпикурейства, чтобы немного приручить этого дикаря. Богач Камиль Перришон, долгое время занимавший должность прево у торговцев, тоже отнесся к молодому человеку по-дружески. Был еще и Жак Давид, бывший учитель музыки в Париже, который щедро давал ему советы по композиции, а также Шарль

Борд, имевший завидную репутацию поэта, ловкого повесы и вольнодумца.

Общаясь с элитой города, Руссо почувствовал, как из него улетучивается женевская суровость. Вот он, довольный собой, как истинный искатель приключений, со шпагой на боку бродит по улицам Лиона. Еще в Шамбери, вдохновившись Овидием, он сделал первые наброски «Ифиса» — «трагедии для Королевской академии музыки». Ифис у него — это, конечно, он сам — хотя и «любовник незнатного происхождения», но любимый сразу двумя герцогинями. Здесь же, в Лионе, воспользовавшись советами Жака Давида, он взялся дописывать «Открытие Нового света» — оперу, начатую еще в 1739 году. Ее сюжет — о добродетельном дикаре — был уже не нов: Христофор Колумб сталкивался там с непреклонной гордостью старейшины индейского племени. Текст был достаточно избитым, но музыка — это признал даже Давид — местами свидетельствовала о настоящем мастерстве. Жан-Жак старался быть галантным, он писал стихи для мадемуазель Т., танцовщицы. Когда интендант Паллю шепнул ему, что некая дама находит его привлекательным, он сочинил для нее игривый мадригал. Жан-Жак открыл для себя, что можно быть богатым, но любезным, что в роскоши есть свое очарование, а в обществе людей — привлекательность.

Как домашний наставник он чувствовал себя менее уверенно. Ему были доверены два мальчика: Франсуа-Мари и Жан-Антуан. Первому из них не было еще и шести лет, а второму — пяти, и с ними было не так-то легко управляться. Не имея практического опыта, Жан-Жак сделал упор на теорию. Так, он составил «Памятку для г-на Мабли о воспитании его сына». Наставник, утверждал он, должен быть любим, но также и авторитетен, и потому его сразу нужно облечь необходимым авторитетом.

Телесные наказания не допускаются, но должна существовать гибкая система поощрений. Что до самого обучения, то оно должно быть «нацелено на сердце, здравый смысл и ум» — именно в таком порядке, так как нравственное развитие должно идти впереди знаний. Приобретение знаний Руссо называет «обзором, рассмотрением»: зачем забивать юный ум богословскими абстракциями, которые пока ему не даются, перегружать его латинскими темами, древнегреческой и римской историей — и при этом ничего не рассказывать об истории его собственной страны?

У молодого гувернера на всё был собственный взгляд. Никаких лекций о морали — вместо этого делаются простые и точные замечания, но как бы невзначай: например на прогулке. Необходимо развивать в ребенке прямодушие — позднее оно укрепит его разум; формировать в нем нравственные суждения и для этого с раннего возраста помещать его в

общественную среду. Что касается собственно содержания обучения, то латынь — только в форме изложений, и при этом следует создавать «центры интереса»; затем — история и география, но излагаемые живо, без всякой сухости. Никакой риторики и схоластической философии — немного логики, математика, естественная история, а для юношей — основы естественного права; для телесного развития — верховая езда и фехтование. В результате должен получиться «честный человек, вежливый кавалер, храбрый офицер и добрый гражданин».

Этот проект свидетельствовал о том, что Жан-Жак хорошо усвоил то, что прочел. Он был современен, хотя его рационалистическая программа еще далека от того, что Руссо предложит как образец в своем «*Эмиле*» с его «отрицательным воспитанием». Он пока еще уделяет большое место раннему приобретению знаний и чтению, он нацелен прежде всего на подготовку ученика к занятию определенного положения в обществе. Проект ограничивал религиозное воспитание преподаванием «принципов христианства» и «основ морали», не перегружая ученика катехизисом и догматикой.

«Памятка» стала для Жан-Жака еще и предлогом для самоанализа, первой попыткой объяснить собственное поведение. О нем говорят, что он склонен к грусти и мизантропии. Это не совсем верно: возможно, ему не хватает общительности, но он не жесток и не угрюм, разве что ему вредит склонность к меланхолии — неудивительная черта в том, кто привык к невзгодам, одиночеству, болезни. Он робок, хотя и не слишком зависит от чужого мнения, но и не дикарь. Он не отвергает окружающий мир, но слишком чувствителен, раним по пустякам, легко теряется, если не находит понимания. В общем, он уже осознал свое отличие от других, но еще не готов нести за него ответственность.

Всё это, конечно, было интересно, но в конце года стало очевидно, что большого таланта наставника у Руссо нет, и контракт с ним не продлили. Жан-Жак грустил о прошлом, о Шарметте, о Матушке, убаюкивал себя иллюзиями, что всё можно вернуть, и всё будет, как прежде. В мае 1741 года он отправился в Шамбери. Мадам де Варан приняла его хорошо, потому что по природе своей была добра, но ему хватило полчаса, чтобы понять, что он здесь лишний. Вообще-то ему и самому было здесь скучно: после Лиона Шамбери — глухая провинция. И наконец, дела у Матушки шли совсем плохо, надвигался крах.

В июле 1741 года Руссо вернулся в Лион, где продолжил общение с друзьями и знакомыми и даже затеял любовную интрижку. Десять лет назад, возвращаясь из Парижа, он увидел в монастыре Шазо маленькую

Сюзанну Серр, тогда одиннадцатилетнюю девочку, а потом опять встретил ее во время своего недолгого гувернерства в семействе Мабли. В «Исповеди» этот эпизод описан романтично и трогательно. Девушка не осталась равнодушной к Жан-Жаку и отнеслась к нему с полным доверием — это спасло его от искушения злоупотребить им. Но она была бедна, и у него тоже не было гроша ломаного за душой — так можно ли было «поженить голод и жажду»? И Жан-Жак устранился.

Он опять оказался на распутье. Вернуться в прежнюю неизвестность и одиночество? Но Лион успел привить ему совсем другие вкусы. Раньше, в «Саду мадам баронессы де Варан», он воспевал уединение и забвение. Теперь; в своем «Послании г-ну Борду», Руссо предстает перед нами колеблющимся, двойственным. Разве его идеал возврата к первобытному равенству не был наивной химерой? В конце концов, город, «этот полный соблазнов приют детей Плутоса^[17]», имеет и свои преимущества. А разве бедность часто не скрывает за собой «склонности к пороку и преступлениям»? Да и как стремиться к счастью и следовать добродетели, если приходится протягивать руку за куском хлеба? «Нет мудрости там, где царит нищета». Воспевая «невинный промысел», дающий «наслаждения жизни», Руссо ловит себя на мысли о том, что роскошь, искусства и торговля содержат в себе немало хорошего.

Еще откровеннее звучит его «Послание г-ну Паризо». Как истинный женевец Руссо ненавидел роскошь и неравенство, но жизнь в Лионе сделала его менее категоричным. Теперь он полагал, что «ничто не должно быть чрезмерным — и даже сама добродетель»; более того — «и если б равенства гораздо больше было — не принесло бы оно обществу добра». Устав от «жестких принципов» и «безумных речей» сурового республиканца, Жан-Жак не знает, какой позиции придерживаться в главном вопросе своего века. Он еще не готов защищать ту идею, к которой придет позднее. Какой смысл сражаться с ветряными мельницами — вместо того чтобы делать так, как делают все? «Особость» личности Руссо, которая должна будет стать его силой, пока для него лишь помеха.

Жан-Жак метался туда-сюда, как мышь в лабиринте. В январе 1742 года он опять вернулся в Шарметт, заболел там, и Матушка, как всегда преданная, выхаживала его. Весной он выздоровел и стал помогать ей приводить в порядок ее счета, всё более путаные. Бедная женщина не хотела замечать пропасть, разверзавшуюся у нее под ногами.

Оплакивать прошлое — напрасный труд. Надо думать о будущем. У него возникла идея о новом способе нотной записи, который может облегчить обучение музыке. Этим можно сделать себе карьеру, но только в

Париже, потому что только там смелым улыбается фортуна. В тридцать лет это для него последний шанс.

Жан-Жак продал свои книги, большой глобус Коперника, телескоп и другие «безделушки». Напрасно он уверял себя, что думает только о том, как однажды вернется, чтобы положить свои «трофеи» к ногам Матушки. Вероятнее всего, он понимал, что больше не вернется, потому что обычно мы не возвращаемся туда, где уже ничего не можем найти.

Воспоминания о мадам де Варан... Он еще сам не знает, как тяжело они будут давить на него и как ее образ посетит его за несколько недель до смерти в заключительных строках его «Прогулок». У нее были слабости, ошибки, малодостойные поступки, но она была добра, великодушна, и она любила его, дала ему приют и время для того, чтобы созреть, когда он в этом так нуждался. Без нее — что было бы с ним? Ему не хватило бы всей жизни, чтобы измерить, чем он был ей обязан.

В конце июля лионские друзья снабдили Руссо рекомендательными письмами. В его дорожном мешке — его будущее: проект нотной записи, рукопись «Нарцисса» — комедии, набросанной в Шамбери, и 15 луидоров. И ничего более. В дальний путь нужно отправляться налегке; Славный Перришон оплатил ему место в дилижансе.

В ПОИСКАХ УДАЧИ

Дилижанс уносил Жан-Жака в сказочную страну. В ожидании удачи, которая обязательно должна его найти, он устроился в Латинском квартале в отеле Сен-Кантен. Здесь всё было ему противно: сама улица, отель, комната в нем. Не теряя времени, он побежал знакомиться с влиятельными лицами, к которым у него были рекомендательные письма. Именно благодаря такому письму знаменитый естествоиспытатель Реомюр помог ему представить в Академию наук *«Проект, касающийся нового способа записи в музыке»*. Если кратко, то в нем предлагалось убрать нотный стан, оставив одну линейку, и заменить ноты цифрами, обозначающими определенные интервалы по отношению к тонике. Продольные черточки обозначали диезы и бемоли, а использование точек и запятых уточняло различные значения.

22 августа 1742 года Руссо представил свой проект академикам, и те назначили комиссию для внимательного его рассмотрения. 5 сентября он получил ответ, в котором содержались некоторые комплименты, но было отмечено, что его система не так нова, как ему кажется. Впрочем, об этом должна была судить сама публика. В течение двух месяцев Жан-Жак дорабатывал свой проект и опубликовал его за свой счет в самом начале 1743 года под названием *«Диссертация о современной музыке»*. В большом волнении ожидал он откликов в прессе. Сенсации не произошло. Разочарованному теоретику музыки пришлось поплотнее завязать свой кошелек: никаких кафе и театров — только прогулки в Люксембургском саду, где он мог учить наизусть Вергилия и Жана-Батиста Руссо: это удовольствие по крайней мере было бесплатным.

Благодаря Даниэлю Рогену, швейцарцу из Ивердона, который станет его другом на все последующие 30 лет, Жан-Жак познакомился с молодым человеком, искрившимся идеями и энергией, увлекавшимся шахматами, театром и музыкой и столь же ярким, насколько Жан-Жак был скромным. Уроженец Лангра, маленького городка в Шампани, сын зажиточного ножовщика, он носил фамилию Дидро, но с семейством своим отношения порвал. Поскольку он отказался от религии, отец лишил его содержания, и он выпутывался из своего трудного положения как мог. Еще более он усложнил себе жизнь, женившись на белошвейке Анне-Туанетте Шампюан. Ему было 30 лет, но при этом ни одного су в кармане, богемная жизнь — в общем, они с Жан-Жаком составили отличную пару. И тот и другой

обожают бесконечные разговоры, они мечтали переделать мир и добиться громких успехов. Дидро громко и ясно рассуждал — Руссо покорно слушал: в этом они прекрасно дополняли друг Друга.

Некоторое время Жан-Жак ломал себе голову над важной проблемой. Один иезуит, отец Кастель, объяснил ему, что в Париже всё решается и делается посредством женщин. Начиная карьерист решил засвидетельствовать свое почтение баронессе Безенваль, которая приняла его вместе со своей дочерью, маркизой де Брогли. Эта последняя читала его «Диссертацию», Они пригласили его отобедать, и он был в восторге от этого предложения, пока не понял, что будет есть за одним столом со слугами. К счастью, мадам де Брогли исправила эту неловкость. Жан-Жак, робкий, стеснительный, близкий к отчаянию при мысли, что может опять выглядеть глупцом, достал из кармана свое «Послание к 2-ну Паризо» и прочел его так хорошо, что исторг слезы у своих слушателей. Он победил: его пригласили бывать у них.

Подобренный этим, Руссо представился также мадам Дюпен: она была дочерью актрисы и финансиста Самюэля Бернара и супругой генерального откупщика. Ее салон был одним из самых блестящих и шикарных в Париже: его посещали не только аристократы по происхождению, но и аристократы мысли — Вольтер, Бюффон, Фонтенель, бывал и аббат де Сен-Пьер, автор знаменитого «Проекта вечного мира».

Мадам Дюпен было 36 лет, она была красива и — редкая черта — верна своему мужу. Жан-Жак пришел к ней со своей «Диссертацией», и дама приняла его в домашнем туалете, с обнаженными руками, распущенными волосами. Она предложила ему остаться на обед, пригласила бывать у нее. Он не заставил просить себя дважды и не только воспользовался, но даже стал злоупотреблять полученным разрешением, а затем счел своим долгом влюбиться в хозяйку дома. Не осмеливаясь заговорить об этом, он излил свои чувства письменно. Три дня спустя она вернула ему эту записку и ледяным тоном попросила не тратить попусту свои таланты. Он получил хороший урок. Тогда он обратился к Дюпену де Франкелю — сыну господина Дюпена от первого брака. Прошло две недели, и Франкель передал ему, что мачеха хотела бы реже видеть его в своем доме. Надо было поскорее вернуть себе ее расположение! Жан-Жак написал другое письмо, довольно унижительное, — он умолял, чтобы его не прогоняли. Да, он знает, что у него мало хороших качеств, много недостатков, совсем нет благоразумия, но зато есть усердие, добрая воля, преданность, чувство благодарности и уважения. Нужда пишет свои законы — пришлось согнуть спину: «Хотя во мне полно противоречий и

недостатков, я, по крайней мере, умею их в себе ненавидеть. Раскаиваться в своих ошибках лучше, чем никогда их не совершать. Если промахи такого рода Вы считаете заслуживающими некоторого снисхождения, то я взываю к снисходительности — Вашей и мадам Дюпен. Мне было бы достаточно знать, что мой вид не вызывает в ней отвращения, и тогда я сделал бы всё, чтобы мое присутствие стало терпимым».

Позднее, когда Руссо станет знаменит и люди уже сами будут искать общения с ним, он отомстит за это унижение, изображая себя гордым и недоступным.

Мадам Дюпен согласилась забыть об инциденте. Более того: поскольку он присоединил к письму с извинениями переделанный вариант своего «*Проекта воспитания г-на де Сент-Мари*», то она даже доверила ему присматривать в течение недели за ее сыном Дюпенем де Шенонсо — неуправляемым тринадцатилетним подростком, который едва не свел его с ума. Зато Жан-Жак избежал изгнания. Вместе с Дюпенем де Франкелем, с которым он подружился, Жан-Жак взялся проходить курс химии у знаменитого Руэля и, чтобы быть поближе к своим покровителям, переехал с улицы Кордье на улицу Верделе.

Там он заболел воспалением легких. Дрожа в ознобе, кашляя, лечась ингаляциями, он задумался о своей судьбе. Неужели у него меньше способностей, чем у тех, кто на его глазах достигает успеха в жизни? Чтобы ответить себе на этот вопрос, Жан-Жак принялся за написание оперы «*Галантные музы*», где решил вывести на сцену итальянского поэта Тассо, чьи несчастья напоминали ему его собственные, а также Овидия и Анакреона. За этим занятием его и застала добрая весть: мадам де Безенваль и мадам де Брогли не забыли о нем и нашли для него хорошее место.

Оказалось, что господин де Монтегю, назначенный послом в Венецию, искал себе секретаря. 10 июля 1743 года Жан-Жак сел в дилижанс, направлявшийся в Лион. Наконец-то ему улыбнулась фортуна. Из Лиона он свернул к Шамбери, чтобы повидать Матушку, но, к сожалению, не застал ее. Затем отправился в Марсель и Тулон, откуда отплыл в Геную. Там из-за эпидемии чумы всех путешественников выдерживали в карантине, и Жан-Жаку пришлось провести пару недель в лазарете. 28 августа он вновь отправился в путь и 4 сентября предстал наконец перед своим патроном.

В середине XVIII века Венеция не была уже столь привлекательным местом для сотрудников посольства. Ее морское и военное могущество осталось в прошлом, и она представляла собой пестрый космополитический город. Содержать посольство в Сиятельной республике

было не столько дипломатической необходимостью, сколько «следствием лестной для нее традиции», как объяснили новому секретарю. Это весьма устраивало Пьера-Франсуа, графа де Монтегю. В свои 51 год он 37 лет провел в армии. Как говорили, министр Флери назначил его послом только для того, чтобы не давать ему звания генерала.

Однако надменный, упрямый, невежественный, скупой граф, оказавшись на этой должности, попал в неприятную и сложную ситуацию. Дело в том, что Война за австрийское наследство^[18] сделала Италию серьезной фигурой на дипломатической шахматной доске, и перед лицом союза Сардинии, Австрии и Англии у Франции возникла необходимость заручиться нейтралитетом Венецианской республики, которая превратилась в стратегический пункт для наблюдения за передвижениями войск и военными операциями.

В этой непростой ситуации посол Монтегю не знал, за что схватиться. Поскольку он ни слова не знал по-итальянски, то на его столе скопились горы писем, докладов и депеш. Не имея способностей к внятному изложению мыслей на письме, он к тому же не умел разбирать зашифрованные послания, получаемые им от двора и из других посольств. Вследствие всего этого прибытие Жан-Жака было воспринято им с большим удовольствием, и поначалу они были весьма довольны друг другом. Руссо незамедлительно взялся за дело. Он знал итальянский, изучив его еще в бытность в Турине, быстро сумел разобраться и в секретных зашифрованных депешах, которые причиняли такую головную боль графу Монтегю. Это был настоящий триумф для бывшего лакея, нахлебника семьи Дюпенев!

С каждым днем Руссо всё лучше разбирался в делах. Он свел дружбу, с консулом Ле Блоком и с любезнейшим Каррионом, секретарем посольства Испании. Его интересовали государственное устройство Венецианской республики, аристократический и олигархический принципы ее правления, которые он сравнивал с родной Женевой; он учился анализировать политику воюющих государств, а депеши, составляемые им, знакомили его с вопросами экономики. Постепенно у него созрел замысел книги о принципах политического устройства государства — будущего «*Общественного договора*».

Личные интересы — это хорошо, но у секретаря было много служебных обязанностей. Каждую неделю необходимо было составлять депешу на имя короля и еще одну — министру иностранных дел; приходила корреспонденция от послов Франции в Генуе, Турине, Болонье, Флоренции, Неаполе, Вене. Один-два раза в месяц проходили встречи с

дипломатами из Гааги, Женевы или Франкфурта и время от времени — с посланниками из Рима, Константинополя или Санкт-Петербурга. Всеми делами приходилось заниматься секретарю, и Монтегю это весьма устраивало: в девяти случаях из десяти он поручал Жан-Жаку составление документов, ограничиваясь тем, что сам диктовал какой-нибудь параграф, который считал особенно важным. Руссо несколько не преувеличивал, когда впоследствии говорил, что выполнял за графа все его обязанности, причем компетентно и точно.

И всё же работать с упрямым и ограниченным Монтегю было трудно. Он заставлял своего секретаря тратить время на шифровку малозначительных посланий, мог вставить в текст пару строк от себя, из-за чего приходилось в последнюю минуту переделывать весь текст. Руссо очень скоро понял, что его патрон не хватает звезд с неба. Что ж, тем лучше: его собственные умения и заслуги будут заметнее. Он боролся за достоинство человека, пусть и подчиненного, и его последующие рассказы о пребывании в Венеции состояли главным образом из описания собственных деяний, о которых он повествовал с явным удовольствием.

Вот один пример. Комедиант Карло Веронезе получил вместе со своей дочерью ангажемент в Комеди-Итальян в Париже. Уже имея две тысячи франков аванса на дорогу, они не торопились вы-поднять договор. Узнав об этом, посол поручил заняться этим своему секретарю. Положение было деликатным, так как все венецианские театры и сами комедианты принадлежали знатным патрицианским фамилиям. Жан-Жак воспользовался проходившим тогда карнавалом: в домино и маске он уселся в гондолу, украшенную гербом Франции, причалил у дворца сенатора Гримани и именем короля потребовал отдать ему комедиантов Веронезе. В тот же день они смогли отправиться в Париж.

Другой случай. В отсутствие графа Монтегю Руссо узнал, что некий австрийский шпион в Неаполе подстрекает народ к бунту. Секретарь посольства решился подвигнуть министерство к нужным действиям — в итоге получилось, что именно ему династия Бурбонов обязана сохранением Неаполитанского королевства. Конечно, он сильно преувеличил свою значимость в этом деле, так как в марте 1744 года слухи о возможном восстании в Неаполе доходили до всех посольств. Но инициатива, взятая им на себя, говорит о том, что его отношение к своим обязанностям было ответственным и серьезным. Скромный простолюдин, «часто осмеиваемый», больше не представал таковым перед лицом «блестящей аристократии», как это прозвучало в его *«Послании к 2-ну Паризо»*, — наоборот, теперь он являл собой яркий контраст ей, бездарной и пассивной.

И еще доброе дело. Руссо в одиночку сумел уладить конфликт; между французским кораблем «Санта-Барбара» и местным судном, промышленявшим работорговлей. Инцидент грозил перерасти в скандал. Так как посол не желал этим заниматься, секретарь вынужден был вмешаться и сам отправился составлять протокол. Успех был полным: ущерб капитану Оливе был возмещен.

Такие удачи некоторое время помогали Жан-Жаку выносить скверный характер и промахи посла, который к тому же совсем не занимался посольским хозяйством. Помещение было грязным, содержалось в беспорядке, обеды были хуже, чем в самой захудалой харчевне, всё было запущено.

Нуждаясь в достойной компании, Руссо стал искать ее за пределами посольства. Он был серьезным и прилежным работником — это не вызывает сомнений. Но Венеция — это все-таки город удовольствий. Здесь столько развлечений — один только карнавал длится целых шесть месяцев. Здесь всё дышит праздником; здесь под маскарадными масками не отличишь субретку от ее госпожи-патрицианки; здесь театры (а их целых семь) всегда заполнены до отказа, а две сотни кафе всегда открыты для вас. Жан-Жак постепенно стал проникаться этим духом праздника. «Я несколько потеснил в себе философию, — признавался он, — и принялся, как все здесь, слоняться в маске по улицам или же гордо восседать в удобном экипаже, словно я всю свою жизнь только такими и пользовался».

Он становился общительным. У него появились новые друзья: некий господин де Сен-Ёир, молодой испанец по имени Альтуна, Катанео, агент прусского короля, несколько англичан. Всё это были люди компанейские, и он посещал не только их супруг, но даже их любовниц. Азартные игры он не любил, но не пренебрегал театрами и балами и развлекал знакомых сеансами магии. Он увлекся итальянской музыкой, играл на клавесине и исполнял любимые мелодии вместе с четырьмя-пятью музыкантами, нанятыми на вечер за пару экю. Он даже отдал для исполнения в Сан-Джиованни-Хризостомо пропеть и станцевать два отрывка из своих «Галантных муз», находившихся еще в работе. Особенно нравилась ему музыка «*scuole*» — домов призрения для бедных девушек или девушек-сирот, пение которых можно было услышать только в церкви во время вечерни, причем сами они оставались невидимы на забранных решетками хорах.

Но было еще кое-что кроме музыки и театров. Венеция была полна куртизанками. Жан-Жак испытывал инстинктивное отвращение к публичным девицам, но однажды позволил себя увлечь — сначала, чтобы

«не выглядеть недотепой». Известная Ла Падоана хорошо пела, угостила его фруктовым мороженым. Он хотел улизнуть, оставив на столе дукат, но педантичная гетера не захотела отпустить его и честно отработала эти деньги.

Второе приключение оказалось не столь банально. Его пригласил на борт своего судна капитан Оливе — чтобы отблагодарить за своевременное вмешательство в тот инцидент, о котором шла речь выше. В качестве десерта вдруг появилась горячая брюнетка, сразу повисшая у него на шее. Эта была небезызвестная Джульетта — с осиной талией, с глазами, горящими как уголья, живая и кокетливая. Она показала Жан-Жаку, где живет, и они назначили свидание назавтра. Сначала всё шло прекрасно, но затем его вдруг пронзила догадка: а что, если это обольстительное создание, свежее и чарующее, — не более чем подарок благодарного капитана? Эта мысль взволновала его до слез. Испуганная прелестница удвоила старания, но тут он заметил, что одна грудь у нее косая. Снова замешательство — и снова раздумье: не является ли это видимым проявлением скрытого порока? Как видно, женевский пуританин не утратил нюха на грех. Он стал упираться, и рассерженная девица, приводя себя в порядок, презрительно бросила ему по-итальянски: «Джанетто, оставь в покое женщин и изучай математику».

Жан-Жак решил, что он не создан для галантной жизни. Они договорились с приятелем Карионом, что будут сообща содержать одну девицу. Это была распространенная в Венеции практика. Молодые люди остановили свой выбор на девчужке лет двенадцати, которую мать искала куда повыгоднее пристроить. В ожидании, пока она подрастет, они устроили ей уроки пения и музыки. Приятели искренне привязались к девочке, а потому отказались от исполнения своих намерений. К тому же срок дипломатической службы Жан-Жака, подходил к концу.

Испортились и его отношения с послом. Для Монтегю Руссо был чем-то вроде слуги, хорошо умеющего писать. Жан-Жак же считал себя немаловажным лицом — секретарем посольства, к тому же куда более одаренным, чем тот, кто позволял себе смотреть на него свысока. Теперь он уже не был простачком. Он требовал того, что было положено ему по службе: гондолу для личного пользования, клавесин. Казалось, пробил час его реванша. «Настал момент, чтобы я стал тем, чем должен был: щедро наделенный Небом, получивший образование от лучшей из женщин, давший образование себе сам, — и я стал им». Так он вознаграждал себя за прошлые провалы и унижения. Однако при этом он несколько подзабыл о вежливости в обращении с вышестоящими и даже стал проявлять

нагловатость, которая раздражала посла. «Стул по другую сторону моего стола уже не был подходящим ему местом, — рассказывал Монтегю. — Он усаживался в мое кресло, когда я ему диктовал, и если я подыскивал нужное слово, которое не сразу приходило мне на ум, то он брал в руки книгу или смотрел на меня с сожалением». Можно представить себе, как был разгневан этот высокомерный чиновник, когда при известии о прибытии герцога де Модена Жан-Жак потребовал, чтобы его посадили обедать за один стол с ним! Его больше не будут отсылать к слугам, как это было у мадам де Безенваль!

Ситуация развивалась быстро. По версии Руссо, он потребовал отставки, дав графу время найти себе замену. В действительности же Монтегю в середине февраля 1744 года сам принял решение избавиться от слишком честолюбивого секретаря. По его версии, секретарь был лентяем, игроком и попусту тратил время; он, видите ли, отказался отправиться в загородный дом посла на грузовом судне, утверждая, что оно годится только для слуг; каждый день он требовал себе на обед цыпленка или голубя.

Произошла знаменательная сцена. Жан-Жак предъявил послу счет, который тот, по словам Руссо, превратил в «аптечный рецепт». Руссо требовал не только выплаты прошлого жалованья, но и покрытия расходов на дорогу. Монтегю изучил, этот счет и нашел его раздутым: Жан-Жак и вправду не торопился с отъездом и не хотел скупиться на чаевых. Монтегю пересмотрел счет и безжалостно урезал его. Было еще какое-то темное дело, основанное на недоразумении и связанное с тяжелым багажом Руссо. Монтегю выписал ему фактуру на какую-то немислимую сумму, в чем секретарь усмотрел жест «низкого мошенничества». Дело обернулось совсем плохо. Как описано в *«Исповеди»*, Монтегю, вне себя от ярости, собирался позвать слуг, чтобы вышвырнуть отставленного секретаря в окно. «Не получится, — якобы ответил Руссо, закрывая дверь на задвижку. — Мы; решим этот вопрос между нами двумя». Эта сцена символична: его сиятельству, исходящему пеной от злости, противостоит достойный и решительный секретарь: простолюдин ставит на место аристократа, и речь идет не о деньгах, а о чести. Конец этой сцены тоже выглядит у них поразному. «Я прогнал его, как плохого слугу», — утверждал Монтегю. «Я вышел, — писал Руссо, — и неторопливо прошел через приемную мимо его людей, которые привстали, как обычно».

Руссо отправился к консулу Ле Блоку, где рассказал об этом деле всей французской колонии. Ему аплодировали: «Посол не получил одобрения... Общий возглас был не в пользу его превосходительства». Но Монтегю не

успокоился: он пригрозил, что прикажет пороть Руссо утром и вечером, если он срочно не уберется. Граф унизился до того, что 24 августа обратился к венецианскому сенату с просьбой изгнать его экс-секретаря. Он опоздал: Руссо покинул город еще 22-го.

Жан-Жак пока еще не понимал того, что год, проведенный им в Венеции, не был потерян для него. Он только что убедился: никакие личные достоинства не могут стать выше знатного происхождения и связей. Где же права и справедливость в этом обществе, основанном на привилегиях? Господин де Монтегю, сам того не зная, первым преподнес Руссо материал для серьезных размышлений, которые приведут его затем к написанию *«Рассуждения о неравенстве»*. Да и сама Венеция, находящаяся в упадке и угасающая на своем золоте, заставит его задуматься об *«Общественном договоре»*. Не говоря уже о новой итальянской музыке, которая даст ему основание десять лет спустя заявить о несостоятельности современной ему французской музыки.

Пока же надежды Жан-Жака в очередной раз рухнули. Он проехал через Падую, Бергамо, Комо, Варезу, Лавено, Домодоссолу, Бриг. 20 сентября он прибыл в Женеву, и здесь его старый знакомый Гофкур одолжил ему немного денег. Заехав в Пион, он не захотел рассказывать о своей неудаче сварливой мачехе. Его общение с отцом прошло в одном из кабачков; там он и обнял его в последний раз. А затем — быстрее в Париж, чтобы потребовать возмещения убытков, потому что он в своем праве и власти должны быть справедливы. 10 октября 1744 года Руссо поселился в отеле Орлеан на улице Шантр неподалеку от Пале-Рояля.

И НАКОНЕЦ-УСПЕХ!

Жан-Жак жаждал реванша, он защищал свою честь. «Что подумает об этом общество?» — вопрошал он господина дю Тэя, старшего служащего министерства, говоря о том, что он обесчещен, оклеветан, погублен, опозорен. Общество не думало ничего, а у господина дю Тэя голова была занята совсем другими заботами. Благодетели Жан-Жака тоже предали его: мадам де Безенваль не допускала мысли, что аристократ Монтегю мог быть неправ; отец Кастель качал головой: право сильнейшего незыблемо.

Руссо в очередной раз оказался униженным общественной системой. Он нашел приют у молодого испанца, — Мануэля Игнацио Альтуна-и-Порту, знакомого ему по Венеции, который предложил ему разделить ним жильё. Жан-Жак искренне привязался к этому юноше — набожному и терпимому, робкому и серьезному, сосредоточенному на учебе и знаниях. Они вместе завтракали у мадам Ла Сель, которая держала общий стол неподалеку от Оперы. Одному из ее пансионеров, господину Анселе, бывшему офицеру мушкетеров, Руссо подарил рукопись «Военнопленных», одноактной комедии, начатой им еще до отъезда в Венецию. Эта маленькая пьеса была посвящена Войне за австрийское наследство, в которой он горячо принимал сторону Франции.

К сожалению, Альтуна не мог вечно находиться в Париже. Оставшись один, Руссо опять принялся пережевывать мрачные мысли. «Я по-прежнему жалею, глядя на жизнь с высоты моей посольской лошади, — говорил он мадам де Варан в феврале 1745 года. — Денег нет, проектов много, надежд мало». Но бороться надо, и он решил попытаться!

Как-то раз она, плача, призналась ему, что потеряла свою девственность будучи почти ребенком. Жан-Жака это мало волновало — он принимал ее такой, как она есть. Ему нужно было чье-нибудь присутствие, чья-то привязанность. Однако его выбор всё же удивляет. Многие потом будут плохо отзываться об этой Терезе: она и глупа, и болтлива, и лжива, и ревнива; своими сплетнями подогревает болезненную мнительность Руссо. Он и сам не обольщался на ее счет. Она умеет, говорил он, достойно держаться, обладает здравым смыслом в обыденной жизни, сердечна и предана ему, но что касается ума — пусто. Она едва умела писать, не умела считать деньги, не знала цены вещам, затруднялась в словах; он так и не смог научить ее узнавать время или назвать по порядку двенадцать месяцев года.

Почему же он остановил свой выбор на столь ограниченной особе? Возможно, потому что первый раз в жизни он был покровителем, а не покровительствуемым. — Руссо признавался, что никогда не чувствовал к Терезе ни искры любви и с самого начала честно предупредил: он не оставит ее, но никогда не женится на ней. И все-таки она принесла ему некоторое успокоение, немного уюта и худо-бедно заменила Матушку. Ему было с ней легко — он был свободен от необходимости играть перед ней какую-либо роль» И наконец, она стала неким «дополнением», в котором он нуждался. Жизнь постепенно налаживалась, тем более что первые четыре года Тереза продолжала жить со своими родными.

Между тем с его «Галантными музами» дела обстояли неплохо. Это была типично французская музыка: дивертисменты состояли из пения и танцев, персонажи и действие варьировались от акта к акту. Иногда начинающий композитор исполнялся надежд, а иногда снова впадал в отчаяние. 9 июля 1745 года Руссо писал Даниэлю Рогену: «Со времени прибытия в Париж я не перестаю бороться с бедностью... Вы знаете, что я предпринял труд, в который вложил немало средств, и хотел бы, чтобы они окупились... Но я предвижу столько препятствий на его пути, что он может оказаться чистым убытком... Я испытываю такое отвращение к обществу и к людским взаимоотношениям, что меня удерживает здесь только закон чести; если когда-нибудь я достигну верха своих желаний — то есть не буду должным более никому, — то через двадцать четыре часа меня в Париже не будет».

Да, написать «Музы» было одно, а поставить их на сцене — совсем другое.

Зимой Гофкур познакомил его с господином де ла Пуплиньером, генеральным откупщиком, меломаном и любителем театра, который мог посодействовать дебютанту. Увы, в музыке царил Жан-Филипп Рамо, а великие люди плохо переносят конкуренцию. Когда при Рамо были исполнены отрывки из «Муз», композитор заявил, что кое-что из исполненного выдает неопытного новичка, а кое-что — просто плагиат. Мадам де ла Пуплиньер, которая буквально молилась на Рамо, тоже была против исполнения «Галантных муз» Руссо. К счастью, герцог Ришелье, любовник хозяйки дома, был другого мнения и предложил сыграть оперу у интенданта Мон-Плезира. Проба имела успех; герцог лишь попросил Жан-Жака внести изменения в акт с Тассо, прежде чем представить оперу Его величеству. Жан-Жак тут же закрылся у себя, и через три недели Тассо оказался заменен на Гесиода.

И всё же ему не повезло. 11 мая 1745 года маршал Мориц Саксонский

одержал блестящую победу над вражеской коалицией при Фонтенуа. Для празднования этой победы решено было исполнить не «Галантные музы» неизвестного автора, а «Принцессу Наваррскую» Вольтера на музыку... Рамо — немного подштопанную и переименованную в «Праздники Рамира». А что же Руссо? Конечно, он был разочарован, но ему очень хотелось, чтобы его имя стояло рядом с именами Вольтера и Рамо. Возможно, понадобится сделать кое-какую подгонку, вставить новые небольшие песенки и увязать парочку пассажиров... 11 декабря Руссо попросил Вольтера бросить взгляд на его поправки. «Вот уже пятнадцать лет я тружусь, чтобы стать достойным вашего взгляда», — писал он. Польстил, конечно, но это была правда: он восхищался Вольтером. Тот ответил весьма учтиво: браво, очень хорошо, делайте так, как сочтете нужным.

16 или 17 декабря состоялась репетиция в Опере. Мадам де ла Пуплиньер сделала кислую физиономию. Ришелье оказался перед выбором: Жан-Жак или любовница, которая закатит ему сцену. Он посоветовал Руссо получить одобрение... всё того же Рамо. Жан-Жак отправился к себе в отель и там свалился больным: он до смерти устал.

22 декабря было дано представление «Праздников Рамира», но ничье имя на афише не значилось, а увертюра была взята из прежней «Принцессы Наваррской» Рамо. Так что же требуется для того, чтобы выбиться из неизвестности, если труда, таланта, даже гения недостаточно? Руссо передает свои «Музы» в Оперу — отказ. Он предлагает итальянцам свою комедию «Нарцисс», которая лежит у него в столе еще со времен Шамбери и которая любезно подправлена самим Мариво^[19], — неплохо, говорят комедианты и предлагают ему билеты в театр, но не хотят играть его пьесу. Без рекомендации, без протекций, без знакомств ему не на что надеяться. Почти год прошел после возвращения из Венеции, а он по-прежнему безвестен и беден.

Но жить-то надо. Руссо возобновил знакомство с Дюпенами и в феврале 1745 года стал опять посещать курсы химии с Франкелем. В сентябре он стал поговаривать о возможности пожить на природе, а именно в Шенонсо — владении Дюпенев. Это устроилось как нельзя лучше: там как раз искали секретаря. Нужно было принимать решение: продолжать попытки пробиться к успеху или примириться с ничтожным положением писца?

Жан-Жак сделал последнюю попытку: Франкель использовал свои знакомства, чтобы «Музы» были все-таки приняты в Оперу. Но если опять случится провал... Во время генеральной репетиции его опу-

сопровождался аплодисментами, но теперь уже он сам отступил и забрал его. Рамо же потом скажет, что это произведение Руссо было отвергнуто Оперой.

Итак, решено: «Я оставил всякую, надежду на продвижение и славу». Он устал сражаться с ветряными мельницами. Ему скоро исполнится 34 года — пора подумать о материальной стороне жизни. Хотя труженица Тереза и обходится ему недорого, но за ней хвостом тянется прожорливое семейство, которое обирает ее, обгладывая чуть ли не до косточек, а это сказывается и на Руссо. Богатые же, но экономные Дюпены предлагают ему все-таки восемь-девять сотен франков в год. В общем, выпутываться из этого положения приходится только ему: кормить всю ораву, платить за жилье на улице Сен-Жак, где он ужинает по вечерам, оплачивать чердачную комнату на улице Нев-де-Пти-Шан поблизости от улицы Платриер, где проживают Дюпены.

Жан-Жак брался помогать всем. К примеру, Франкель мечтал об Академии наук, но для этого надо было опубликовать хотя бы одну книгу. Они вместе взялись «марать бумагу». В результате получилась огромная рукопись под названием «Химические обозначения» — неплохая компиляция из трудов известных химиков. Но если она будет опубликована, то, конечно, под фамилией Франкель...

С мадам Дюпен была немного другая история. Она писала небольшие очерки о дружбе, образовании, счастье, метафизике и, будучи феминисткой, мечтала написать большую книгу, посвященную прекрасному полу. Жан-Жак писал под ее диктовку или подбирал необходимый справочный материал. Литераторше могло понадобиться всё что угодно: хронология правления французских королей, история древних римлян или византийских императоров, труды по правоведению — в целом получились 2800 листов, исписанных его рукой, с выдержками из более чем сотни различных произведений. Это, конечно, не творчество, но труд всё же небесполезный: благодаря ему Руссо пополнил и углубил свои знания по истории, этнографии и политологии.

Осенью он сменил обстановку: отправился вместе с Дюпенами в Шенонсо. Там они занимались музыкой, он писал красивые трио и стихи, как например «Аллея Сильвии», в которых воспевались мудрость, отказ от соблазнов мира и добродетель. В декабре 1746 года, вернувшись в Париж, он узнал малоприятную новость: Тереза была беременна.

Обременять себя ребенком? В совершенном затруднении он вспомнил о разговорах, которые часто велись за табльдотом мадам Ла Сель: там более всех приветствовались те, кто усердно трудился над пополнением детских

приютов. Тереза плакала, но Жан-Жак не имел ни средств, ни желания становиться отцом семейства. Решение принято: сразу после рождения ребенок будет отдан в приют. На карточке в пеленках был указан номер, дубликат которого отец сохранил. Ни сомнений, ни угрызений совести — он принял это решение, как говорится, «с ходу». Затем оно вошло в привычку: второй ребенок родился в 1748 году, третий — весной 1751-го, еще двое — то ли в 1751-м, то ли в 1752-м. С ними поступили так же, с той только разницей, что к свертку с ребенком уже не прилагались знаки родительской благодарности.

Обычно даже те, кому ничего не известно о жизни Руссо, знают именно эти факты его биографии. Они настолько шокирующие, что его поклонники, чтобы хоть как-то оправдать его, придумывают разные истории. Даже когда выйдет в свет его «Исповедь», они станут уверять, что это — чистейшая его выдумка. Одни утверждали, что Жан-Жак, страдая болезнью мочеполовой системы, был то ли импотентом, то ли бесплодным, но этими «якобы рожденьями» детей желал «соблюсти лицо». Да нет же, возражали другие: Тереза действительно родила пятерых детей, но все они были не от Руссо. Или еще вариант: чтобы удержать его и привязать к себе, Тереза пять раз подряд вводила его в заблуждение, утверждая, что беременна, а затем якобы сдавала младенцев в приют. И вообще, Жан-Жак был транссексуалом... Или это он вообще нарочно про себя выдумал. Для чего? Чтобы убедить всех в абсолютной искренности своей «Исповеди»: ведь лучший способ для этого — «признаться» в какой-нибудь страшной вине и удостоверить таким образом, что всё остальное — тоже правда. Все эти измышления рождались из желания как-то «увязать» личность Руссо с его «добродетельным» творчеством. Но ведь и его современники упоминали об этих детях, и сам Руссо неоднократно признавался в этом, даже в своих «Прогулках». И разве не писал он Терезе в августе 1769 года: «Мы должны оплакивать и искупать свои ошибки...»?

Кем же он был? Чудовищем? Учитывая реалии того времени, не так просто ответить на этот вопрос. Число младенцев, сданных в приюты, с конца XVII века не переставало расти. Вот красноречивые цифры: только с 1740-го по 1759-й было брошено 99 500 детей, то есть в среднем 5237 в год, или 14 в день, включая воскресенья и праздничные дни. Эти цифры не извиняют Руссо, но заставляют задуматься: он имел основания говорить, что действовал так, как было тогда принято. А какая была смертность! Около 70 процентов детей не доживали до года. Те, кому удавалось выжить, становились рабочими, солдатами, крестьянами. Все эти цифры Руссо знал. Неувязка здесь, с точки зрения потомства, лишь в том, что он-то не был

«как все», что он потом позволит себе морализировать, давать советы по воспитанию детей, напишет своего *«Эмиля, или О воспитании»*.. Всё это верно, но в 1750 году он еще не был тем, кого в года Революции сбдут называть «бессмертным автором *«Общественного договора»*», Откуда у него могло появиться чувство ответственности, если вспомнить его жизнь с самых ранних лет? И ведь ему надо было содержать целое семейство, а он был тогда всего лишь секретарем, наемным работником, который едва зарабатывал себе на жизнь и которого могли в любой момент уволить. Тогда, зимой 1746/47 года, он был всего лишь неудачником, «бумагомарателем» без всякого будущего; он понимал: чтобы добиться чего-нибудь в жизни, нельзя сейчас отягощать себя ничем. В будущем он сам будет проливать «кровавые слезы» над своей виной. Но в 1746 году до этого было еще далеко.

Осень 1747 года Руссо опять провел в Шенонсо: он по-прежнему много переписывал, но еще и организовывал развлечения для благородного общества. Он набросал несколько живых сценок под названием *«Арлекин, влюбленный поневоле»* — в духе театра де ла Фуар, или итальянского театра. Он пока не нашел своего стиля и потому старался угодить обществу в соответствии с модой того времени — быть любезным, остроумным, этаким «парижанином».

Время шло. Руссо еще раз сменил жилье — обосновался в отеле Сент-Эспри на улице Платриер; он продолжал подкармливать семейство Левассер и беспокоился о Матушке, дела которой шли всё хуже и хуже. Жан-Жак помогал ей как мог: после смерти отца в мае 1747 года он получил немного денег и часть из них отослал ей. Одержимая манией всяких сомнительных предприятий, Матушка зачастую бросалась в сложные финансовые предприятия — иногда на грани махинаций. Мало-помалу она скатывалась всё ниже и ниже: из зажиточности — в скудость, из скудости — в нищету.

В Шенонсо Жан-Жак свел знакомство с дамой, которой суждено было сыграть важную роль в его жизни. Луиза Флоранс Петрониль Тардь д'Эсклавель в 1745 году в возрасте девятнадцати лет вышла замуж за своего кузена, генерального откупщика Дени Ла Лив д'Эпине. Она была умна и образованна, обладала изящным слогом, была даже автором записок с размышлениями на темы морали и образования, но красивой Руссо ее не находил: «Она была очень худа, со слишком бледной кожей, с грудью, которая могла поместиться в горсти». Она давала приемы в Шеврете, у леса Монморанси, в замке, принадлежавшем ее деверю господину Ла Лив де Бельгард. Там собирался весь философский бомонд. Франкель стал ее

любовником и представил ей Руссо, с которым она сразу нашла общий язык. Конечно же, он рассказал ей свою «жалобную историю». Он всегда старался произвести приятное впечатление в светском обществе.

26 августа 1748 года Жан-Жак написал Матушке упадническое письмо. Шесть лет тяжелой борьбы с жизнью — после его отъезда из Шарметта. Почечная колика пригвоздила его к постели: камень спустился из почки в мочевой пузырь, но операцию ему делать не на что; его желудок расстроен, он страдает несварением. Что же до всего остального... «Я трачу свой ум и здоровье только на то, чтобы вести себя разумно в этих тяжелых обстоятельствах и выйти, если, возможно, из состояния униженности и нищеты; каждый день я замечаю, что моей судьбой управляет случай и что мое самое взвешенное благоразумие не имеет в ней никакого значения».

Мадам Дюпен была довольна своим секретарем и доказала ему это на свой манер: в мае 1749 года предложила ему место гувернера при своем сыне, господине Шенонсо, которому стукнуло девятнадцать. Несколько лет назад Руссо уже имел возможность оценить «любезный» характер этого несносного юноши. К счастью, через несколько месяцев он женился, и тогда Жан-Жаку пришлось, главным образом, преподавать арифметику маленькой мадам Шенонсо, робкой блондинке, вскоре оставленной своим супругом. Итак, за плечами тридцатисемилетнего Руссо провальное прошлое, а впереди — никакого будущего. Бумагомарака, шут, учителяшка.

Ему оставались в жизни только умственные занятия. И еще — дружба. Жан-Жак часто виделся с Кондильяком, младшим братом господина де Мабли, которого знал еще в Лионе во времена своего репетиторства. Тот был приверженцем эмпирической философии, которая утверждала, что механизм духовной жизни можно изучить исходя из того тезиса, что наши идеи являются следствием наших чувств. Это он ранее познакомил Жан-Жака с Дидро, который по-дружески отнесся к нему и впоследствии поможет найти издателя для его большого труда *«Рассуждение о природе человеческих знаний»*. Каждую неделю трое философов собирались за обедом в Панье-Флери близ Пале-Рояля.

Жан-Жак особенно сблизился с Дидро, который тоже перебивался с хлеба на воду. В 1745 году Дидро перевел *«Очерк о заслугах и добродетели»* Шефтсбери, а в 1746–1748 годах вместе с Эйду и Туссенем — шесть томов медицинского словаря Роберта Джеймса. Эти два человека, Руссо и Дидро, много значили друг для друга. Жан-Жак чувствовал себя гораздо увереннее рядом с экспансивным и великодушным Дидро, быстрый ум которого всегда опережал его собственный.

Одинаково ли было направление их мыслей? Католицизм Руссо к тому времени успел основательно поблекнуть, и потому оптимистический деизм Дидро^[20], которым были проникнуты его примечания к переводу Шефтсбери, не мог его напугать. Между тем Дидро продолжал быстро продвигаться в своих интеллектуальных поисках — даже слишком быстро. В 1746 году он опубликовал свои «*Философские мысли*», которые положили начало антихристианской полемике, апологии скептицизма и «реабилитации» страстей. В них было сказано: «Расширяйте Бога». Но по мере Его «расширения» — что от Него оставалось? Дидро и Руссо говорили о природе, но вкладывали в это слово разный смысл. Дидро понимал под природой некую абстрактную активную силу, а его друг представлял себе ее одушевленной, созданной Творцом и управляемой Провидением.

Годом позже Дидро написал «*Прогулки скептика*», в которых уже проявил подозрительный интерес к идеям Спинозы — о вечной и самостоятельно развивающейся материи. В 1749 году в своем «*Письме о слепых*» Дидро пошел еще дальше: он отнес Бога-Творца в разряд лишних понятий и «заменял» Его вечной материей, развивающейся в процессе множественных случайных проб и ошибок. О каком Творении может в таком случае идти речь? Все сведено к «началу, когда материя в брожении дала толчок расцвету Вселенной», то есть к бесчисленным и бесконечным фантастическим комбинациям внутри самой разнородной материи. Так за четыре года Дидро прошел путь к законченному атеистическому материализму.

Жан-Жаку было чуждо такое мировоззрение. Однако его дружеские чувства к Дидро побуждали его верить в то, что можно быть атеистом и при этом оставаться добродетельным человеком. Но придет время, когда он усомнится в этом. Что действительно ослабло в Руссо, так это доверие к церкви, но не вера в Бога. Пассивный по натуре и неуверенный в себе, он мог какое-то время казаться другу переубежденным его доводами, и потому позднее, после разрыва с Руссо, Дидро будет считать, что имел дело с лицемером.

В конце 1747 года два друга (пока еще) затеяли совместное дело — периодическое издание, наподобие английского, которое договорились составлять поочередно. Жан-Жак определил его задачи: сообщать о новых литературных и научных трудах и давать им беспристрастную оценку. Издание должно было иметь название «*Пересмешник*», но дальше названия дело не пошло.

Причина была в том, что в то время зарождалась уже другая идея,

действительно достойная века Просвещения. Издатели стали подумывать о публикации перевода четырех томов «*Циклопедии*» Эфраима Чемберса^[21], объединив для этого Дидро как переводчика и математика д'Аламбера в качестве научного эксперта. Оба они в октябре 1747 года были назначены содиректорами этого проекта, сам же проект сменил поставленную перед ним задачу. Он переставал быть простым переводом, а становился самостоятельным носителем нового духа времени — своеобразным обзором современных научных достижений, таблицей прогресса человеческого разума не только в науках, но и в «механических искусствах», то есть в технике. Вместе с тем Дидро хотел предпринять «подкоп» под церковь и подвести под общественную мораль иные основания — не религиозные. Одним словом, «изменить общий образ мышления».

Поначалу Руссо, конечно, принял участие в работе. Ему были поручены статьи о музыке. Но это для него было как удар кнута. 27 января 1749 года он написал мадам де Варан: «Объем работы всё увеличивается прямо у меня под рукой... Я вынужден урывать время даже у сна. Я изнемогаю от усталости, но я обещал — и должен держать слово. К тому же этим я показываю фигу тем людям, которые причиняли мне зло, и моя злость против них придает мне силы... У каждого — свое оружие: вместо того чтобы петь песенки своим недругам, я составляю им статьи словаря».

Его ждало тяжелое испытание: 24 июля 1749 года Дидро был арестован и заключен в Венсенский замок. Этого следовало ожидать. В обвинениях недостатка не было — и за религию, и за мораль: припомнили и «*Философские мысли*», и «*Прогулку скептика*», и «*Белую птицу*», где проскальзывали оскорбительные намеки на короля и мадам де Помпадур, и «*Нескромные драгоценности*» — безнравственный роман; и «*Письма о слепых*». Жан-Жак был огорчен настолько, что написал мадам де Помпадур невразумительное письмо, в котором умолял ее о позволении быть арестованным вместе с другом.

За время вынужденного отсутствия Дидро у Руссо появился новый друг. Это был Фридрих Мельхиор Гримм. Этот сын пастора из Ратисбонна, на 11 лет младше его, прибыл в Париж в январе и в ожидании лучших времен занимал место лектора при принце Саксен-Готском. Он был умен и образован, обладал изящным слогом, был любезно принят в салонах, мечтал сделать карьеру. С 1753 года он займется составлением «*Переписки литературной, философской и критической*» — она будет рукописной и секретной, предназначенной лишь для узкого круга высокопоставленных особ, и в ней самое активное участие примет Дидро.

Вскоре Руссо и Гримм стали неразлучны. Гримму суждено было сыграть немаловажную роль в жизни Руссо, а позднее — и в его невротическом недуге.

Тем временем Дидро решил покаяться в грехах и пообещал исправиться. Режим его содержания был смягчен, были разрешены посещения. До 25 августа Дюпены не отпускали Руссо, но затем он сразу отправился в Венсенский замок и со слезами обнял друга. С тех пор каждые два дня он один или с женой Дидро приходил поддержать его.

Лето 1749 года было знойным, и даже в октябре солнце жгло нестерпимо. Фиакры были не по карману Жан-Жаку, и потому он ходил пешком по пыльной дороге, весь в поту. Чтобы провести время с пользой, он завел привычку брать в дорогу последний номер газеты «Меркюр де Франс» и листать его на ходу. Однажды он остановился как вкопанный: он прочел сообщение о конкурсе, объявленном Дижонской академией на 1750 год; темой конкурса был вопрос: «Способствовало ли развитие наук и искусств чистоте нравов?»

«Когда я прочел это, передо мной вдруг открылся иной мир, и я стал другим человеком». Это было молниеносное озарение, скажет он через 12 лет господину Мальзербу. Всё его существо было потрясено, дыхание остановилось, сердце заколотилось, слезы катились по лицу градом — а он ничего этого не замечал. В своей «Исповеди», в «Диалогах» и даже в конце жизни в своих «Прогулках» он останется под впечатлением того внутреннего катаклизма, который настиг его на пустынной дороге. Потрясенный до глубины души, Жан-Жак упал у корней дуба. Как объяснить в этом смятении ума всё, что он только что осознал, словно в блеске молнии? Ему вспомнилось такое же озарение Фабриция: старый римлянин эпохи Республики гневно обличал соотечественников — деградировавших, развращенных роскошью и безнравственными искусствами — и кричал им: «Безумцы, что вы натворили?»

Тот октябрьский день 1749 года стал для Руссо точкой отсчета его *писательской* жизни — к несчастью. «Я стал писателем, сам того не желая, я был внезапно заброшен в это гиблое дело». Дойдя до порога своего сорокалетия, скажет он позднее, он даже не думал ни о написании книг, ни «об этой роковой славе, для которой я не гожусь». Однако память его явно подвела! Ведь еще в 19 лет он спрашивал у Эстер Жиро мнение о своих первых пробах пера, — но это озарение совершенно стерло их из его памяти.

Было ли это всего лишь внезапное озарение? Скорее, осознание того, что зрело в нем годами, проявление его внутренней противоречивости. Всю

жизнь он разрывался между врожденной женеvской суровостью, любовью к уединению и добродетели — и стремлением к успеху, каким его понимает мир. Ведь он тоже принес свою жертву наукам и искусствам: «Обольщенный предрассудками своего века, я полагал учение единственно достойным мудреца занятием». Но стал ли он от этого лучше? Вопрос, поставленный в «Меркьюр», ему внезапно «раскрыл глаза». С этой поры его отличие от других перестанет быть ущербностью — и станет его силой.

В крайнем возбуждении Руссо добрался до Венсенского замка, рассказал о своем открытии Дидро. Что теперь он должен делать? «Что за вопрос! — отвечал пылкий Дидро. — Развить свои идеи и участвовать в конкурсе». При этом разговоре двух друзей никто не присутствовал — к сожалению, так как позднее, когда они поссорятся, на этот счет станут ходить всякие рассказы. По словам Мармонтеля, аббата Мореле и дочери самого Дидро, Жан-Жак собирался создать конформистский панегирик наукам и искусствам и только Дидро подсказал ему избрать противоположный тезис, гораздо более оригинальный. Затем Руссо якобы использовал его как свой и занял не ту позицию, которую избрал первоначально. Чистая клевета! Дважды — в своих работах «Осуждение Гельвеция» и «Очерк о правлениях Клавдия и Нерона» Дидро упоминал о том знаменательном дне в Венсенском замке, но нигде не говорил о своей роли в том разговоре. Так что идеи Жан-Жака — его собственные.

Поскольку Дидро находился в заключении, работа над «Энциклопедией» не продвигалась. Издатели стали жаловаться, что гибнет предприятие, в которое вложены значительные средства, — и 3 ноября Дидро был отпущен. Он тут же разработал проспект «Энциклопедии», в нем было сказано, что этот труд ставит перед собой цель «дать общую картину достижений человеческого разума», в том числе и в области техники. Тут не было более места тому, что человек знал о Боге (тогда как прежде это было едва ли не единственным предметом изучения); речь шла только о том, что человек знал о мире и о себе самом. Человек оказался в самом центре Прометеевых свершений и, конечно же, в центре большого «Толкового словаря наук, искусств и ремесел».

Руссо тоже принялся писать. С огромным трудом, так как начало всегда давалось ему особенно тяжело. Даже в постели он мысленно перетасовывал свои фразы. Когда однажды мамаша Левассер пришла запалить очаг и заняться хозяйственными делами, ему пришла в голову идея использовать ее как секретаршу: диктовать ей утром то, что придумалось за ночь. Прощайте, «Аллея Сильвии» и «Влюбленный Арлекин». «Теперь я меньше всего забочусь о том, чтобы понравиться

великим умам и людям большого света».

Первая часть его труда констатировала то, к чему он пришел. Да, это верно: литература, науки и искусства сделали жизнь людей более легкой и приятной, но они же и превратили их в рабов, которые сами помогают тиранам поработать себя: с такой целью и превозносятся эти ложные ценности. Таким образом, «мы имеем видимость добродетельных, на самом деле-таковыми не являясь»; Цивилизация — это победа «казаться» над «быть»; так называемый «прогресс» на самом деле — упадок. «Наши души развращались по мере того, как науки и искусства развивались». Роскошь, распушенность, рабство — вот и всё, что выиграл человек, выйдя из состояния счастливого неведения, в котором он находился с самого своего сотворения. Таковы уроки истории.

Во второй части этого труда Руссо задавался вопросом о происхождении наук и искусств: не о достоинствах человека, а о недостатках, вытекающих из его честолюбия, праздности, суеверий или гордыни. Именно они породили стремление к роскоши, по которой и оценивают человека, считая его не тем, что он есть, а тем, чем он кажется. Ушли в прошлое подлинное мужество, преданность, героизм — их заменила эгоистическая страсть к комфорту, искусствам и роскоши. В прежние времена детям прививали человечность, чувство справедливости, любовь к родине. Сегодня их учат «обставлять» свой ум знаниями, как дом обставляют красивой мебелью. Явились философы — «кучка шарлатанов, каждый из которых зазывает к себе на публичной площади: идите только ко мне — я один владею истиной!..». Кто заботится о правде, кто не продает душу за репутацию? Изобретение книгопечатания усугубило зло тем, что дало доступ к ложным знаниям многим — и почему только в свое время не сожгли библиотеки? Руссо возглашает, словно бросая вызов своему веку — веку Просвещения: «Всемогущий Боже, избавь нас от просвещения!» В заключении он немного смягчал тон, превозносил великих монархов, почтенные академии, являющиеся хранительницами как сомнительного «склада» знаний, так и святости нравов. Он не отрицал настоящих ученых, горстку гениев — Бэкона, Декарта, Ньютона, — но отвергал вульгарных профанов, к которым относил и себя самого: таким не надо поучать других — достаточно быть добродетельными и исполнять свои обязанности.

Дидро вроде бы одобрил этот опус, внес несколько поправок. Удивительно: Дидро молился на прогресс — и разве не должен был он возмутиться этой «апологией невежества», этими выпадами против философов-шарлатанов? Впрочем, Дидро всегда вспыхивал как огонь, когда его возбуждал какой-нибудь красивый парадокс. К тому же Руссо не

отказывался сотрудничать в «Энциклопедии», хотя его теория заведомо отвергала подобное предприятие.

Когда опус был отправлен в Дижон, возбуждение автора наконец улеглось, и жизнь вошла в прежнее спокойное русло. Дюпены, довольные своим секретарем, добавили ему жалованья. Появилась возможность переехать на улицу Гренель-Сент-Оноре, в отель «Лангедок»: Жан-Жак с Терезой расположились на седьмом этаже, а родители Левассер — на пятом. Отец не создавал им трудностей, но мать оказалась корыстной особой, лицемеркой и наущницей.

Впрочем, жила пара дружно. «У моей Терезы ангельское сердце», — говорил Жан-Жак. А что с его «*Рассуждением о науках и искусствах*»! Руссо успел забыть о нем: разочарованный столькими неудачами, он уже ни во что не верил.

10 июля 1750 года, вопреки ожиданиям, академики Дижона увенчали его лаврами. Жан-Жак получил красивую золотую медаль. Он поблагодарил академиков за их беспристрастность: ведь они дали высокую оценку его опусу, опровергавшему те ценности, которые они призваны были отстаивать.

Честно говоря, Дижонская академия оценила главным образом совершенно новую риторику неизвестного пока автора. Академики, поставив такой вопрос, не имели намерения поразить кого-либо оригинальностью — они хотели лишь противопоставить эпоху Возрождения «темным временам» Средневековья. Руссо же неожиданно для них *изменил направление* вопроса: у него науки и искусства способствовали *не очищению*, а, наоборот, *развращению* нравов. По сути дела, он восстановил давнее противопоставление знаний и добродетели. Кстати, у Руссо был конкурент, аббат Гросли, который исповедовал те же принципы. Но эти двое сильно различались манерой высказывания: аббат серьезно изучил данный вопрос, ссылаясь на общеизвестные факты и употреблял общепринятые выражения, а Руссо поражал личной убежденностью и красноречием. Он построил свою контрфилософию истории: показал, что человек становится всё более знающим, но не становится от этого счастливее; что общество цивилизуется, но не становится от этого справедливее; что нравственный императив должен преобладать над материальным прогрессом и совершенствованием разума. Вопреки духу своего времени Жан-Жак не верил в то, что рост знаний означает рост добра.

Поскольку он в это время болел, за публикацией его «*Рассуждения о науках и искусствах*» взялся проследить Дидро, и в самом начале 1751 года

труд Руссо увидел свет. На титульном листе не было указано фамилии автора, но имевшаяся там подпись стала знаменитой — «гражданин Женевы»; был там и эпиграф, заимствованный у Овидия: «Barbaras hic ego sum quia non intelligor illis» — «Меня считают невеждой те, кто меня не понимает». Издатель не заплатил ему ни единого су, но вместо денег этот труд принес ему кое-что другое — славу, немедленную, и оглушительную. Жан-Жак был еще в постели, когда ему принесли записку от возбужденного Дидро: «Ты оказался на недостижимой высоте. Подобного успеха еще не было».

Наконец-то ему повезло.

ЗНАМЕНИТОСТЬ

Дидро не преувеличивал: «*Рассуждение о науках и искусствах*» наделало шуму по всей Европе; в одной только Франции за три года появилось более пятидесяти одобренных отзывов или опровержений. Противников хватало: ведь подобный опус воспринимался не иначе как парадокс. Руссо не мог ответить всем. Он, хотя и кратко, постарался поставить на место троих: некоего анонима из «Меркюр», каноника Готье из академии Нанси и некоего Лека из академии Руана. Еще два противника показали ему более серьезными.

Один был не кто иной, как Станислав Лещинский, тесть Людовика XV, бывший король Польши, ставший герцогом Лотарингским и Барским: он считал себя знатоком литературы и философии. Жан-Жак уважительным, но твердым тоном привел ему свои аргументы. Лещинский указывал на то, что тяга к роскоши рождается от богатства, а не от науки. Руссо возразил: «Вот как я выстраиваю эту генеалогию. Главный источник зла — это неравенство; неравенство порождает богатство... Богатство порождает роскошь и праздность; от роскоши происходят изящные искусства, а от праздности — науки».

В другом критическом высказывании Руссо учуял руку отца Мену, личного проповедника короля. Разве может добрый христианин, возмущался иезуит, предпочесть невежество изучению своей религии, урокам Святых Отцов! Да, отвечал Жан-Жак, если речь идет о книге, то мы имеем Евангелие — «единственно нужное христианину», и добавлял торжествующе: «Прежде у нас были святые и не было казуистов. Наука прирастает, а вера убывает...

Мы все стали учеными, но перестали быть христианами».

Другим противником был его старый знакомый по Лиону — Шарль Борд, яростно защищавший цивилизацию, торговлю и роскошь. Разве не прогрессировали мы с тех пор, когда первые люди занимались только тем, что убивали один другого? Да нет же, отвечал Жан-Жак, человек «по природе своей добр, я в это верю, я счастлив чувствовать это»; только цивилизация сделала из него опасное животное. Прежде чем придумали «мое» и «твое», прежде чем появились хозяева и рабы, прежде чем одни стали захлебываться от излишков, а другие умирать от голода, — где были все наши пороки?

От морали они перешли к общественному укладу и политике. Роскошь

благотворна, утверждал Борд, потому что она помогает перераспределять богатства — давать хлеб бедным. Да вы, богачи, смеётесь над нами, резко отвечал Жан-Жак: «Богатство может дать хлеб бедным, но если бы не было богатых, то не было бы и бедных».

Отвечая противникам, Руссо еще более укреплялся в своих убеждениях; «венсенское озарение» постепенно превращалось в «великую и грустную систему», которая будет разрабатываться им в последующие годы.

Он решил, что и его собственный образ жизни должен соответствовать его принципам, решил осуществить «великую реформу» своей жизни. В «Исповеди» всё это будет приведено в систему, но осуществить на практике задуманное, да и то частично, получится у него только через три-четыре года. Случалось, что его осуждали, и задело: поборник добродетели, ой только что отправил своего третьего отпрыска в детский приют. Это не было секретом: он сам говорил о случившемся своим друзьям, да и мамаша Левассер пользовалась случаем, чтобы разжалобить мадам Дюпен и вытянуть из нее несколько лишних монет. Поскольку мадам де Франкель высказывала ему удивление по этому поводу, Жан-Жак отправил ей 20 апреля 1751 года письмо, содержащее длинное и злобное самооправдание. Начиналось оно вызывающим признанием: «Да, мадам, я отдал моих детей в детский приют... Это несчастье, за которое меня надо пожалеть, а не преступление, в котором меня нужно обвинять».

Растить детей, когда он с трудом зарабатывает себе на хлеб?! Да, он мог бы добиваться более выгодного места. И что же? «Кормить себя, своих детей и их мать за счет нищих»? К тому же он болен, обречен. Если он умрет — его дети станут нищими, возможно, даже побирушками. Но виноват в этом не он: «Это сословие богачей, это ваше сословие крадет у меня хлеб моих детей». И в конце концов, воспитанники детских приютов становятся хорошими рабочими, честными тружениками: «Ведь сам Платон хотел, чтобы дети воспитывались республикой, чтобы они не знали своих отцов и чтобы все были детьми Государства!» Руссо призывает в свидетели своей правоты Платона, ибо его собственная совесть нуждается в весьма авторитетном защитнике.

Тем временем задуманная им «реформа» собственной жизни мало-помалу начинает осуществляться... Отныне он будет зарабатывать свой хлеб перепиской нот с постраничной оплатой: ему не нужны ни синекура, ни пенсия, ни даже литературный заработок, так как он не хочет зависеть от публики: «Я всегда чувствовал, что положение автора не может быть ни блистательным, ни почтенным — разве только если писательство не

является профессией. Очень трудно сохранять благородный образ мыслей, если приходится думать только о заработке».

Свобода — прежде всего. «Это чего-нибудь да стоит: показать людям образец той жизни, которую они должны вести», — напишет Руссо позднее. Итак, бедность и добродетель. Его «реформа» стала зримой, когда он отказался от позолоты и белых чулок, от пудренного парика и шпаги и даже продал часы.

Сочетать принципы с житейской практикой оказалось не так-то просто. Круг его знакомств расширялся. Руссо сблизился с писателем Дюкло, с которым познакомился в 1748 году в Шеврете, и еще с Туссеном-Пьером Ленъепом, женевцем, изгнанным из родного города в 1731 году за разногласия с олигархическим правительством: именно он просветил Жан-Жака насчет истинной структуры Женевской республики. В свое время Дидро ввел Жан-Жака в известный дом на улице Сен-Рок — дом барона Гольбаха, очень богатого немца, который занимался химией, геологией, минералогией и активно сотрудничал в «*Энциклопедии*». Барон был материалистом, атеистом, и его труды впоследствии числились среди наиболее радикальных произведений века Просвещения. В его доме Жан-Жак опять стал встречаться с Дидро и Гриммом, познакомился с Мармонтелем, салонным поэтом Сен-Ламбером, аббатом Мореле и многими другими. На общение с этими людьми уходило всё время, которого не оставалось на переписывание нот.

Известность Руссо породила моду на него. Чем старательнее он скрывался, тем больше любопытных жаждали его увидеть. В их представлении стал складываться расхожий образ Руссо как человека угрюмого и неприступного. То, что на самом деле было неловкостью и робостью, воспринималось людьми как презрение к окружающим. Случалось, что Руссо сбегал от всего этого в Пасси, иногда вместе с Ленъепом, чтобы навестить его дальнего родственника Франсуа Мюссара, бывшего ювелира, у которого в Пасси был красивый дом. Там часто пели, музицировали. В марте 1752 года как-то ночью Жан-Жак набросал несколько стихотворных строк и парочку мелодий к ним. Мюссару они очень понравились — он даже аплодировал. Подбодренный таким образом, гость за шесть дней сочинил там же слова и музыку, которые затем в Париже еще три недели шлифовал — в результате получилась опера «*Деревенский колдун*».

Это, конечно, не было великое произведение, но зато совершенно очаровательная пастораль, и вполне в духе его «*Рассуждения*»: пастух Колен на некоторое время поддается соблазну со стороны обольстительной

светской дамы, но затем возвращается к своей КоLETTE. Дюкло предложил свое посредничество, чтобы передать «Колдуна» в Оперу, не называя имени автора. На репетиции это небольшое произведение так понравилось, что интендант Мон-Плезира решил представить его перед королевским двором в Фонтенбло. Итак, уже некоторое время успех прямо-таки преследовал Жан-Жака. Не предложат ли ему выгодную должность? Вот и его друг Дюпен де Франкель, главный финансист в Меце и Эльзасе, предложил ему место — вести реестры и кассу. Он согласился.

Настал великий день представления. Жан-Жак умирал от страха. Присутствовали король вместе с мадам де Помпадур. И вот — полный триумф! А ведь 20 лет назад мнимый Вуссор де Вильнев, полуголодный обманщик, так смехотворно опозорился в Лозанне со своим концертом!

Этот успех стал причиной серьезного внутреннего разногласия и первой ссоры Жан-Жака с Дидро. Ему сообщили, что на завтра он будет представлен королю. Это означало верный пенсион. Автор «Колдуна» провел бессонную ночь в полном смятении. Во-первых, его могут подвести проклятые почки — он не сможет вытерпеть ожидание короля в течение неопределенного времени. А в присутствии короля — сумеет ли он, мямля, с его-то неловкостью, ответить ему? Что же до пенсионера — то это означает распрощаться со своей независимостью. Короче говоря, Жан-Жак сослался на нездоровье и утром сбежал. Это произвело дурное впечатление: милостями монарха нельзя пренебрегать. Дидро нашел беглеца спустя два дня и закатил ему скандал... О чем он думал, отказываясь от пенсионера и притом имея на руках Терезу и ее семейство? Два приятеля расстались холодно, недовольные друг другом.

Чтобы быть до конца последовательным, Жан-Жак отказался и от обязанностей кассира, которые исполнял уже несколько недель. Он терпеть не мог всякие счета и ответственность — от этого на него нападала бессонница. Его благодетель Франкель решил, что он просто сошел с ума. С точки зрения своих принципов Руссо был, конечно, прав: как можно, удобно устроившись на выгодном месте, проповедовать бескорыстие и бедность? И в то же время он продолжал путаться в противоречиях: посещал философов, отрицая философию; бывал в салонах, писал оперы. Более того: его «Нарцисс» был анонимно представлен в «Комеди Франсез» актером Лану. Впрочем, Жан-Жак лучше других понимал, что этот одноактный дивертисмент в прозе был далеко не шедевром. Представление пьесы 18 декабря 1752 года прошло, однако, с успехом, а второе представление состоялось уже на следующий день. Жан-Жак на нем скучал, ушел не дожидаясь конца, зашел в кафе «Прокоп», признался там,

что он автор этой пьесы, и отозвался о ней пренебрежительно.

Тем не менее придирчивый автор отдал пьесу в печать, снабдив ее вызывающим предисловием, в котором продолжил полемику вокруг своего «*Рассуждения*». Это предисловие удивляет резкостью тона, ярко выраженной неприязнью к философам и литераторам, а также радикальностью критики нравов: всюду процветают пороки, богатые богатеют, бедные беднеют, честных людей презирают, а негодяев почитают. Кто виноват? «В этих пороках виноват не столько человек как таковой, сколько человек, которым плохо управляют». Заявить такое означало обвинить всю систему правления, весь режим — абсолютную монархию.

После того как в 1687 году умер Люлли, единственной значимой фигурой во французской опере оставался Рамо, но он уже не был способен создать что-либо новое. В январе 1752 года была возобновлена постановка оперы «*Омфалия*» на музыку Де-туша — лирической трагедии полувековой давности, — и Руссо высказался по этому поводу в своем «*Письме 2-му Гримму*». В нем он принял сторону итальянской музыки, высмеивая тяжеловесность музыки французской ~ «пения вперемешку с криками»; задел он и Рамо, заявив, что тот «гораздо ниже Люлли» и что у него «больше знаний, чем таланта».

Этот «музыкальный пожар» тлел, не разгораясь, до 1 августа 1752 года, когда была представлена «*La Serva padrona*»^[22] Перголезе — типичная опера-буфф, в комическом жанре итальянского музыкального театра. Музыкальный Париж сразу же разделился на два клана. «Уголок короля» — так названный потому, что он собирался в театре под ложей короля, — состоял из людей знатных и богатых, приверженцев традиционной музыки. «Уголок королевы» объединял знатоков музыки, прежде всего философов, которые выступали против французской оперы, аристократичной и помпезной, утверждавшей правящий режим; они противопоставляли ей более простую и естественную музыку, напрямую обращенную к чувствам. Помимо собственно эстетической позиции здесь обозначился и идеологический разрыв: утверждение буржуазной «чувствительности» в противоположность рациональной и «благородной» норме монархического идеала. Первая бомба была брошена в январе 1753 года Гриммом и его «*Маленьким пророком из Бёмиш-Брода*» — забавной сатирой в библейском духе: некий студент во время сна был перенесен из Праги в Париж и чудовищно скучал там, слушая «гаргаризмы» французской музыки. По этому поводу немедленно разразилась «война брошюр»: за девять месяцев их появилось не менее трех десятков, причем критические отзывы в них яростно противоречили одни другим.

В ноябре Жан-Жак вбросил на «арену борьбы» свое «*Письмо о французской музыке*». Он утверждал: не гармония, а именно мелодия определяет типичный характер национальной музыки, а характер мелодии, в свою очередь, зависит от национального языка. Отсюда следовало, что лучшей является музыка того народа, чей язык более музыкален. А чей звуковой строй более музыкален, чем итальянский? Чей более приспособлен для выражения страстей? Французский же язык — «глухой», и потому композиторы вынуждены прибегать к такой «дребедени», как гармония, полифония, которые только «производят шум». Короче говоря, «ученая музыка» — это ложная музыка. Руссо заканчивал свое «*Письмо*» кощунственным заявлением: «У французов нет музыки, и они не могут ее иметь... если когда-нибудь она у них будет — тем хуже для них».

Это «*Письмо*» вызвало настоящий скандал. Если верить Руссо, даже его жизнь оказалась в опасности, так что его друг господин Анселе, бывший мушкетер, сопровождал его повсюду — без его ведома. Действительно, оркестр Оперы даже повесил и сжег изображение скандалиста, а маркиз д'Аржансон сообщал, что прохожие «оскорбляли его словесно и пинками в зад». Даже раздраженный королевский двор, рассказывал сам Руссо, некоторое время колебался в выборе: посадить невежу в Бастилию или отправить в изгнание. Опера же отомстила ему тем, что лишила его бесплатного входа на спектакли, на что он имел право как автор «*Колдуна*»: отослала ему 50 луидоров в качестве полного с ним расчета.

Руссо вернется к некоторым вопросам, затронутым в ходе той «музыкальной ссоры», в своем «*Рассуждении о происхождении языков*», которое будет издано только после его смерти. Вначале, утверждал он, слово не отличалось от пения и выражало чувства — отсюда и приоритет мелодии. Человеческий голос был затем заменен инструментами; гармония и прочая «условная красота» были порождены упадком языка и удалением от природы; природная выразительность была задушена социальным порядком. Эти размышления о языке и музыке были, таким образом, логическим продолжением его обличений моральной деградации общества в «*Рассуждении о науках и искусствах*». Они предшествовали его мыслям о причинах возникновения рабства, которые он выскажет в «*Рассуждении о происхождении и основах неравенства среди людей*».

Судьба, так долго бывшая ему мачехой, вновь улыбнулась Руссо. В ноябре 1753 года «Меркюр де Франс» дала объявление еще об одном конкурсе, организованном всё той же Дижонской академией, на тему «Каков источник неравенства среди людей и объяснимо ли оно природным

законом?». Руссо сразу понял, что в этом вопросе заложена великая, фундаментальная проблема, и засел за работу: «О человек, откуда бы ты ни был родом, каковы бы ни были твои убеждения, слушай! — Вот твоя история...»

Если мы хотим вскрыть причины неравенства, рассуждал он, не следует ли сначала понять, каким должно было быть первоначальное человеческое существо — до возникновения общественных условностей? Классическая социология полагает, что реконструкция первоначального человека и попытка получить верное представление о его природе — задача неблагоприятная, так как это его состояние «не существует более, возможно, никогда не существовало и, вероятно, более не будет существовать». Это первоначальное состояние Руссо реконструирует по своим предположениям — не как реальную доисторическую эпоху, а как рабочую гипотезу, как «нулевой уровень», от которого можно вести отсчет произошедших изменений.

Этот предполагаемый человек давних времен — животное, похожее на других животных: он ест, пьет, спит. Естественный отбор делает его сильным, ловким, он не знает болезней и даже не осознает собственного существования. Это существо имеет обостренные чувства, но не мыслит. Таким образом, Руссо вступал в противоречие с теми, кто приписывал первоначальному человеку высший, вполне сформированный разум. Одно из его утверждений возмутило современников. «Состояние размышления, — писал он, — это уже состояние почти противоестественное, а человек, который размышляет, — это животное извращенное». Извращенное? Вернее, он имел в виду «противоестественное», то есть порвавшее со своим природным состоянием, которое не предполагало способности думать.

Итак, животное... но все-таки немного особенное. Животное, ведомое только своим инстинктом, обречено бесконечно повторять одни и те же действия, определяемые законом своего вида. Человеческое же животное свободно — оно способно выбирать и изменяться, приспосабливаться. Оно также способно к совершенствованию, то есть способно приобретать качества — которыми оно ранее не обладало, и потому способно допускать ошибки, от которых «простое» животное защищено своим безошибочным инстинктом. Человек, следовательно, способен развиваться, но это развитие слишком долгое, растянутое на тысячелетия! А даже если бы человек и придумал что-нибудь — как мог бы он передать свои знания другим, если у него нет языка, если он бродит одинокий по лесам и саваннам? Если инстинкт и толкает его на совокупление со встречной самкой — он

покидает ее, как только утолит свою похоть; самка тоже покинет своих едва отнятых от груди малышей. Таким образом, семья не является первым естественным коллективом, как об этом говорит Локк, так как первоначальный человек не имел социального инстинкта. Добр он или зол? Зол, утверждал Томас Гоббс. Он в постоянной вражде с себе подобными, и до такой степени, что вынужден был изобрести социальный порядок, чтобы сохраниться от полного самоуничтожения. Это ошибка, возражал Руссо: «Человек по своей природе добр».

Впрочем, эта доброта не является добродетелью, которая предполагает соотносимость с моралью, то есть имеет социальный характер. Человек добр, то есть он существо мирное, неагрессивное. Ему свойственны только два чувства, предшествовавшие развитию разума: любовь к себе, иначе говоря инстинкт самосохранения, который его защищает, а также жалость, иначе говоря врожденное отвращение к страданию, которое способствует выживанию человека как вида. Но, соответственно, человек лишен страстей, ему незнакомо чувство предпочтения — «любая женщина хороша, для него»; он не подозревает о существовании тщеславия или чувства собственности. В таком его состоянии понятие неравенства лишено смысла, потому что одинокий и «экономически самостоятельный» человек зависит только от себя самого.

Такое первоначальное состояние человека стало, однако, меняться, так как человеческое животное, являясь по природе своей одиночкой, всё же не является несоциальным — при условии, что обстоятельства способствуют развитию в нем этого потенциального качества. Чтобы победить в конкуренции с животными, защититься от них, он стал использовать камни и палки — первые дополнительные приспособления. Человеческий вид прирастал численно, выживать становилось труднее, и поскольку человек способен к совершенствованию, он изобрел рыболовный крючок, лук и стрелы; он научился бороться с холодом, покрывая себя шкурами животных; поддерживая упавший с неба огонь, научился варить мясо. Когда в его поведении появились новые черты, то зачатки мышления дали ему возможность отметить существование рядом с ним подобных ему существ, подсказали выгоду коротких свободных объединений с ними на время охоты: собравшись вместе, несколько человек легче добывали дичь. Эти кратковременные случайные объединения способствовали изобретению простейшего языка, состоявшего из жестов, криков, раздражательных звуков.

Незаметно эти изменения вызвали к жизни и другие. В пещерах, в грубых лачугах из глины и веток начинают создаваться первые семьи, и

образ жизни меняется: женщина, как более слабая, сидит дома, а самец добывает пивцу. Внутри этих малых групп начинает развиваться язык, а затем — и между группами, схожими между собой общностью нравов и характера; Человек делается уже не таким, каким был от природы: он приобретает относительные качества, так как претендует на то, чтобы быть признанным другими; он открывает для себя необходимость «казаться».. Это состояние «рождения общества» было. счастливой эпохой, «настоящей молодостью мира», когда подспудная социальность выходит наружу, не посягая пока еще на свободу личности. «Весь дальнейший прогресс представлял собой движение к совершенствованию индивида, но и настолько же — к деградации всего вида».

Наступило время, когда человек решил, что было бы полезно иметь продукты «про запас». Так исчезло прежнее равенство и родилось чувство собственности. Еще хуже стало с появлением металлургии и земледелия. С разделением обязанностей «экономика производства» заменяет прежнюю «экономику выживания»; собственность на продукцию земли постепенно переносится на саму землю. Ценность индивида переносится с того, что он есть сам, на то, что он имеет. Передача собственности по наследству привела наконец к тому, что самые слабые или самые непредусмотрительные оказались лишены того, что когда-то было общим достоянием. И тогда «народившееся общество пришло в самое страшное состояние — состояние войны», войны бедных против богатых, обездоленных — против преуспевающих. Поскольку богатым было что терять, именно у них зародилась идея общества, основанного на определенном общественном порядке, на несправедливом договоре, узаконивавшем существующий порядок владения собственностью. Во имя сохранения мира в обществе экономическая узурпация перерастает во власть политическую: сословие одураченных признает за сильными право грабить и тем поощряет создание государства. Всё остальное — лишь неизбежное следствие. Сначала выборные органы, предоставленные самым богатым или старейшим. По мере привыкания масс к состоянию несвободы власть имущие доказывают необходимость более прочной власти — и выборные должности становятся наследственными. Возможность карьеры превращается в привилегию избранных — дворянства, режима абсолютизма; так неравенство, несвойственное человеку от природы, становится всемирным законом.

Такая цепь, закономерностей рушит миф о некоем неопределенном «прогрессе». Никакого прогресса — наоборот, падение, как об этом сказано и в Библии. Но здесь речь идет о светском значении этого слова:

историческое падение, вовлеченность человечества в социализацию — обманчивую и несправедливую. «Печальная великая система» Руссо звучит в полную силу — она вскрывает корни зла. Руссо вовсе не призывает к возврату в первобытное состояние (как будут насмешничать над ним Вольтер и прочие): он признаёт, что движение к худшему совершается бесповоротно. Он не является ни «апостолом коммунизма», ни поборником уравнивания всех людей в условиях их жизни: он требует лишь того, чтобы размер собственности ограничивался реальными потребностями индивида, а гражданское неравенство людей было бы следствием не размера их имущества, а лишь природного неравенства их способностей. Это был «исторический пессимизм», но «антропологический оптимизм»: люди стали злыми, но по природе своей они добры; зло проистекает не из природы человека — оно заложено в социальных структурах.

Несмотря на свои успехи, Руссо не чувствовал себя счастливым. «Я встречал так мало нежности, сердечной открытости, искренности даже в общении с друзьями, что, измучившись этой суетностью, начал страстно мечтать о сельской жизни». Между ним и его друзьями-философами возникло напряжение, с каждым днем всё более увеличивавшееся. Он был по горло сыт Парижем — его суетой, интригами, всей этой средой, в которой он чувствовал себя чужим, отстраненным и где его жизненная реформа всё время оказывалась отложенной. Жан-Жак мечтал о Женеве, идеальный образ которой предстал в глубине его сердца. Там были его корни, его истинные привязанности... Возвращение к себе требовало возвращения на родину...

И разве не родине было, в сущности, посвящено его «*Рассуждение о неравенстве*»? Какую хвалу вознес ей Руссо! И даже не заметил, что сама чрезмерность похвал создавала неловкость, поскольку подчеркивала дистанцию между действительностью и вымыслом, тем более что он с гордостью посвятил эту свою работу не Малому совету Женевы, а «великолепным, весьма почитаемым и независимым господам» Генерального совета, являвшегося представительским собранием граждан. Такая подчеркнутая демократичность могла вызвать только раздражение у «патрициев».

Руссо двинулся в путь 1 июня 1754 года, сопровождаемый Гофкурром и Терезой, которую он выдавал за свою служанку и сиделку. В Лионе они на время разделились: Жан-Жак с радостным чувством отправился навестить Матушку, с которой не виделся уже 12 лет. У бедной женщины дела шли совсем плохо. Разорившись дотла, она жила на то, что удавалось одолжить, и на авансы от своего пенсионера. В марте 1754 года она обратилась к

секретарю кабинета короля Сардинии с патетическим письмом: «Во имя любви к Господу, господин, сжальтесь надо мной. Мне не хватает даже на хлеб». Но она хлопотала тщетно, обращаясь повсюду с просьбами: о помощи: в том же 1754 году власти зарегистрировали ее как неимущую.

Жан-Жак был потрясен: «Боже! В каком она состоянии! Какое унижение! И это та самая блистательная мадам де Варан, к которой меня когда-то направил кюре Понвер?» От прежней Матушки осталась только тень: преждевременно постаревшая, она непрестанно пережевывала истории своих тяжб и плакала о несправедливости судьбы. Перед расставанием он передал ей немного денег — не бог весть сколько. Да и зачем ей больше? Всё равно завтра же всё будет растрачено. В последний раз они увиделись в августе в Гранж-Канал, неподалеку от Женевы. У нее не было денег даже на то, чтобы вернуться домой, и Жан-Жак отправил ей немного денег с Терезой. «Ах! — восклицал Руссо. — Это был тот самый момент, когда я мог вернуть свой долг перед ней! И надо было всё бросить и следовать за ней». Однако, «увлекаемый другой привязанностью», он последовал своей дорогой.

Матушка навсегда ушла из жизни Руссо. Ей оставалось восемь лет полного краха. Больная, впавшая в нищету, она угасла 29 июля 1762 года в десять часов вечера, оставив после себя лишь кое-какую мебель и тряпки.

В середине июля Руссо был уже в Женеве. Прием, оказанный ему там, привел его в восторг. Все наперебой старались увидеть новую знаменитость. Ведь этот человек, вернувшийся в родные пенаты, не был жалким беглецом с поникшей головой. — он был известной личностью, которой можно было гордиться.

Вернувшись домой, Руссо должен был вернуться и в религию отцов. Он понимал это весьма своеобразно: «Я думал, что Евангелие — одно для всех христиан и что в сущности его догматы различаются лишь потому, что люди берутся объяснять то, чего сами не могут понять. Поэтому в каждой стране правитель присваивал себе право устанавливать и культ, и маловразумительные догматические различия, и, соответственно, долгом гражданина считалось принятие этой догмы и следование культу, предписанному законом... Отсюда следовало, что, желая стать гражданином, я должен был стать протестантом». В итоге получалось: с одной стороны, официальное вероисповедание, а с другой — личные убеждения, не подверженные «досмотру» государства.

Официальная церемония «обращения» обычно включала в себя несколько унижительных моментов: нужно было предстать перед Советом, пробыть два или три дня в тюрьме, принести публичное покаяние перед

Консistorией и совершить коленопреклонение. Для Жан-Жака эту процедуру упростили, то есть исключили ее вовсе. Так было гораздо лучше: будучи «слишком христианином» для своих парижских друзей, он был, возможно, «недостаточно христианином» для женевских пастырей. На «допросе» он лишь несколько раз пробормотал «да» и «нет» и 1 августа 1754 года был возвращен в лоно церкви.

Жан-Жак сразу отправился обнять добрую тетушку Сюзон и обласкать свою кормилицу, славную Жаклину: она была замужем за сапожником и держала небольшую торговлю сырами. Впрочем, он посещал не только простых людей. Его видели и в «первых домах», и у главных магистратов. Олигархи, как видно, пока что не воротили от него носы.

Руссо быстро установил связи с местной интеллектуальной элитой. Среди них оказалось немало пасторов и богословов, как, например, Якоб Верн — один из руководителей женевской церкви. Он отлично ладил и с министром Верном, образованным светским человеком, и особенно с Полем Мульту. Последний, тридцатилетний француз, изучал тогда богословие в Женеве, а потом стал здесь же пастором. Он войдет в круг «необязательных» друзей Жан-Жака, и тот будет с ним поддерживать отношения до самого конца.

С чего бы Жан-Жаку было не чувствовать себя в Женеве как дома? Все приглашали его к себе, пасторы относились к нему с пониманием, а Консistorия — снисходительно, так что всё здесь укрепляло в нем идиллические детские воспоминания.

Руссо получал сведения о политической ситуации и от оппозиционных буржуа. Он близко сошелся с Жаком-Франсуа Делюком — пятидесятилетним часовщиком, одним из руководителей партии буржуа — настоящим патриотом, честным, преданным, очень набожным и смертельно скучным. Женеве казалась Жан-Жаку упорядоченной и счастливой, он так и писал мадам Дюпен: «Здесь укрепилась свобода, город управляется спокойно, граждане в нем просвещенные, уверенные и скромные». Наступит день, когда ему придется переменить это мнение, но тогда ему так и вправду казалось — «потому что я носил всё это в своем сердце», как напишет он в своей «Исповеди».

Остаться здесь навсегда? Руссо колебался. В Париже остались друзья, родители Терезы; к тому же зарабатывать на жизнь переписыванием нот в кальвинистском городе было непросто. А если вернуться — то когда? Ближайшей весной? Можно устроиться где-нибудь в сельской местности, чтобы избавиться от назойливых посетителей. Его почки пока оставили его в покое, и он даже может поработать. Он подумывал о написании

«Истории Вале»^[23]; принялся даже, чтобы отточить собственный стиль, за перевод первого тома «Анналов» Тацита, затем — за «Лукрецию», трагедию в прозе, выдержанную в поучительном республиканском духе. Он уже вынашивал замысел своих «*Политических установлений*».

В работе находилась и статья «*Политическая экономия*», которая будет опубликована в ноябре 1755 года в пятом томе «*Энциклопедии*». В ней уже высказаны некоторые мысли, которые будут затем развиты в «*Общественном договоре*». Так, например, Руссо различает «суверенность», то есть верховную законодательную власть, и «правительство», или подчиненную ей исполнительную власть. Высшими ценностями он считает закон, выражение всеобщей воли и гарантию личной свободы — и задачей правительства является их соблюдение, так как «народы в конечном счете представляют из себя то, чем их сделало собственное правительство».

Руссо также вменял правительству в обязанность посредством образования укреплять чувство патриотизма, так как «величайший ресурс общественной власти заложен в сердцах граждан». Затем он излагал свою финансовую теорию: в противоположность коммерции и индустрии он давал высокую оценку сельскохозяйственной экономике, системе прогрессивных налогов на доходы, учреждению общественного сектора, продукт которого должен обеспечивать функционирование государства, а также особым законам, которые — родная Женева обязывает! — ограничивали бы излишества и роскошь.

В противоположность тому, о чем он говорил в своем «*Рассуждении о неравенстве*», здесь он утверждал, что собственность является правом человека, и не условным, а естественным, и даже «основой общественного договора». Но при этом подразумевал, что слабый должен быть защищен от чрезмерного разрастания частной собственности у других членов общества.

В конце своего пребывания на родине Руссо позволил себе немного отдохнуть. Он совершил на корабле тур по Женевскому озеру вместе с Делюком и двумя его дочерьми: ему очень хотелось возобновить общение с природой, которого ему так не хватало со времен Шарметта.

Пребывание в Женеве подошло к концу. Жан-Жак уехал 10 октября, пообещав вернуться. 15 октября он был уже в Париже в своей прежней маленькой квартирке на улице Гренель-Сент-Оноре. Он был очень доволен своей женевской «интермедией», столь удачным возвратом к тем истокам, окунувшись в которые, он сумел освежиться душой.

ВДАЛИ ОТ МИРА

Золотая медаль обошла Руссо стороной. 18 августа 1754 года в докладе Академии было сказано, что его работа слишком длинна. Это было правдой, но главное заключалось в другом: его работа слишком подрывала устои, чтобы обеспечить ему голоса людей, для которых понятие «собственность» было священным.

Впрочем, он и не рассчитывал стать лауреатом и доверил рукопись одному издателю, с которым познакомился во время своего путешествия. Это был Марк-Мишель Рэй: он был уроженцем Женевы, там же научился издательскому делу, а затем перебрался в Амстердам. Он станет главным издателем Руссо и не раз докажет ему свою дружбу. 12 мая Марзерб, директор издательства «Либрери», подписал разрешение на ввоз во Францию сотни экземпляров работы Руссо.

Жан-Жак был не слишком заинтересован в том, чтобы его *«Рассуждение о неравенстве»* первым делом появилось в Женеве. Чтобы соблюсти приличия, он должен был бы испросить разрешение у Совета и посвятить ему свою работу, но для этого нужно было предварительно представить ему работу на рассмотрение, а Жан-Жак не желал подвергать себя никакой цензуре. Когда же работа оказалась напечатана, Малому совету осталось только принять ее как данность. Первый синдик поблагодарил в общих выражениях своего соотечественника за добродетельные намерения и усердие, однако Жан-Жак назвал его письмо «честным, но холодным». Конечно, этот его опус никак не мог понравиться людям высокопоставленным.

Хотя новая работа Руссо была более значительной по содержанию, чем предыдущая, она не вызвала таких же многочисленных откликов. Появились лишь несколько отзывов в периодических изданиях да десяток брошюр, в которых объявлялась война этому «новому залпу софизмов». Оппоненты не сумели понять, что здесь была заложена целая философия истории. Это же надо — замахнуться на цивилизацию, разум, металлургию, земледелие, собственность! Очередной выпад «агрессора против рода человеческого»! И вновь предположения, что он и сам не верит в то, что утверждает с такой горячностью. Один женевский пастор дошел до того, что написал Руссо: вы, мол, уже создали себе известность, и «теперь пора покончить со всеми этими парадоксами... Общее пожелание таково... чтобы вы больше заботились о том, как образовывать нас и делать

лучшими, а не о том, как поставить нас обратно на четвереньки».

Руссо послал свою работу Вольтеру 30 августа тот ответил ему — почти теми же самыми словами (а это значит, что он не слишком внимательно читал его работу): «Я получил вашу вторую книгу, направленную против рода человеческого, — благодарю вас. Вы можете даже нравиться людям, которым говорите правду о них самих, но вы их не исправите... Еще никто до вас не употреблял столько ума, чтобы выставить нас дураками. Когда читаешь ваш труд, так и хочется стать на четвереньки. Но поскольку прошло уже более шестидесяти лет с тех пор, как я утратил эту привычку, я чувствую, к несчастью, что неспособен к ней возвратиться. Я оставляю этот способ передвижения тем, для кого он естествен и кто достоин его более, чем вы и я».

Вольтер вернулся и к первому его «*Рассуждению*». Он напомнил, что есть много других пороков, которые заслуживают бичевания, и что вовсе не искусство словесности «стало причиной Варфоломеевской ночи». В конце же он пригласил Жан-Жака вернуться на лоно природы и даже предложил ему вместе с ним, Вольтером, пить свежее молоко от его коров. Позднее Вольтер выскажет возмущение против осуждения собственности в книге Руссо и воскликнет: «Это же философия нищего!» В ответе Руссо прозвучали интонации «старательного недотепы»: он вознес хвалу «главе философов» и извинялся за то, что изображал из себя интеллектуала, соперничая со своим адресатом. Почти ничего более не было сказано, так как он устал от споров и уже не желал более жарких словесных битв, как то было по поводу его «*Рассуждения о науках и искусствах*».

Здоровье Жан-Жака снова причиняло ему сильное беспокойство. Мочевой пузырь тревожил больше, чем обычно: он уже не верил медикам, которые неспособны были помочь ему. Добряк Делюк, однако, порекомендовал ему женевского профессора, доктора Теодора Троншена, лечившего и Вольтера. Это был светский человек, блестящий ум, общавшийся с философами, но никому не позволявший покушаться на свое мировоззрение. Впоследствии он станет одним из самых ярых противников Руссо. Тогда же он сам предложил ему свои услуги и письменные консультации; Руссо вежливо ответил ему, но сослался на бессилие медицины перед «плохим устройством телесного органа».

От работы Жан-Жак, однако, не отлынивал. Он продолжал трудиться над составлением «*Музыкального словаря*»; друзья подбирали ему материал для «*Истории Долины*». В начале 1756 года, будучи в особенно хорошем настроении, Руссо сочинил маленький рассказ, в духе волшебных сказок, под названием «*Своенравная королева*». Этот безыскусный, но

живой и веселый рассказ, «без всякого лукавства», как уточнял сам Руссо, будет опубликован в 1769 году.

Думал ли он вернуться в Женеву? Весна уже давно прошла, теперь он заводил речь о будущей весне, а к концу 1755 года намерение вернуться домой казалось ему уже «неосуществимым». Почему? Жан-Жак давал этому обычные объяснения: здоровье, невозможность просуществовать в Женеве на заработки переписчика нот, гордость, не позволявшая ему соглашаться на синекуру. Всё это было правдой, но ведь те же препятствия существовали и ранее...

На самом деле Жан-Жака настораживала та холодность, с которой было принято посвящение женевскому Совету его второго «*Рассуждения*». Ведь его «*Политические установления*», будучи оконченными, неизбежно окажутся представленными на суд магистратов, не говоря уж о церковной цензуре. Дело было еще и в Вольтере, который в марте 1755 года поселился в Делисе, в доме, расположенном в полулье от окраин Женевы, — и этим вызвал беспокойство у Республики. Жан-Жак уже получил урок, когда спросил у Вольтера: можно ли рассчитывать, что он не будет вмешиваться здесь ни в политику, ни в религию? Вольтер ответил, что он вовсе об этом не задумывался, но едва он оказался в своем доме, как пригласил к себе знаменитого актера Ле Кэна и предложил ему представить свою трагедию «*Заира*» в частном театре Делиса перед высокопоставленной публикой, которая была менее щепетильной, чем буржуа, в отношении кальвинистской морали. Консистерия вмешалась, чтобы прекратить эти представления. Руссо восхищался Вольтером, но и опасался его — его характера и влияния.

Случай помог ему найти решение. В Шеврете у мадам д'Эпине, в глубине парка рядом с лесом Монморанси, был недавно обновленный домик, названный Эрмитажем^[24]. Приятельница любезно предложила его в качестве убежища Жан-Жаку: «Вы его выбрали, медведь мой, а моя дружба вам его дарит». Ее жест растрогал его, а само место он нашел чудесным: природа, покой, одиночество. И не надо ехать в Женеву, чтобы бежать из Парижа. «Сколько занятий дарит одиночество, — писал он мадам д'Эпине, — и еще возможность не видеть никого, кроме Вас». Она тоже радовалась этому. Впрочем, они едва не поссорились: возможно, потому, что мадам д'Эпине предложила ему некоторую денежную помощь. Жан-Жак тут же воспротивился: «Я никогда не боялся, что у меня не будет хлеба, а если бы такое случилось — я справлюсь и с этим... Я не продаюсь». Он согласен быть другом жены генерального откупщика, но не ее должником, потому что дружба и принятие помощи в его глазах несовместимы.

Это удаление от света стало венцом его «реформы», окончательным отказом от приспособленчества. Руссо знаменит — и Руссо уходит: теперь не общество отбрасывает его, а он отбрасывает общество от себя. Жан-Жак взял с собой Терезу и ее мать; папашу же Левассера они оставили в приюте, где тот вскоре и умер.

Друзья были возмущены его решением и до конца не верили, что это серьезно. Однако в серьезности его намерений им пришлось убедиться менее чем через полгода. 9 апреля 1756 года «под громкое улюлюканье гольбаховской компании» скромная мебель Жан-Жака была погружена в повозку откупщика, а его самого мадам д'Эпине посадила в свою карету вместе с Терезой и мамашей Левассер. В тот же день он оказался в своем Эрмитаже.

Наутро он был разбужен пением соловья: «Наконец все мои желания осуществились». Он сразу обошел свои маленькие владения, осмотрел жилище: первый этаж был слегка приподнят над землей, на втором этаже были большие окна, так что просторная квадратная комната была с трех сторон залита светом. И еще сад, лес, луга... Руссо вздыхает от полноты чувств. «Я начал жить только 9 апреля 1756 года», — так он и пишет Мальзербу. Впрочем, появилось и первое сожаление: ему не хватает его друга Дидро. Тот, конечно, обещал навестить его, но Жан-Жак знает своего приятеля — забывчивого и необязательного.

Чтобы упорядочить повседневный строй жизни, Руссо составляет план работы. «Музыкальным словарем» он будет заниматься в дождливые дни. «Политические установления» требуют покоя и некоторой отсрочки. Он подумывает и о трактате по педагогике, о котором его просила мадам де Шенонсо. В качестве ближайшего проекта он склоняется к написанию «Чувственной морали, или Материализма мудреца». Руссо — и вдруг материалист? Скорее, сенсуалист — в духе Кондильяка^[25], задающего вопросы о влиянии внешнего мира на нашу душу и поведение.

В конце концов предпочтение было отдано рутинной работе — составлению, по просьбе мадам Дюпен, резюме работ покойного аббата Сен-Пьера. Это был непустьашный труд — семнадцать печатных томов и шесть больших папок с рукописями; к тому же славный аббат не блистал стилем. Более того, Руссо не был согласен с его утопизмом и верой в «усовершенствованный разум». Он решил действовать так: сначала дать добросовестное резюме трудов аббата, а затем привести собственные возражения. Он начал с «Проекта вечного мира», написанного в 1713 году, где Сен-Пьер предлагал создать «Лигу королей», то есть международное соглашение правительств, которое гарантировало бы территориальный

«status quo». Не было бы ничего лучше, скажет Руссо в своем *«Рассуждении»*, — но кто из монархов согласится на ограничение своих прав? Он скорее поверил бы в федерализацию народов, истинных носителей суверенитета, но он понимает, что это значило бы нанести смертельный удар монархиям: «Федеративные союзы не могут создаваться иначе как путем революций — и кто из нас осмелится с уверенностью предсказать, может ли таким образом созданный европейский союз быть желательным или опасным?»

Затем Руссо перешел к *«Слову о полисинодии»*, в котором Сен-Пьер храбро предлагал заменить министров, назначаемых монархом, постоянными советами, состоящими из чиновников, избранных за их компетентность. Это означало ни много ни мало лишить короля его абсолютной власти и превратить его в президента, ведающего исполнительной властью. Руссо считал эти идеи чересчур «взрывными»: в 1761 году он опубликует *«Отрывок из «Проекта вечного мира»*, но оставит в столе *«Полисинодию»* и два своих комментария к ним.

Руссо размышлял и о самом себе. Природа звала его к Богу, он чувствовал потребность очиститься от софизмов своих друзей-философов и утвердиться в собственном символе веры. Во время прогулок по лесу его мысль воспаряла к «непостижимому существу, которое объемлет всё». Иногда, задыхаясь от этого откровения, он восклицал: «О великий Суций! О великий Суций!» — не будучи в состоянии прибавить ни слова и замирая от восторга и благодарности. По вечерам Жан-Жак перечитывал Библию, и особенно — Евангелие, такое простое, истинное и великое.

Возможно, именно тогда, в Эрмитаже, он создал *«Аллегорический отрывок об Откровении»*, в котором человек — он сам — размышляет о вечных вопросах. Откуда берет начало порядок вещей? Каким образом материя порождает мысль? Является ли всё сущее случайностью, непредсказуемым стечением обстоятельств? Он уже готов был отказаться от исследования этих тайн, как вдруг ему открылась «всемогущая рука, простертая над всем существующим». Сомнений больше не было: разумная сущность одухотворяет материю в соответствии со своими законами, то есть в Боге — начало всего.

Дальнейшее повествование облекается в форму сказки-притчи — излюбленного жанра того философского века. Так, в огромном здании, воздвигнуты статуи, перед которыми служат жрецы, но они заставляют всех проходящих надевать на глаза повязку. Появляется человек, который осторожно снимает эти повязки. Смысл образа ясен: это один из философов, пробуждающих в людях разум. Другой персонаж, называющий

себя слепым, вдруг обнаруживает, что одна из статуй «попирает ногами олицетворение человечества, но при этом набожно обращает глаза к небу». Этот храбрый старик — не кто иной, как Сократ: он обличает фанатизм, который под предлогом служения Богу ослепляет людей. Третий персонаж — «Сын Человеческий»: он переворачивает эту статую и смиренно проповедует «божественную мораль». Евангелия. Это не сверхъестественное существо, но он, своей любовью к людям, подтверждает очевидность «естественной религии» — совести, открывающей источник истины в самой себе. Здесь Жан-Жак сделал первые шаги к тому, что впоследствии, через «лабиринты смущения, трудностей, возражений, окольных путей, потемок», приведет его к окончательным убеждениям, высказанным в *«Исповедании веры савойского викария»*.

С наступлением погожих дней в Шеврет прибыла мадам д'Эпине. Гримм, недавно ставший ее любовником, ревновал ее к Жан-Жаку и всячески подчеркивал свое превосходство над ним. На некоторое время, к великому неудовольствию отшельника, в доме воцарились шум и светская суэта. По счастью, маркиза недолго пробыла на природе. Большую часть времени житель Эрмитажа оставался в одиночестве, как того и желал.

Жан-Жак честно попытался приобщить к своему образу жизни Терезу — но бедная женщина, оторванная от привычной суеты и сплетен, оказалась к этому не готова. И он стал совершать лесные прогулки без нее. Он временно прервал работу над трудами Сен-Пьера и, оказавшись без дела, чувствовал, как наваливается на него беспричинная тоска.

Казалось бы, всё хорошо. Но тогда почему всё чаще случалось ему вздыхать о том, что было в Шарметте? Ему было 44 года, середина жизни была давно пройдена, а багаж его чувств оставался весьма тощим. Он спрашивал себя: любили ли его когда-нибудь, любил ли он сам по-настоящему? Когда он вспоминал о женщинах своей юности, на ум приходил «сераль гурий». Позабыв о своей болезни, о седеющих волосах, «гражданин Женевы» воображал себя «экстравагантным пастушком». Увы, поздно — время любви ушло. Но ведь не ушло время мечтать! «Невозможность иметь подле себя реальных людей увела меня в страну грез; не видя вокруг себя ничего, чтобы было бы достойно моего восхищения, я взрастил эти образы в своем идеальном мире, и мое творческое воображение вскоре населило этот мир теми созданиями, которые были мне по сердцу».

Отныне Руссо не был одинок на своих прогулках. Романтичность мироощущения была свойственна ему с детства, и потому его мечты

неизбежно должны были однажды облечься в романическую форму. Он начал сочинять пару безделушек: «*Любовь Клэр и Марселина*», «*Маленький савояр, или Жизнь Клода Нуайе*», но вскоре забросил их. В его воображении идиллические отношения зарождались между простыми крестьянами, бедной молодой девушкой и состоятельным юношей; был здесь и несговорчивый отец. В общем, слащавые розовые буколики и он сам быстро от них устал.

Вскоре, однако, действительность жестоко рассеяла его грезы: очередной приступ болезни приковал его к постели. Вдобавок Жан-Жак узнал, что старушка Левассер оставила в Париже неоплаченные долги, в связи с чем друзья сплетничали по поводу его отъезда и нежелания возвращаться в город. Ему стало известно об этом от Александра Делейра, молодого гасконца, который стал верным его учеником. Попав в среду энциклопедистов, тот даже составил для «*Энциклопедии*» статьи «Булавка» и «Фанатизм». Это был идеальный ученик: преданный, услужливый, всегда готовый выполнить любые поручения. Славный малый, жаждавший благосклонности Руссо, но несколько болтливый и бестактный и еще, по мнению своего учителя, слишком уж тесно связанный с «гольбаховской компанией».

В июле Жан-Жак получил «*Поэму о катастрофе в Лиссабоне*» Вольтера. 1 ноября 1755 года в Лиссабоне произошло землетрясение, которое сопровождалось пожаром и наводнением. Погибли тысячи людей. Ужасное предупреждение Неба — ворчали набожные люди. Это событие пошатнуло позиции оптимистического деизма.

«Всё в этом мире хорошо», — утверждали в свое время Лейбниц и Поуп, и ничто в нем не может произойти без соизволения Бога и Его высших на то соображений. Столько невинных смертей — это «хорошо»? Нужно было как-то защитить этот мир от абсурда, и потому Вольтер предпочитал склониться перед Непостижимым и продолжать верить в Бога. Но лиссабонская катастрофа его сразила и наполнила болезненными сомнениями.

Вольтер рассуждает неверно, решил Жан-Жак. 18 августа 1756 года он отправил философу длинное письмо, которое стало еще одной попыткой утвердить свое кредо только на основе разума. Зачем делать Провидение ответственным за всё? Если бы обитатели больших городов не набивались скопом в шестиэтажные дома, то смертей было бы меньше. Но почему это несчастье не могло обрушиться, например, на пустыню? Тогда это значило бы, что «мировой порядок должен изменяться в соответствии с нашими прихотями, что природа должна подчиняться человеческим законам». Если

нам кажется, что мы обнаружили некие «неправильности» в мировом порядке, то это происходит от того, что мы видим перед своим носом лишь некоторые его детали, не понимая общего замысла. Так что не будем говорить: «Всё хорошо»; скажем точнее: «Хорошо Творение в целом», или даже: «Всё хорошо для Творения в целом». Бог установил наилучший порядок вещей. Какие есть тому доказательства? «Я их не имею, — полагал Руссо, — так как ни утверждения за, ни утверждения против не являются доказуемыми». Руссо жестко настаивает на своем, не допуская никаких сомнений в этом: Бог существует и душа бессмертна; «я это чувствую, я в это верю, я этого хочу, я на это надеюсь». И почему бы нет, если эта идея утешает человека, а сомнение повергает его в отчаяние?

Вольтер не захотел вступать в полемику и уклончиво ответил любезной отпиской. Жан-Жак всегда считал — причем напрасно, — что настоящим ответом Вольтера была его философская сказка «Кандид».

Жан-Жак вновь погрузился в мечтания. На сей раз он воображал себе двух кузин, связанных самой нежной дружбой. Одна из них — белокурая, нежная, слабая, но при этом добродетельная — звалась Юлия. Другая — темноволосая, игривая, живая, но разумная, несмотря на некоторую внешнюю причудливость — Клэр. Между ними стоит Сен-Пре — очевидно, сам Жан-Жак, только молодой и любезный, то есть такой, каким он хотел бы быть. Это любовник первой из них и дорогой друг «и даже немного более» — для второй. Они живут около Веве, что на берегу Лемана, — видимо, не случайно возник здесь родной городок Матушки. Сначала это были всего лишь смутные образы, которыми Жан-Жак развлекал себя в такт прогулочной ходьбе. Но наступил момент, когда он сам увлекся ими настолько, что ему захотелось продолжить историю. Настоящий сюжет еще не сложился в его голове, но ему случалось по ходу своих прогулок нацарапать, положив на колено листок, несколько строк, «разрозненных, без продолжения и без связи», — и таким образом у него сложились, почти безотчетно, две первые части того, что станет впоследствии «*Юлией, или Новой Элоизой*».

Шли месяцы, наступили ненастные дни. Ну и чудак этот Жан-Жак, судачили его друзья: не собирается же он в самом деле закопаться в нору, как барсук, посреди замерзших полей? Но «чудак» не желал ничего слышать.

Отшельник рассчитывал спокойно поработать в тишине. Однако, когда наступила дождливая осень, а потом и зима, которая отрезала его от всего мира, он вдруг заметил, что его не прельщает задуманная ранее возня с бумагами, и мысли сами собой устремляются к Юлии, Клэр и Сен-Пре.

Как?! Ему, противнику всякой беллетристики, стать автором романа?! Это был полный абсурд, но Жан-Жак ощущал в себе непреодолимое влечение...

Итак, решено: пусть будет роман, но роман полезный, являющий собой урок добродетели... В нем он будет говорить о счастье, о религии, о супружеской верности, о педагогике, об управлении помещьем. Первоначальные сладострастные грезы обернулись серьезными темами и моралью. Делать нечего: пришлось уступить самому себе, и Руссо очертя голову окунулся в свои фантазии.

Это было счастье! Он переделывал, дополнял уже написанное, любовно переносил текст на красивую золотистую бумагу, подсушивая чернила серебристым и лазурным порошком и сшивая листы голубой нонпарелью. По вечерам, сидя у камина, Жан-Жак либо с наслаждением сочинял, либо с нетерпением испытывал воздействие романа на своих слушателях — Терезе и ее матери.

Париж был забыт. Впрочем, он съездил туда два раза: в конце декабря и 21 января, чтобы навестить больного Гофкура и заодно пообедать с мадам д'Эпине и переночевать у Дидро. В общей сложности, прошедший год был удачным. Он был бы еще лучше, если бы они с Дидро чаще виделись. Ох уж этот Дидро! Десять раз обещал приехать — и десять раз свои обещания нарушал! Необязательность Дидро не была новостью, но дело не только в этом. Конечно, и «Энциклопедия» поглощала его время, создавала ему массу трудностей. Но главное было в другом: у приятелей были противоположные натуры. Чтобы оставаться собой, Жан-Жаку были необходимы покой и одиночество; его приятелю нужны были для работы суета, спешка. Дидро было непонятно отшельничество Жан-Жака; более того, он усматривал в нем скрытое осуждение собственного образа жизни. Впрочем, Жан-Жак в данном случае эгоистично думал только о себе: он отказывался приезжать в Париж, но считал совершенно естественным, что его друзья обязаны приезжать к нему в Эрмитаж. С обеих сторон нарастало глухое раздражение.

В начале марта 1757 года Руссо получил экземпляр пьесы Дидро «Внебрачный сын». Ему на глаза попало следующее высказывание: «Порядочный человек живет в обществе, и только злобный остается в одиночестве». У Дидро есть друг, живущий в уединении, — и вот что он думает о нем! Жан-Жак не сходя с места написал ответ. Отдавая эту реплику одному из своих персонажей, Дидро, конечно, не имел в виду Руссо. Однако он имел бестактность отправить ему 10-го числа небрежный ответ: он, мол, не слишком доверяет отшельникам и не думает, что очень

хорошо держать вдали от всех восьмидесятилетнюю женщину. Концовка письма была совсем нехорошей: «Прощай, Гражданин! Впрочем, это какой-то странный гражданин — отшельник».

Ни извинений, ни сожаления... И еще этот намек на мамашу Левассер — как будто восьмидесятилетним старушкам можно жить только в Париже! Жан-Жак сказал мадам д'Эпине: «Дидро написал мне письмо, которое пронзило мне душу!» Но в своем ответе Дидро он как-то неловко заявлял, что видит во всем этом происки Гримма, который не успокоится, пока не отнимет у него всех друзей.

Дидро ответил раздраженно: у него жена, ребенок, много других обязанностей. Что касается мамаша Левассер, он не берет назад ни одного своего слова, а что касается его письма вообще, то он нисколько не жалеет, что написал его. «Вы хотите, чтобы я приехал? Хорошо, я прибуду, но только пешком, потому что у меня нет денег, чтобы нанять экипаж». Тон их полемики накалялся. «Когда вы обещали приехать, — ворчал в ответ Руссо, — Вы разве не знали, что у Вас есть жена и ребенок? Вы хотите, чтобы мамаша Левассер жила в Париже? Вы ее получите, и вместе с Терезой, если Вам так хочется»; «Ах, Дидро, мое сердце сжимается, когда я пишу Вам. Я не в состоянии видеть Вас; не приезжайте, умоляю Вас».

Своей горечью он делился с мадам д'Эпине. Когда они все были бедны и неизвестны — они были друзьями. Он таким же и остался, но Дидро и Гримм стали важными персонами. Его дружба становится требовательной, исключительной. И Дидро в ответ взорвался. В конце концов, чего добивается Жан-Жак своими упреками и поучениями? Разве я не поддерживал его во всем, не защищал, не берег, не радовался его успехам? А я, возражал Руссо, отвечая ему с обратным курьером, разве не появлялся я трижды на неделе в Венсене, и в любую погоду? Разве это я вонзил кинжал в сердце другу несправедливой фразой из *«Внебрачного сына»!* И он пускался объяснять, без всякого смущения, чего он ждет от настоящего друга.

Делейр вмешался, чтобы утихомирить их, и предложил встретиться где-нибудь «на нейтральной территории». В начале апреля Дидро наконец приехал. Два друга объяснились, обнялись, помирились, отказываясь замечать, что они всё более отдаляются друг от друга.

АДСКИЕ МУЧЕНИЯ

В начале января 1757 года к Руссо неожиданно, невзирая на непроезжие дороги, пожаловала мадам д'Удето. Он знал эту молодую женщину, кузину и свояченицу мадам д'Эпине: они познакомились еще в 1748 году незадолго до того, как она вышла замуж за графа д'Удето.

Элизабета Софи Франсуаза де ла Лив де Бельгард родилась в 1730 году. Ее муж, одержимый игрок, наградил ее тремя детьми, а затем бросил ради другой женщины. Потом и она не устояла перед ухаживаниями неотразимого Сен-Ламбера^[26]. Их связь продлится 51 год. Она была доброй и чувствительной, но вместе с тем живой, шаловливой, импульсивной и немного взбалмошной. Была далеко не красавицей — это признавал и сам Жан-Жак: блеклый цвет лица в оспинах, близорукие круглые глаза — но при этом грациозная походка, копна вьющихся черных волос, спадающих чуть ли не до пят, и мягкий характер.

В тот день ее карета увязла в рытвинах; выпачкав свои ботиночки в грязи, она натянула поверх них боты и храбро продолжила путь пешком. В дом она вошла запыхавшись и весело смеясь над своим приключением; Тереза тут же принесла ей сухую одежду. Как говорил потом Жан-Жак, этот визит был похож на начало какого-нибудь романа.

В скором времени он увиделся с ней вновь. Тот год стал началом Семилетней войны, и все мужчины-офицеры отбыли в армию, даже Гримм, который был секретарем маршала д'Эстре. С середины апреля мадам д'Эпине расположилась в Шеврете, а мадам д'Удето приехала поскучать в Обонн — в одном лье от Эрмитажа. Сен-Ламбер, будучи очень привязан к Руссо, посоветовал своей любовнице поддерживать с ним дружескую связь. Жан-Жак был тогда весь в лихорадке творчества — он писал свой роман. В первые дни мая она явилась навестить его в таком виде, от которого у него пошла кругом голова: она была верхом на лошади, в мужском костюме и сапогах, в шляпе с перьями, с хлыстом в руке. Ее лицо порозовело от скачки, и она была похожа на амазонку. Романтичность ее появления вскружила Руссо голову: «Она приехала, я увидел ее; я уже был опьянен беспредметной любовью, это опьянение ослепило меня, предмет любви был найден в ней — я увидел свою Юлию в г-же д'Удето, наделив ее всеми совершенствами, которыми я украсил в романе кумира моего сердца». Она заговорила о Сен-Ламбере — «заговорила как страстная любовница. А любовь заразительна!».

Итак, образ Юлии не был навеян Жан-Жаку реальной женщиной — наоборот, это Юлия из романа обратила его взгляды на мадам д'Удето.

Софи обладала таким достоинством, как верность, понимаемая в духе своего века, — то есть она хранила верность своему любовнику. Жан-Жак возбужденно прислушивался, как отзываются в его сердце слова любви, обращенные к отсутствующему другу. Они с Софи стали часто видеться. Гуляли вместе, изливали друг другу душу, становились всё более близкими. Она была польщена тем чувством, которое угадывала в этом знаменитом человеке с репутацией гордеца. Однажды вечером в порыве чувств он высказал ей всё, выплеснув перед ней все страстные слова, которыми он наделял своего героя Сен-Пре. Она не отвергла этих слов, но ответила ему, говоря о Сен-Ламбере. Жан-Жаку не на что было надеяться. Пусть она хотя бы позволит любить ее и говорить ей об этом.

Они виделись и переписывались каждый день. Она не отталкивала его, но и не поощряла, и Руссо стал подозревать, что они с Сен-Ламбером сговорились выставить его на посмешище. Тогда он решил обезопасить себя от насмешек, приняв в своих письмах тон особой близости к ней: он называет ее Софи и на «ты», просит у нее «доказательств», что она не смеется над ним. Однажды вечером в роще акаций он заговорил о своей любви с таким пылом, что она воскликнула: «Нет, никогда мужчина не бывал так ласков, и никакой любовник не любил так, как Вы! Но Ваш друг Сен-Ламбер слышит нас, а мое сердце не может полюбить дважды». И что же Жан-Жак? «Я слишком любил ее, чтобы хотеть ею обладать». Однако он ощущал в себе прежний пыл, который испытывал когда-то подле мадам де Ларнаж, и обманывал его на свой манер — в лесу, по дороге в Обонн: «Вряд ли мне удавалось проделать этот путь в одиночку безнаказанно». Он добирался туда, истощив любовные силы, но обретал их вновь при виде Софи. Однако она оставалась нетронутой.

Во всяком случае, так это описано в «Исповеди», Мы никогда не узнаем всей правды о их отношениях. Обладание действительно не было его целью — но были ли их свидания столь платоническими? В эти безумные вечера разве не приводил он и ее в состояние самозабвения? Странная ситуация, в которой не она умела овладеть собой, а он умел сдерживаться: «Нет, Софи, я могу умереть от своих порывов, но я никогда не заставлю вас унизиться... Я не могу опорочить ту, которую я боготворю». Он рассуждает о добродетели, но не осмеливается признаться, что его желание всё же находит удовлетворение в ласках, в которых она ему не отказывает.

Осторожная графиня уничтожит его письма, но останется одно,

неотправленное, помеченное началом октября, когда всё было лишь болезненным воспоминанием. Оно дает основания думать, что «Исповедь» все-таки скрывает правду. Единственный поцелуй вечером в роще? Но она искала его руку во время их прогулок, она не отстраняла свои губы. «Я не буду напоминать тебе о том, что произошло в твоём парке и в твоей комнате...» Если его страсть вызывала в ней только жалость — зачем тогда искала она в его глазах, «не уничтожит ли эта жалость в нём уважение [к ней]»? Или это патетическое восклицание: «Как! Мои горящие губы не отпечатают на твоём сердце мою душу — вместе с моими поцелуями! Как! Я не испытаю более этого небесного содрогания, этого мгновенного пожирающего огня, который быстрее молнии... Мгновение! Невыразимое мгновение!» И где же здесь та добродетель, о которой он заявляет в «Исповеди»?

В начале июля Сен-Ламбер вернулся в Париж. Руссо написал Софи вежливое письмо, в котором сообщал, что отправляется навестить Дидро и надеется «обнять г-на де Сен-Ламбера». Что он и сделал без особых угрызений совести. Дидро принял его хорошо, показал ему план своей новой пьесы «Отец семейства» и высказал свое мнение о начале «Новой Элоизы», которое было послано ему в январе. Подобные романы не были его жанром, и Дидро нашел роман «пухлым», то есть многословным. Жан-Жак доверил, ему свой секрет; он отрицал только, что мадам д'Удето была осведомлена о его страсти, — и попросил совета. Признайтесь в этом Сен-Ламберу, посоветовал Дидро, и устранились. Жан-Жак пообещал — и не сделал. Он искал себе оправдания: это же не его вина, что он влюбился. Сен-Ламбер сам послал к нему мадам д'Удето, и она сама нашла его. «Они сами способствовали злу, а пострадал от него я. На моем месте он сделал бы то же самое, может быть, еще хуже».

Когда Сен-Ламбер вернулся в армию, Софи опомнилась. Она сожгла письма Жан-Жака, потребовала от него вернуть ее письма. Это было вовремя: о их связи уже начинали ходить слухи, да и мадам д'Эпине не была слепой. Руссо становился притчей во языцех. В июне сам Гольбах наведлся к нему, чтобы насладиться видом «Влюбленного Гражданина».

В августе Софи поведала Жан-Жаку, что Сен-Ламбер нашел ее изменившейся и обеспокоен этим. Было ясно: ему уже донесли. Кто? Конечно же, мадам д'Эпине, уязвленная тем, что ею пренебрегли. Хорошенькие же дела он узнал за ней! Оказалось, что она не раз пыталась завладеть письмами Софи, которые Тереза приносила Жан-Жаку, а в его отсутствие не стеснялась рыться в его рабочем кабинете. От гнева он потерял всякую осторожность. 31 августа он получил от мадам д'Эпине

дружеское послание. Этот день стал «днем пяти посланий»: письма весь день сновали между Шевретом и Эрмидажем. Благородная дама не понимала или делала вид, что не понимала загадочных слов Руссо о «клеветниках», кому-то, видите ли, захотелось поссорить «двух тесно связанных любовников», и для этого воспользовались им, чтобы вызвать ревность у Сен-Ламбера: «В этом злодеянии я подозреваю Вас».

Однако после вспышки гнева наступила паника. Ведь у него не только нет никаких оснований для подобных подозрений, но по сути и Сен-Ламбер ничего не знает. Он слепо ухватился за мадам д'Эпине, потому что ему нужно было найти виновного для очистки собственной совести. Но после такой вспышки ему следовало бы немедленно покинуть Эрмидаж — и это был бы скандал — или пойти объясняться. Жан-Жак выбрал второе. Свидание состоялось, но ничего не было объяснено.

О чем на самом деле беспокоился Сен-Ламбер? Нужно было опередить возможные пересуды. И вот 15 сентября Жан-Жак жалуется маркизу на... холодность мадам д'Удето. Он знает якобы, что происходит на самом деле: ведь Руссо известен всем своей добродетелью и отвращением к адюльтеру, и Сен-Ламбер опасается^ как бы он не постарался разлучить его с Софи. Сначала Жан-Жак выражает протест: «Нет-нет, Сен-Ламбер, в груди Жан-Жака не бьется сердце предателя». К тому же он понял, что их связь не является обыкновенной плотской связью: «Я чувствую уважение к такому нежному союзу». В таком исключительном случае мораль может проявить снисходительность. Вывод: пусть Сен-Ламбер раскается в своих несправедливых подозрениях и вернет Жан-Жаку дружбу Софи. В общем, получился поистине блистательный шедевр лицемерия.

Сентябрь был мрачным. Отношения с мадам д'Эпине стали фальшивыми и принужденными. Стало еще хуже, когда в Шеврет вернулся Гримм: он бесцеремонно занял комнату Жан-Жака, потому что она удобно соседствовала с комнатой его любовницы. Гримм стал обращаться с ним небрежно, и это раздражало. Руссо обвинил его в том, что он оттесняет его от друзей и за его спиной дурно отзывается о нем. Напряжение между ними нарастало, но мадам д'Эпине старалась играть роль доброй примирительницы, и Жан-Жаку хотелось думать, что он просто нафантазировал себе разлад между ними. 6 октября они с Гриммом имели разговор, последовали натянутые извинения, нравоучение и снисходительное объятие царствующего фаворита.

Руссо жестоко страдал из-за отчужденности Софи. К дню рождения хозяйки дома он сочинил музыку — аккомпанемент к небольшой пьеске. Софи присутствовала на этом балу, и ему дважды показалось, что, танцуя,

она взглянула на него. Его охватила надежда, и он написал ей длинное душераздирающее письмо: «Приди, Софи, чтобы я мог отягчить твоё несправедливое сердце, чтобы я мог показать себя таким же безжалостным, как ты. С какой стати стал бы я щадить тебя, если ты отнимаешь у меня разум, честь и саму жизнь? С какой стати позволил бы я тебе проводить дни в мире и покое, если ты делаешь мои дни невыносимыми?.. Посмотри, чем я был и что со мной стало: до каких высот ты меня подняла и до какой степени ты меня унизила. Когда ты снисходила слушать меня, я был более чем мужчина; с тех пор как ты меня отстраняешь, я стал последним из смертных. Я потерял здравый смысл, ум, смелость — одним словом, ты отняла у меня всё».

Жан-Жак вспоминал ее ласки, вымаливал у нее нежность и дружбу. Он не отправил это письмо — зачем? Она сочувствовала ему, утешала, убеждала прийти в себя. Он боролся с собой как мог. Теперь он испытывал потребность сублимировать эту любовь и начал писать для нее «*Моральные письма*» — «искусство быть счастливым». Его чувства возносились в небесный эфир: «Придите, моя дорогая и достойная подруга, послушать голос того, кто Вас любит... На смену слепой любви пришли тысячи просветленных чувств... Вы стали мне еще дороже с тех пор, как я перестал Вас обожать». Он заставлял себя управлять сознанием, уводить его в область внутренней жизни. Цель существования, убеждал он ее, это счастье, но его можно достичь лишь посредством добра, а добро не поддается рассуждениям: оно ощущается, чувствуется благодаря единственному проводнику, который не обманывает нас, — это «совесть, совесть, божественный инстинкт... ты одна составляешь совершенство моей природы». Эта формула вскоре пригодится ему вновь — в «*Исповедании веры савойского vicария*».

Пришел наконец ответ от Сен-Ламбера: он, частично парализованный, находился в госпитале в Германии. Письмо было вполне простодушным: Сен-Ламбер опасался за свою любовную связь, предполагая в Жан-Жаке чрезмерную добродетельность, так как знал «строгость его принципов».

И еще одно утешительное свидетельство. В середине октября мадам д'Эпине объявила ему о своем скором отъезде в Женеву, где она хотела проконсультироваться у Троншена. «А вы, мой медведь, — прибавила она небрежно, — не хотите ли проехаться со мной?» Жан-Жак отшутился: хорошенькое сопровождение составит калека больной женщине; он поздравил себя с таким удачным ответом, когда ему пришло на ум, что его приятельница в результате трудов Гримма оказалась беременной и потому намеревается уехать рожать куда-нибудь подальше. Славная же роль ему

предназначалась! Но он ошибался, так как мадам д'Эпине в феврале снова заговорила о возможности путешествия. Он уже перестал думать об этом, как вдруг получил от Дидро совершенно невероятное письмо. «Я узнал, — писал ему друг, — что Вы не хотите сопровождать мадам д'Эпине, несмотря на всё, чем Вы ей обязаны. Я бы на Вашем месте, если бы здоровье не позволяло мне высиживать подолгу в почтовой карете, взял бы посох и пошел за ней пешком... Подумайте о том, что Вас заклеят прозвищем неблагодарного, а также могут обвинить в другом тайном мотиве».

И зачем он опять вмешивается, этот Дидро, который не писал ему с марта и не виделся с ним с июля! А этот намек на «тайный мотив» — на его страсть к мадам д'Удето, конечно! В ярости Руссо ответил, что не намерен более идти на поводу у всяких бездельников, которым вздумается использовать Дидро как прикрытие для своих сплетен.

25 октября Гримм и его дама отправились в Париж. Жан-Жак проводил их и затем отправился обедать в Обонн, так как мадам д'Удето тоже «прощалась с долинами». Это был дружеский обед. Руссо расчувствовался и заверил Софи, что отныне будет считать ее любовь к Сен-Ламберу «одной из ее добродетелей». Но он упомянул также о письме Дидро, и графиня вздрогнула: в свете могут подумать, что это она удерживает Жан-Жака, и поэтому нужно, чтобы он написал хотя бы Сен-Ламберу и этому змею Гримму. Она была права.

С маркизом дело устроилось легко. Он благословил их дружбу с Софи и даже одобрил ее напутствием: «Да, дети мои, будьте всегда друзьями — я не знаю других людей с такими душами, как ваши». Маркиз изящно намекал, что мадам д'Удето тоже хотела бы, чтобы он сопровождал в Женеву мадам д'Эпине. В ответ Жан-Жак рассердился, отказываясь быть «лакеем» генеральной откупщицы: «Я презираю деньги как грязь... Я лучше буду неблагодарным, чем ничтожеством».

С Гриммом всё прошло не так гладко. Почему он должен сопровождать мадам д'Эпине, хотелось бы ему знать, писал Руссо. Из благодарности за ее благодеяния? «Мне не нравятся благодеяния, я их не хочу». И вообще — какие благодеяния? Он заплатил за них своей свободой и независимостью — «двумя годами рабства». Если кто-то и имел обязательства по отношению к другому — так это она. Дружба? «Красивое слово, которое часто используется как плата за рабство». Но с ним, конечно, стесняться нечего, потому что он беден — и вообще, «бегать, заляпываясь грязью, это ремесло бедных». В конце он требовал у Гримма «третейского суда».

Это письмо было несправедливым и попросту самоубийственным.

Гримм отвечал ему высокомерно, но уклончиво. 30 октября мадам д'Эпине покинула Париж без единого слова. На следующий день Гримм дал волю своим чувствам. Ваше поведение, писал он Руссо, это верх неблагодарности: «Никогда в своей жизни я больше не увижу Вас, и я буду счастлив, если смогу изгнать из своего сознания воспоминания о Ваших поступках. Я прошу Вас забыть обо мне». В отчаянии Руссо обратился к Софи: «Все, кого я любил, меня ненавидят... Есть ли у меня еще подруга и друг? Одно только слово — и я смогу продолжать жить...»

Вокруг него образовалась пустыня. Оставались только она и Сен-Ламбер.

Отныне Руссо был повергнут, как он сам говорил, в «муки ада». Вне себя, он шлет графине письмо за письмом, но почта слишком медлительна, ответы либо не приходят, либо запаздывают и отстают от событий. Софи дрожит — но не за него, а за себя.

Он чувствует себя отвергнутым, опозоренным, утратившим репутацию. 2 ноября, в «день траура и тоски», он дошел до предела отчаяния. Неужели и она считает его чудовищем?

«Вы — и ненавидеть меня? Вы, которая знает мое сердце, — и меня презирать? Великий Боже, неужели я предатель?.. Ах! Ну если уж я зол, то весь человеческий род подл! Пусть мне укажут на человека, который был бы лучше меня...»

Жан-Жак намеревался немедленно убраться из Эрмитажа. Мадам д'Удето удерживала его как могла: она была связана по рукам и ногам их общим злосчастным июнем, который требовал молчания этого безумца. Она заклинала его не устраивать скандал и никуда не уезжать. Он уступил. 14 ноября пришло письмо от Дидро — мрачное и торжественное: «Не вызывает сомнений, что у Вас нет. больше друзей, кроме меня, но не вызывает сомнений и то, что я остаюсь Вашим другом». Он тоже советовал никуда не двигаться до наступления весны. Жан-Жак написал мадам д'Эпине, что он остается до весны только потому, что его убедили друзья, но делает это с унынием в душе: «Наша дружба угасла, мадам».

5 декабря Дидро приехал сам, и Жан-Жак рассказал ему об интригах мадам д'Эпине. Он рассказал и о своей несчастной страсти, по-прежнему веря, что мадам д'Удето о ней ничего не знала. В «Исповеди» их встреча преподнесена как мирная и дружеская. Напротив, в автобиографическом романе мадам д'Эпине под названием «История мадам де Монбриан» говорится, что Дидро якобы в тот же вечер написал Гримму: «Этот человек — одержимый... Этот человек вторгается помехой в мою работу. Он будоражит меня, и я чувствую его рядом с собой как какое-то проклятие.

Он и есть проклятие — это точно». Это письмо — фальшивка, но та их встреча не была, конечно, такой мирной, как о ней рассказано в «Исповеди».

Неопределенность не могла продолжаться бесконечно. 7 или 8 декабря до Руссо дошла записка от мадам д'Эпине, поразившая его как гром: «Поскольку Вы хотели покинуть Эрмитаж и даже должны это сделать, я удивлена тем, что Ваши друзья Вас удерживают. Что касается меня, то я никогда не советуюсь со своими друзьями по поводу моих обязанностей, и ничего более не могу добавить по поводу Ваших». На сей раз всё было кончено. Потрясенный Жан-Жак снял в Монморанси домик Пети-Мон-Луи, купил немного мебели и необходимые вещи и отослал старушку Левассер к внучке в Париж. 15 декабря был сильный снегопад, но изгнанник пренебрег непогодой: стол, стулья, матрасы и посуда были навалены в телегу, а Руссо вместе с Терезой пошли за ней пешком. Налаженная жизнь рушилась, но 17-го числа он нашел в себе силы с достоинством написать мадам д'Эпине, а также и мадам д'Удето: «Наконец я свободен». В письме к последней он добавил длинейшее и раздраженное поучение о дружбе и ее обязанностях.

Осажденный со всех сторон, Руссо и сам становился невыносимым. Софи обвиняла его в «беспокойствах и оскорбительных упреках», но уверяла в своей привязанности к нему. Всё тщетно. Он цеплялся за Софи, понимая, что она удаляется от него, как и все прочие. С горечью предлагал он порвать отныне всякие связи с «госпожой графиней». Она согласилась «без грусти и обиды», но затем, почувствовав некоторые угрызения совести, пошла на попятный, приведя несколько сомнительных доводов. Так, ее муж, который недолго любит философов, должен вскоре вернуться, и потому она не сможет более получать письма от самого Жан-Жака, но она обещает получать о нем сведения каждые 15 дней. Вот такая расчисленная по датам дружба! Он, со своей стороны, благодарил, гневался, извинялся, обещал быть благоразумным — и начинал всё сначала.

От Дидро пока не было никаких известий. В то время энциклопедисты терпели яростные нападки от своих противников. После покушения на Людовика XV в Дамьене 5 января 1757 года был издан эдикт, грозивший смертью авторам сочинений, «подрывающих устои», и партия святош жаждала крови философов. Д'Аламбер самоустранился или по крайней мере собирался это сделать; Дюкло и Мармонтель отказывались от сотрудничества. Вольтер уговаривал Дидро «покинуть корабль», поскольку кораблекрушение было неизбежно, но тот держался стойко. Палиссо уничтожил своего «Внебрачного сына» из «Маленьких писем о великих

философах»} Фрерон обвинил его в плагиате; были пущены в ход две «Заметки о Какуаках» — так называемых «злых» литераторах, которых обвиняли в извращении морали и покушении на безопасность государства^[27]. Руссо написал своему другу, убеждая его отказаться от опуса, но Дидро, заваленный работой, не ответил.

Когда Делейр объяснил Жан-Жаку, что Дидро просто не знает, куда деваться, он сделал последнюю попытку связаться с ним, написав ему 2 марта 1758 года. Но разве тот сам в свое время не прислушивался к клевете и не считал Руссо «злым»? Как всегда, Руссо говорил только о себе. Дидро опять промолчал.

Отъезд Руссо из Эрмитажа наделал шума. Софи действительно писала ему каждые 15 дней, как обещала, но только то, что «нужно было» писать: что она хранит дружеские чувства к нему и надеется, что он чувствует себя хорошо. Сен-Ламбер к тому времени уже вернулся, и ей не терпелось отмежеваться от человека, который едва не разрушил ее жизнь. 23 марта, получив от нее после долгого молчания несколько поспешных и банальных строчек, Руссо ответил грустным ворчанием: «Я очень рад, что Вы еще помните обо мне...» На следующий день она пожаловалась в письме, что он никогда не бывает доволен, но она всё же остается его другом. 25 марта в последний раз он попытался поспорить с ней, даже выдвинуть какой-то ультиматум. Напрасные усилия: она его уже не слышала, думая только о том, как бы избежать скандала. В тот же день Жан-Жак признался Якобу Верну: «Я испытываю голод только по другу».

Руссо был удручен болезнью и думал, что конец его близок. 8 марта 1758 года он составил завещание, которым отписывал в собственность Терезе, своей «служанке», всю мебель и оставлял 1950 ливров в счет ее жалованья за 13 лет службы.

6 мая Жан-Жаку был нанесен сокрушительный удар. «Добрые люди» сообщили ему, что Сен-Ламбер «всё уже знает». Маркиз не обвинял Софи в неверности, но сама она сказала Жан-Жаку, что всякое общение придется прекратить. Великодушный Сен-Ламбер дважды навестил Жан-Жака, но во второй раз, застав Терезу одну, упомянул ей о деталях всей этой истории. Детали же эти мог знать лишь один человек — тот самый, с которым в свое время поделился ими сам Жан-Жак. «И ты, Дидро?!» — мог воскликнуть Жан-Жак. Друг его подло предал.

В июне Руссо добавил несколько горьких строк о нем в предисловие к «Письму д'Аламберу», которое находилось тогда в наборе. Книга, которая будет издана, говорил он, — посредственна: «У меня был Аристарх, строгий и разумный, и теперь у меня его нет, да я и не хочу его; но я буду

бесконечно сожалеть о нем, и его будет не хватать моему сердцу гораздо более, чем моим писаниям». С разбитым сердцем, но без колебаний он привел здесь латинское изречение, взятое из Екклесиаста: «Если ты направил шпагу против своего друга — не отчаивайся, потому что еще можно вложить ее обратно в ножны. Если ты огорчил его своими словами — не печалься, потому что примирение между вами еще возможно. Но за оскорбление, несправедливый упрек, раскрытие секрета и рану, нанесенную предательством, друг уйдет от тебя навсегда». Далее, в самом «Письме», он добавлял: «Я не верю... что можно быть добродетельным без веры; я долгое время придерживался этого ошибочного мнения и за это сильно поплатился».

Дидро дрогнул под этим ударом. Сейчас, когда он пытается бороться с огромными трудностями, когда «Энциклопедия» шатается под натиском церковников, — тот человек, которого весь Париж знал как лучшего его друга, называет его предателем, безбожником! Возмущенный Дидро бросился к своим «Табличкам» — дневнику и расписал там «семь мерзостей гражданина Руссо». Это неблагодарный, это лицемер, кравший у него идеи! Дидро не отрицал, что допустил «нескромность», но оправдывал ее двуличностью самого Руссо, который поклялся ему, что сам поговорит с Сен-Ламбером, и не сделал этого.

Дидро не был человеком коварным. Но в данном случае, бесспорно, ему лучше было бы придерживаться язык. Дрожа от гнева, он пустился во все тяжкие, бросая своему старому другу самые ужасные обвинения: «Этот человек лжив и тщеславен, как сатана, неблагодарен, жесток, лицемерен и зол; все его отступления — из католицизма в протестантизм и из протестантизма в католицизм, без всякой веры, — слишком явно доказывают это... На самом деле этот человек — чудовище».

Так умерла их дружба.

Остался далеко в прошлом тот день, 9 апреля 1756 года, когда Руссо, прибыв в Эрмитаж, решил, что навсегда обрел покой и счастье. И вот безумная страсть к Софи разрушила его самого, а пятнадцатилетняя дружба потерпела крушение. Он опять одинок, снедаем нечистой совестью, он подозревает всех в заговоре против него и отчаянно цепляется за свою «добродетель», которую противопоставляет злобному миру.

Его «Письмо д'Аламберу», опубликованное в октябре 1758 года, опять было целиком посвящено добродетели — как всегда у него. Дело было так. Едва устроившись в Мон-Луи, в конце декабря 1757 года, он получил седьмой том «Энциклопедии». В него была включена большая статья «Женева» за подписью д'Аламбера, и Руссо сразу решил, что статья была

«согласована» с «верхними женеvцами». Подавленный и больной, он понял, что единственное его спасение — в работе. Он принялся за дело, сидя в павильоне посреди сада: «Именно в этом месте, тогда мерзлом, не защищенном от ветра и снега, я, согреваемый только огнем своего сердца, написал за три недели свое *«Письмо д'Аламберу о зрелищах»*. Это *«Письмо»*, как он признавался потом Делейру, «спасло мне жизнь».

Чтобы написать для *«Энциклопедии»* статью о Женеве, д'Аламбер приехал в августе 1756 года собирать материал на месте и поселился у Вольтера. Он думал тогда, что Женева — это «страна настоящих философов»: здесь, правда, еще осталось несколько кальвинистов, но «все порядочные люди являются деистами, верящими в Христа». Обольщаясь насчет рационалистического христианства некоторых богословов, он предпочитал видеть в женеvских пасторах скромных апостолов «естественной религии».

Дискуссия же о театре началась не вчера. Церковь всегда была враждебна театру: ведь он возбуждает страсти и не исправляет пороки, а значит, недостоин христианина. Идеалы эпохи Просвещения, наоборот, осуждали подобный аскетизм и полагали театр сподвижником цивилизации в борьбе против религиозных предрассудков и фанатизма. Вот поэтому Вольтер и рассчитывал использовать театр, чтобы Женева «перестала заниматься глупостями»: здешняя аристократия, более податливая влиянию Франции, уже сама противилась устаревшим кальвинистским запретам. В самой Франции положение театра было иным: здесь проблема имела характер религиозный и нравственный. В Женеве же она приобрела политическое звучание: народная, традиционалистская партия, противостояла на этот счет «патрициям».

Д'Аламбер восхвалял этот город — цветущий, разумно управляемый, пользовавшийся превосходным гражданским и уголовным кодексом, гордившийся своим университетом, библиотекой и прогрессивной промышленностью. Но он удивлялся отсутствию в нем театра, который мог бы смягчить нравы и позволил бы Женеве соединить «мудрость Лакедемонии с изяществом Афин». Конечно, комедианты не блистают добрыми нравами, но их легко можно было бы держать в узде, хорошими законами. После этого автор перешел к обсуждению кальвинизма. Он приветствовал назидательную роль пасторов, но уточнял: «Многие из них не верят ни в божественность Христа, ни в загробную участь». То есть это законченные «соццинисты»^[28], которые отвергают Божественные тайны ради чистого разума и полагают, что понятие Откровения не столько действительно, сколько полезно. Для думающих людей главное — в

почитании Иисуса Христа и Священного Писания (и это отличает христианство от чистого деизма). Руссо ни на мгновение не усомнился, что эта статья была вдохновлена Вольтером. Пасторы же, конечно, возмутились.

Отвечая д'Аламберу, Руссо преследовал двойную цель — моральную и политическую. Отрицая театр с моральной точки зрения, он продолжил линию своего «*Рассуждения о науках и искусствах*». С политической же точки зрения он решительно принимал сторону народной партии. Его «*Письмо*» было задумано как средство оздоровления общества. У него не было никакого намерения ввязываться в богословские споры, поэтому с религиозными вопросами он разделался очень быстро. Пасторы, конечно, «и философы, и толерантные люди», но они не еретики. Что до него самого, то он заявлял, что удовлетворится любой религией, если она разумная и мирная.

Вопрос же об открытии театра в Женеве он, наоборот, находил очень важным. Говорят: «Удовольствия необходимы». Да, но в обществе что-то неблагополучно, если порядочному человеку недостаточно тех удовольствий, которые доставляют ему работа, семья, сознание выполненного долга. Говорят еще: «Спектакли могут быть полезными». Но на них идут не для того, чтобы извлечь из них урок морали! Если утверждают, что театр может представить добродетель привлекательной, а порок отвратительным, то он избавляет нас от обязанности быть добродетельными в действительности. Трагедия ничему не учит. Могут возразить, что в ней преступление всегда оказывается наказанным, но на сцене самые страшные злодеи как раз и делают самые большие сборы: полюбуйте на Атрея, Магомета, Катилину, Федру, Эдипа или Медею. По счастью, трагедия представляет образы настолько нереальные, что «пример их пороков не более заразителен, нежели пример их добродетелей полезен». Гораздо вреднее комедия. «Всё в ней дурно и губительно», потому что она клеймит не то, что порочно, а то, что смешно. Посмотрите хотя бы на блистательного «Мизантропа» Мольера — это бесспорный шедевр. И кто же там смешон? Альцест, «добропорядочный человек, который ненавидит нравы своего века и осуждает злобность своих современников». А кто симпатичен? Филинт, «один из тех пристойных людей света, чьи убеждения весьма близки к идеалам мошенников». Это человек терпимый, один из тех, кто наблюдает, как в мире «воруют, грабят, режут, убивают, и при этом не возмущается, поскольку Бог наградил его почтенной способностью легко переносить несчастья своего ближнего».

В образе Альцеста ожесточившийся Руссо видел себя самого в том

положении, в котором он оказался: пусть лживая женщина его предаёт (мадам д'Эпине), пусть недостойные друзья его бесчестят (Гримм, Дидро), пусть слабодушные друзья (Сен-Ламбер, мадам д'Удето) покидают его — «он должен переносить страдания без ропота». Это самого себя он видел на сцене, это ему разрывал душу смех зрителей. Поэтому «театр, который не может исправлять нравы, может только их исказить».

И ещё театр прививает вкус к праздности. Пусть бы ещё речь шла только о большом городе, полном пороков. Но стоит подумать, например, о монтаньонах, живущих в окрестностях Нешателя, — людях простых, трудолюбивых, исповедующих традиционные добродетели. Дайте им театр — и он потребует расходов, нужно будет увеличить налоги, чтобы содержать его, хвастаться им перед соседями — и прощай добродетель. «Когда люди развращены, зрелища для них хороши, и они плохи, если люди хороши сами по себе». Комедианты ничего не решают, и законы их не изменяют, потому что сами нравы устанавливают законы, а не наоборот. Комедиантки бесстыжи, живут в беспорядочных связях и отрекаются от традиционных женских обязанностей. Комедиант-мужчина переодевается, играет других людей — он ложь во плоти, душа-хамелеон. Тот, кто посвятил себя изображению других, сам по себе — никто, и, главное, он не является самим собой. «Оправдывать в комедианте порок — это значит оправдывать в человеке его болезнь».

Пока Руссо ещё ничего не сказал о самой Женеве. Да, город процветает, но потому, что ничего не тратит на излишества, и этим он обязан строгости своих законов против роскоши. Как может он при этом содержать театр? Впрочем, в городе существуют свои развлечения, простые и немудреные. Мужчины в своих кружках беседуют, читают, курят, а женщины собираются своими кружками — и это соответствует естественному порядку вещей. Можно возразить, что иногда там играют, там даже могут выпить лишнего. Так ли это страшно, если эти пьющие — люди честные и сердечные? (Он не знал, что эти кружки, состоявшие из людей низшего сословия, бывали зачастую очагами политических брожений. Всё, чем театр мог навредить Женеве, — это лишь ускорить уже наметившийся упадок, как это бывает везде.) Значит ли это, что в республике вообще не должно быть никаких зрелищ? Нет, они могут быть: например, публичные праздники под открытым небом, которые укрепляют общий союз умов и сердец, здоровое всеобщее веселье, игры на ловкость, призы за стрельбу и гимнастику, состязания лодочников на озере, а зимой — балы, где молодые люди знакомятся друг с другом под наблюдением своих родителей.

В ответ на «*Письмо о зрелищах*» в очередной раз раздался общий вопль негодования против этого человека-парадокса. Д'Аламбер ответил в мае 1759 года «*Письмом г-на д'Аламбера г-ну Ж.-Ж. Руссо*». Он утверждал, что если театр старается развлечь, то это не мешает ему быть социально и морально полезным. То же самое говорили Мармонтель, Гримм, Делейр и даже известный критик Фрерон, не слишком благосклонный к философам. Особенно разгневался Вольтер — на «красных ослов, высказывающихся против искусства Софокла», в данном случае — против самого Вольтера: ведь Руссо противостоял его политике философской пропаганды посредством театра. Можно понять ярость знаменитого философа, когда он увидел откровенную радость в рядах религиозной партии: те были в восторге от того, что нашли в лице Руссо такого неожиданного союзника.

В Женеве отклики на «*Письмо*» Руссо разнились соответственно социальному расслоению. Браво, говорили сторонники традиций. Непредсказуемый Мульту ярко подчеркивал политический резонанс этого произведения: «Ваша книга здесь — это сигнал к объединению всех добропорядочных граждан, а для людей злых — осуждение и ужас... Богатые, давно развратившись, начали развращать и бедных, опошляя их. Добродетели сохраняются еще только в среднем классе, потому что только там могут существовать республиканские ценности». Антуан-Жак Рустан, студент-богослов, который еще год назад объявил себя духовным сыном Руссо, думал так же. Но «верхние люди» Женевы делали кислые мины, а Троншен даже попытался открыть глаза Жан-Жаку: «Эта ваша родина, мой добрый друг, не то, что вы себе воображаете... То, что годилось для древнегреческих республик, не годится для нашей. Женева похожа на Спарту не более, чем гантели атлета — на белые перчатки оперной барышни».

В общем, если не считать женевской народной партии, «*Письмо*» Руссо натравило на него весь мир. Вольтер так более и не изменил свое отношение к нему; женевские патриции обдавали его холодом; энциклопедисты считали его «ложным братом», который публично назвал Дидро мерзавцем и нечестивцем и теперь устраняется от их общей борьбы. Жан-Жак оказался по-настоящему одинок.

Его строгий характер стал еще резче, беспокойство и подозрительность усилились. Всё реже и реже будет он получать от Софи ничего не значащие записки, пока в их переписке не наступит окончательная тишина — это произойдет в декабре 1760 года. Никогда более он с ней не увидится. Она же будет счастлива от того, что избежала неприятностей, и мирно состарится рядом с Сен-Ламбером. В 1789 году,

когда выйдет в свет вторая часть «*Исповеди*» Руссо, Софи станет предметом всеобщего любопытства, а в 1807-м она, как и все, совершит паломничество в Эрменонвиль, где Жан-Жак отдыхал когда-то, сидя под тополями, — и прольет несколько слезинок в память о прошлом. Та, которая сумела на одно лишь лето превратить «гражданина Женевы» в «экстравагантного пастушка», умерла 28 января 1813 года.

ОТ «ЮЛИИ» К «ЭМИЛЮ»

Для Жан-Жака наступило тяжелое время. Все рушилось вокруг него. Освободившись от своих «друзей-покровителей», от «ига тиранов», он решил, что ни на что более не променяет свою независимость. Гримм повсюду повторял, что Руссо обречен теперь жить как одинокий волк, и Жан-Жак решил доказать обратное. Он возобновил свои прежние знакомства с Дюпенами и мадам де Шенонсо, Даниэлем Рогеном, Делейром, Ленъепом и даже Дюкло — единственным из литераторов, оставшимся в его кругу. Он также общался с аббатами Кондильяком и Мабли, музыкантом Буажлу, художником Батле, бывшим мушкетером Анселе, который был его телохранителем во времена его *«Письма о французской музыке»*. Его встречали и в обществе ораторьянца^[29] Бертье, грешившего излишним любопытством; или с «кумушками» — двумя скучнейшими янсенистами, которые вознаграждали иногда его терпение партией в шахматы; или с молодым адвокатом Луазо де Молеоном. Из новых знакомств — Франсуа Куэнде, сын торговца скобяным товаром из Женевы и служащий парижского банка: он потеснил Делейра в роли мальчика на побегушках. Симпатичный парень, как снисходительно признавал Руссо (однако не вполне ему доверяя), но «невежественный, доверчивый, самонадеянный и большой любитель поест».

Постепенно к Жан-Жаку возвращался интерес к работе, он заканчивал свою *«Новую Элоизу»*. Роман уже долгое время жил в нем, и теперь он начал переговоры с издателем Рэем. Это, однако, смущало «романиста поневоле». Такому безжалостному критику литературы и искусства, автору *«Письма д'Аламберу»* — и вдруг печатать собственный роман? Не говоря уж о том, что события в Эрмитаже наделали шума, и в его романе могли усмотреть, пусть и безосновательно, некоторые интимные признания. 28 января 1758 года Руссо убедил себя: «Я переменяю мнение и более не думаю о том, чтобы печатать роман».

И все же Жан-Жак не мог решиться уничтожить произведение, в которое вложил столько страсти.

Он вообразил тогда, что может сделать из него нечто для одной только Софи: «Мое намерение — закончить это произведение и закончить только для Вас одной; если четыре оконченные части и увидят когда-нибудь свет, то пятая, предназначенная для Вас, не увидит его никогда». Однако вскоре к пяти частям добавилась шестая — для ровного счета; романтическая

интрига получила продолжение, добавились новые эпизоды. Переделки и исправления занимали Руссо вплоть до марта 1759 года — тогда он объявил Рэю, что роман готов.

Роман получился длинный — «пухлый», как говорил Дидро; возможно, самый роскошный в том веке, но построенный на простом сюжете. Юлия д'Этанж влюбилась в своего гувернера Сен-Пре, бедного простолюдина, и стала его любовницей. Ее отец не признает мезальянсов, и потому она должна выйти замуж за господина де Вольмара, который на 30 лет ее старше. В отчаянии Сен-Пре находит утешение у Клэр, кузины Юлии, и обретает покровителя в лице милорда Эдуарда Бомстона, который убеждает его, чтобы отвлечься, сопровождать адмирала Аксона в его морской экспедиции. Через четыре года Сен-Пре вернулся и, к своему удивлению, был приглашен четой Вольмар в их владение Кларанс на берегу Женевского озера: там он с восхищением обнаружил прекрасно управляемое имение, гармоничную супружескую пару, идеальную семью. Значит, любовь умерла? Юлия тогда совершила ошибку, а затем стала примерной женой и матерью... Но вот она умирает и признается в чувстве, которое не смогли уничтожить ни годы, ни ее собственные усилия — умирает, возможно, чтобы не подвернуть опасности благополучие Кларанса...

Жан-Жак очень гордился этой простотой, особенно когда сравнивал свой роман с романами англичанина Ричардсона «Памела» и «Кларисса Гарлоу», Эти романы, переведенные аббатом Прево, считались в то время самыми успешными. Руссо объяснял: Ричардсон поддерживает интерес читателя разнообразием картин, обилием персонажей, множественностью событий. Он же избрал совсем простой сюжет, малое число действующих лиц, сюжетную линию, в которой ничего не происходит, но главное в нем — «отсутствие какого бы то ни было зла, как в персонажах, так и в действии». Это был «долгий романс», немного старомодный, не предназначенный для изощренных умов.

Конечно, даже преследуя своим романом моральную цель, Руссо понимал (и признал это в «Исповеди»), что отступает от собственных принципов. Ему понадобилось не менее двух предисловий, чтобы оправдаться, и он делает это, как всегда, — атакуя: «Большим городам нужны зрелища, и развращенным народам — романы. Я наблюдал нравы своего времени и потому опубликовал эти письма. Почему не жил я в том веке, когда мог бы бросить их в огонь!»

Руссо предупреждает, что его роман не предназначен для молодых девушек, так как «целомудренная девушка никогда не читает романов». Та,

которая в него заглянет, — погибнет! Но чтобы за это к нему не придрались, он указывает, что «зло было сделано до него». Он уточнял также, что зрелые умы найдут тут нечто большее, чем историю любви, так как он предполагал поднять жанр романа на новую, достойную высоту: «Чтобы то, что ты хочешь сказать, было полезно, надо сначала заставить слушать себя тех, для кого это предназначено. Я поменял средство воздействия, но не его предмет». Он доказывает, что остается тем же моралистом.

Руссо выбрал эпистолярную форму, потому что письмо с его вездесущим «я» создает впечатление подлинности, позволяет изменять тональность и подать одно и то же событие с разных точек зрения. Что до персонажей, то он словно вылепил их из своей собственной плоти. Сен-Пре — такой любовник, каким он хотел бы быть сам: искренний и страстный, весь — чувство, порыв, жертвенность. «Какая это была душа, — шептала Юлия, — как он умел любить!» Сама Юлия трогательно красива и лишена жеманства; она ласкова и нежна, но в то же время она настоящая возлюбленная, способная на страсть и отвагу, чистая, несмотря на свой грех; ее религиозность пламенна и проста. То есть они — идеальные любовники? Да, в обычном любовном романе они выглядели бы достаточно банально. У Руссо же необычная роль отводится образу мужа. Господин Вольмар не имеет в себе ничего антипатичного, его внушительная фигура заключает в себе нечто от Отца или Законодателя — спокойного и справедливого наблюдателя; Вольмар с его рациональным «беспристрастным взглядом» и тонко чувствующая Юлия образуют равновесие контрастов. «Я оказался, — говорит Сен-Пре, — между живым разумом и чувствительной добродетелью».

Господин Вольмар, человек достойный во всех отношениях, представлен тем не менее атеистом. Это удивительно, так как атеист, по мнению Жанг Жака, даже добродетельный, подобен калеке в этом мире, где всё говорит о Боге, а он слышит лишь «вечную тишину» и сам является живым доказательством несовершенства человеческого разума. Дело здесь в том, что Руссо решил создать образ «общего мира и согласия». В его эпоху — а это было время разгула ненависти и идейной нетерпимости — он хотел «показать каждой из партий достоинства и добродетели другой». Пастору Верну он сказал, что хочет «убедить философов, что можно верить в Бога и не быть при этом лицемером, а верующих — в том, что можно быть неверующим, но при этом не быть злодеем». И еще: дела человека имеют большее значение, чем голая вера, поэтому Вольмар гораздо ближе к вере, чем он сам думает, — можно было догадаться, что «назидательная»

смерть Юлии будет способствовать его обращению.

Второстепенные персонажи в романе не являются обычными статистами и не похожи на «наперсников» из театральной трагедии. Так, Клэр, очаровательная, веселая, шутливая, но и рассудительная, — это само воплощение дружбы. Милорд Эдуард — гордый, но справедливый и великодушный; это философ, имеющий опыт жизни и страстей. Возможно, все персонажи романа покажутся слишком идеальными («такой, как Юлия, в мире больше не будет»). Этим они действительно могут отчасти раздражать, хотя Руссо позаботился о том, чтобы поместить действие своего романа в соответствующую историческую обстановку.

И всё же это, несомненно, любовный роман, в котором два человека,» созданные, чтобы любить друг друга, разделены социальными условностями и предрассудками. Это роман о любви неудержимой и фатальной, который задуман как единство чувства и чувствительности: в нем все чувства пронизаны чувственностью. Герои живут ею, но эта тонкость чувств является и их мукой: «О Юлия, какой это тяжкий дар неба — чувствительная душа!»

Первые три части романа наполнены живым трепетом чувств, и они всегда будут очаровывать романтиков. Здесь настоящая страсть, но ведь Руссо ставил перед собой задачу рассмотреть «вопрос нравственности и супружеской верности», поэтому тональность романа существенно меняется, начиная с XVIII письма третьей части. Это момент наивысшего напряжения: поскольку отец требует, чтобы Юлия вышла замуж за Вольмара, она соглашается скрепя сердце, но приняла решение остаться любовницей Сен-Пре. Подобное вовсе не было удивительным в XVIII веке: как быть, если браки заключаются только по расчету? Итак, молодая женщина входит в храм с клятвопреступлением на сердце, но тут вдруг «неведомая сила внесла успокоение в сумятицу ее чувств и подчинила их закону долга и естества». Что это — произошло чудо? Нет, но в этом священном месте Юлия ощутила в самой себе призыв к верности и поняла, что настоящая любовь немыслима без добродетели. Под «вечным всевидящим оком» ее сознание обрело определенность и отбросило так называемое право на адюльтер — «пустой софизм разума, опирающегося только на самого себя». Она не перестанет любить Сен-Пре, но он останется только «возлюбленным ее души». Любовь не ушла, она только изменила свою природу — так сам Жан-Жак после летнего кризиса 1757 года старался в «*Моральных письмах*» сублимировать свою страсть, преобразовав ее в духовную дружбу-любовь. Весь роман получил другое направление: описание разрушительной страсти сменилось неожиданной

апологией брака, картинами покоя и отдыха.

Этот поворот нашел подтверждение в четвертом томе посредством «метода г-на Вольмара», который представлял собой воплощение в жизнь принципов «*Чувственной морали*», начатой Руссо еще во время пребывания в Эрмитаже. Время неизбежно меняет человека и его чувства. Юлия и Сен-Пре осознают, что они уже стали другими. «Отнимите у человека память — и у него уже не будет любви». Так Руссо создал первый великий роман о силе времени. Кажущийся успех этой «временной терапии» позволил ему создать мифологию двух последних частей — описание «рая» в Кларансе, этом «заповеднике прекрасных душ».

В предыдущих частях Руссо, желая сделать назидательность романа более привлекательной для читателя, использовал в повествовании разные сюжетные и психологические приемы: дуэль, самоубийство, силу дружбы, материнскую любовь, отцовскую жалость, педагогику, экономику, критику театра и французской оперы, обличение общественной фальши. Теперь к ним прибавилось детальное описание поместья Кларанс в виде маленькой сельскохозяйственной коммуны, обособленной и счастливой, в которой почти не используются деньги. Четкое «вольмаровское» управление смягчается благотворительностью Юлии — и получился блаженный остров посреди океана общественной развращенности. Это была мечта о возрожденном человечестве, в котором эгоистический индивидуализм сменился добровольным самоотречением каждого ради общих интересов; впрочем, это идеальное общество было не столько обществом равных, сколько, патерналистским, — благоустроенный феодализм с разумной иерархией.

В общем, мог получиться обыкновенный нравоучительный роман. Но Руссо одним гениальным взмахом смёл эту условную концовку: когда мечта, казалось, вот-вот осуществится — Юлия умирает. Неизменное счастье невозможно человеку, если только он не вместе с Богом, — тогда он не зависит от обстоятельств и случайностей. Предсмертное письмо Юлии свидетельствует о крахе «поведенческой терапии» Вольмара: «Вы думали, что я исцелилась, и я тоже так думала...» Любовь торжествует, но только в ином мире — где нет пороков и греха. Таким образом, произведение в целом не противоречило само себе, но при этом становилось гораздо шире, и «христианский венец» романа несколько не выглядел искусственным: для той, которая отказалась от земной страсти и которой идеальный уклад жизни в Кларансе не принес утешения, остается только вечная жизнь: в ней-то наконец можно любить, не совершая при этом преступления...

Между тем сам Жан-Жак делался чрезмерно восприимчив и

раздражителен. В начале 1759 года он затеял скандальную ссору с Оперой, которая решила ставить его «*Деревенского колдуна*», но при этом ему самому отказала в праве посещения. Между ним и всеми прочими компромисс становился невозможен...

Он был доволен тем, что, теперь, живя вдали от салонов, где приходится поддерживать дамские разговоры, он может говорить всё, что думает. Слава богу, урок пошел ему на пользу — по крайней мере он так полагал. Дело в том, что соседи у него оказались непростые. На Пасху и летом в замке Монморанси собирался блестящий круг маршала герцога Люксембургского. Еще в 1758 году он через своего лакея передавал философу комплименты и приглашал его отужинать, но Руссо из осторожности не принял этого приглашения. Несколько месяцев спустя последовало новое приглашение от графини де Буффле — и снова отказ отшельника. Однако Руссо явно получал доступ в самые высокие сферы: Шарль де Монморанси де Люксембург, маршал Франции, считался близким другом самого короля. Что же до Марии-Шарлотты де Кампе де Сожон, графини де Буффле, то она с 1751 года была любовницей принца де Конти. Правда, на Пасху 1759 года секретарю принца, шевалье де Лоренси, удалось завоевать симпатию Руссо, но самолюбивый философ продолжал держаться стойко, упорно отказываясь посетить замок.

Ну что ж, если гора не идет к Магомету... В один апрельский полдень Жан-Жак с удивлением увидел, что к нему пожаловал сам принц в сопровождении пяти или шести персон. Суровый республиканец оставался в душе простолюдином и потому почувствовал себя необычайно польщенным, хотя и смутился, что вынужден принимать высоких персон посреди «грязных тарелок и битых горшков». Не говоря уж о том, что его прогневший пол грозил рухнуть под этой чудной компанией.

После этого ему ничего не оставалось, как отправиться засвидетельствовать свое почтение мадам маршальше, хотя он был от этого далеко не в восторге. Не только потому, что опасался своей обычной неуклюжести, но и потому, что это была особенная дама. Мадлене Анжелике де Невиль де Вильруа исполнилось уже 52 года; в первом браке она была замужем за герцогом де Буффле, но вскоре овдовела; затем ее молодость проходила в галантных утехах, после чего она отказалась от придворной жизни и вышла замуж за герцога Люксембургского, который тоже был вдовцом. Она слыла злой и чрезмерно остроумной. Руссо же с удивлением увидел женщину приветливую и любезную, с простыми манерами.

Между ними сразу же установилась полная гармония. Особенно с

самим маршалом, приветливым и отечески настроенным, который вовсе не стремился изображать из себя покровителя или интересоваться состоянием кошелька философа. Жан-Жак с трудом мог в это поверить и в очередной раз оказался в противоречии с собственными принципами. 30 апреля он отправил маршалу в меру торжественное послание, в котором говорил о рангах, уважении, достоинстве, бедности. Руссо выпутывался из неловкого положения как мог: «Я опасаясь не соответствовать Вам или себе — оказаться слишком фамильярным или слишком угодливым».

Герцог сразу предложил ему свою дружбу. Лачуга, в которой жил Руссо, была совсем ветхой, и он временно устроился у какого-то крестьянина, но его новые друзья забеспокоились о его хрупком здоровье. Почему бы ему не поселиться в небольшом доме, называемом Малый замок и расположенном в хорошем месте? Руссо перебрался туда 6 мая.

Он умолял маршала: «Соблаговолите не считать себя моим хозяином». При таком условии они могли стать настоящими друзьями, без обидного покровительства. Руссо взял на себя серьезное обязательство: «Я отдаю себе отчет в том, что мое пребывание здесь, которое ничего не означает для Вас, для меня имеет серьезные последствия. Я знаю, что достаточно мне провести здесь одну только ночь — и всё общество, а, возможно, и потомство спросят у меня* за нее отчет». Он оправдывается за этот шаг на протяжении всей десятой книги своей *«Исповеди»*. Но таков уж он есть: отдается всей душой или не отдается совсем. Его поступок, конечно, опять возбудил пересуды. Что ж, тем хуже. Зато здесь Руссо написал пятую книгу *«Эмиля»*, и свежестью своего колорита она обязана красоте этого места.

С приходом лета перед замком появлялось всё больше карет; теперь Жан-Жак, ни в чем не знающий меры, проводил здесь целые дни. Чтобы заполнить паузы в разговорах с маршальшей (перед которой он все-таки робел), он вздумал читать ей свою *«Юлию»*. Успех был полным: она растрогалась, целовала его по десять раз на день и хотела, чтобы рядом с ней за обеденным столом сидел только он. Столько добросердечия в сеньоре столь высокого ранга его потрясло. Когда его жилище было приведено в порядок, он вернулся в Мон-Луи, где принимал посетителей, и ему нравилось перечислять принцев, герцогов, герцогинь и графинь, толпившихся вокруг бывшего лакея мадам де Верселли. Но такой триумф, объяснял он простодушно, не сделал его тщеславным. В полдень он обедал в замке с их светлостями, а вечером ужинал с каменщиком Пилье и его семьей, с которыми подружилась Тереза.

Противник неравенства в восхищении открывал для себя, что «неравенство не обязательно должно быть несовместимо с дружбой».

Однако рядом с герцогиней ему случалось проявлять беспокойство: «Вы играете, а я привязываюсь... Замок Люксембург! Разве здесь должны видеть Жан-Жака?! Разве сюда поборник равенства должен нести привязанность своей чувствительной души?!» Но герцогиня так мило успокаивала его на этот счет...

Поневоле он вынужден был принять и ухаживания маркизы де Верделен, жившей по соседству. Она прибыла с совершенно определенным намерением приветствовать его: прислала ему горшки с цветами для террасы, и он мало-помалу привязался к ней.

Постепенно Руссо становился легендарной фигурой. Художник-гравер Жан Оуэль набросал его портрет в семейной обстановке, в домашнем халате и ночном колпаке, сидящим у очага с кошкой Минеттой на коленях и собакой Дюком у ног. Скорее крестьянин, чем философ. Или же угрюмый Диоген — таким его увидел молодой женевец, застав его присматривающим за кипящим горшком. Когда с ним заговаривали о дружбе, он ворчал в ответ, указывая на свою собаку: «Вот мой лучший друг; я искал друзей среди людей и едва ли нашел их. Два человека, которых я люблю больше всего, — это г-н Люксембург и мой каменщик, я часто это говорю. Я знаю, кого из них я должен уважать больше, но не знаю, кого должен больше любить».

Иногда Париж напоминал ему о себе. 8 марта 1759 года власти отменили привилегии для «*Энциклопедии*», и Палиссо воспользовался этим, чтобы опять пойти на приступ — своей пьесой «*Современные философы*», она была с успехом представлена в мае 1760 года, и в ней философы были выведены подхалимами и шарлатанами. Дортидиус — то есть Дидро — был изображен худшим из всех, но был еще и лакей Криспен, которого играл актер Превилы он выходил на сцену на четвереньках, жуя салат, — это был пародийный намек на идеи, высказанные во втором «*Рассуждении*» Руссо. В ответ тут же полился целый поток брошюр и памфлетов за и против Палиссо: он все-таки зашел слишком далеко. Принцесса де Робек, дочь маршала Люксембурга и покровительница Палиссо, отправилась в театр, хотя была серьезно больна, но ушла из него измученная после первого акта. В тот вечер аббат Морелле сочинил в псевдобиблейском стиле «*Видение Шарля Полиса*», где имел жестокость ввести скандальный эпизод с близкой смертью принцессы, якобы именно там понявшей всю серьезность своего состояния. Морелле оказался в Бастилии. Д'Аламбер попросил Руссо похлопотать перед мадам де Люксембург, что тот и сделал, и виновник был отпущен на свободу.

Время от времени до Руссо доходили вести и о Вольтере. В начале

декабря 1759 года Мульту известил его о прискорбном влиянии «патриарха» на женевские нравы: «Честно говоря, месье, этот человек причинил нам много зла». Руссо отписал ему в порыве гнева: «Вы говорите мне о Вольтере! Зачем Вы пачкаете именем этого шута строки Вашего письма? Этот несчастный погубил мою родину. Я мог бы ненавидеть его еще больше, если бы меньше его презирал... Не будем более впадать в иллюзии, месье, — я ошибался в моем «*Письме к д'Аламберу*». Я не считал наш прогресс таким уж великим, а наши нравы — такими уж чистыми. Отныне же наши беды неизлечимы». На этом бы всё и закончилось, если бы Руссо не узнал однажды, что его письмо Вольтеру о Божественном провидении было опубликовано 18 августа 1756 года в Берлине. Откуда там взяли этот текст? Он решил напечатать его сам и предоставить Вольтеру возможность, если он хочет, опубликовать свой ответ. Вполне разумное и честное намерение. Но неожиданно для себя Жан-Жак взорвался: «Я очень не люблю Вас, месье. Вы принесли мне несчастья — самые чувствительные, какие только могут быть, и это мне, Вашему ученику и поклоннику. Вы погубили Женеву — в благодарность за полученное там убежище; Вы оттолкнули от меня моих сограждан — в благодарность за восхваления, которые я возносил Вам вместе с ними. Именно Вы сделали мое пребывание в родной стране невыносимым для меня; из-за Вас я умру в чужой стране — лишенный обычного утешения, умирающих и брошенный, вместо почестей, на свалку, тогда как Вы, живой или мертвый, обретете все доступные человеку почести в моей стране. Я Вас ненавижу — в конце концов, Вы этого сами хотели. Но я ненавижу Вас как человек, который более достоин любить Вас, если бы Вы этого захотели. Из всех добрых чувств, которыми было пронизано к Вам мое сердце, остается только восхищение Вашим прекрасным гением и любовь к Вашим произведениям. Если я могу почитать в Вас только Ваши таланты — это не моя вина. Я никогда не лишу их своего уважения и того отношения, которого это уважение требует. Прощайте, месье».

Вольтер был не столько разъярен, сколько ошеломлен. Он спрашивал у д'Аламбера, не сошел ли с ума Жан-Жак. Отвечать ему он поостерегся. Но в ноябре, когда Консистория запретила ему представлять комедию в его собственном доме, он усмотрел в этом происки Руссо и с тех пор стал питать к нему ненависть.

После этого письма Жан-Жак продолжил принимать посетителей. Впрочем, «вереницы карет» не мешали ему серьезно трудиться над своим «*Эмилем*» — трактатом по педагогике. Эта идея пришла ему в голову еще в 1756 году в ответ на просьбы мадам де Шенонсо. В конце 1758 года Руссо

собрал свои разрозненные записи, намереваясь составить эссе в несколько страничек, но первоначальный проект постепенно разросся. Первый вариант создавался с мая по июль 1759 года в приятной обстановке Малого замка, но он еще не стал тем произведением, которое мы знаем. Окончательный вариант сложился к концу 1760 года, а затем еще несколько месяцев понадобилось, чтобы внести в него поправки.

«Самый дурно воспитанный человек в мире» (как характеризовал его Вольтер) и к тому же самоучка, Руссо выступил в качестве педагога. Конечно, он читал «Мысли о воспитании» Джона Локка, «Опыты» Монтеня и многое другое. Впоследствии не раз возникал вопрос: не был ли «Эмиль» написан им для того, чтобы как-то искупить отказ от собственных детей. «Я предсказываю любому, у кого есть душа и кому довелось пренебречь этими священными обязанностями, что потом он долго будет проливать горькие слезы над своей ошибкой и никогда не сможет утешиться». Возможно и то, что именно написание этой книги пробудило в нем угрызения совести. Но прежде всего «Эмиля» надо воспринимать как еще одно звено в развитии его философских идей. Руссо сам объяснил это Мальзербу, говоря о трактате и двух своих предшествующих «Рассуждениях»: «Эти три произведения неразделимы и образуют вместе единое целое». Что же их объединяет? Антропология, основанная на вере в природную доброту человека!

Развращенный культурой и отчуждающим его обществом, человек потерял свою изначальную цельность. Естественная доброта проявляется в ребенке — и как же сохранить ее, как способствовать расцвету этой человеческой природы, прежде чем отпустить индивида в мир? Как сделать из него «дикаря, пригодного для жизни в городах»? Вот первая строка трактата: «Всё выходит хорошим из рук Творца, но всё деградирует, попав в человеческие руки». Значит, следует воспитывать ребенка вдали от социальных условностей, воспитывать самого по себе — не в расчете на то заранее уготовленное ему место, которое он должен будет занять в этой жизни. «Умение жить — вот то ремесло, которому следует учить ребенка. Выйдя из моих рук... он будет прежде всего человеком».

Эмиль, его воображаемый ученик, наделен от природы вполне обычным умом и хорошим здоровьем. Его воспитатель безраздельно посвятит ему 25 лет жизни.

В первой книге говорится о том, как подобрать здоровую кормилицу, о необходимости растить ребенка в сельской местности, о пользе ванн, делаемых всё более прохладными для закаливания организма; автор советует не обращать внимания на плач, который чаще всего бывает лишь

капризом, — это поможет малышу сразу начать привыкать к неумолимому понятию необходимости — к «надо».

В следующей книге рассматривается переход к новому этапу жизни Эмиля, который продлится до двенадцати лет. Это беззаботный период игр, детских забав на свободе: «Люди, будьте человечны — это ваш главный долг... Любите детство, поощряйте его игры, удовольствия, добродушные инстинкты». Юное существо имеет право на счастье, но оно будет иметь его только при условии, если научится соотносить свои желания со своими способностями, ибо только в этом случае возможна свобода личности в соответствии с законами природы. «О человек! Сократи свое существование до пределов себя самого, и ты никогда не будешь несчастен». Пусть он научится уравнивать свои потребности, свои возможности и свою волю. Для этого достаточно дать ему возможность соизмерять свои силы с возникающими препятствиями, ставить его в зависимость, — но не от капризов другого человека, а от «окружающих предметов». Не рассуждайте с ним, как то советует Локк: развитие сознания — это не начало воспитания, а его результат. На данном этапе главное — «не в том, чтобы выиграть время, а в том, чтобы правильно его «потерять». В этом великий принцип «отрицательного» воспитания: не учить сразу тому, что правильно, а предупреждать от ошибок. Не надо опережать природу: никаких систематических уроков, а только физическая активность, развивающая тело и обостряющая чувства. Нужно использовать определенные ситуации для того, чтобы *пробудить* у воспитанника *желание* научиться читать и писать, чтобы дать ему понятие о геометрии или представление о его «среде обитания». Предупреждение традиционным гувернерам: «Вы даете знания — что ж, в добрый путь. Я же забочусь о средствах его приобретения самим учеником».

Третья книга предлагает постепенный переход от чувств к идеям, и соответственно меняется методика: пришло время двойного воспитания, интеллектуального и трудового. Способности ребенка теперь превышают его потребности, и этим «излишком» можно воспользоваться заменить критерий необходимости критерием полезности. Книжное образование пока еще не нужно. На прогулках, по воле «управляемого случая», Эмиль узнает о космографии, ориентировании, физике и географии, а его единственной книгой должен быть «Робинзон Крузо» — этот учебник выживания за счет собственных сил. Даже если ребенок родился в богатой семье, он должен обучиться ремеслу — например столяра. Это необходимо и для того, чтобы преодолеть социальные предрассудки, так как богатый сегодня может стать бедным завтра, и потому что «всякий праздный

гражданин — ничтожество».

В четвертой книге Эмилю уже 15 лет. «Надвигается революция в ропоте рождающихся страстей». Здесь речь идет не о том, чтобы противостоять им, а о том, чтобы придержать их до того времени, когда у ребенка появится достаточно сил, чтобы ими управлять. Воспитатель должен обратить его чувствительность на сопереживание несчастным и слабым; приводить ему нравоучительные примеры из истории, которые помогут юному человеку лучше узнать людей и их страсти, но без опасности заразиться ими. Мало-помалу он направляет воспитанника к выбору будущей спутницы жизни, открывая ему смысл добродетели, целомудрия, величия брака и зачатия детей. Эмиль теперь уже умеет отличать истинные ценности, потому что он был вовремя защищен от ложных. «Он не человек от человека, а человек от природы».

На удивление, Эмиль пока ничего не знает о Боге! Какой смысл рассказывать ребенку о «Непостижимой Сущности, которая объемлет всё»? Но вот нужное время пришло, и Руссо помещает здесь длинную вставку — *«Исповедание веры савойского викария»*, где художественно излагает свою собственную историю, приводя речь этого лишенного предрассудков викария: она составлена из воспоминаний об аббате Гэме, который преподавал ему мораль в Турине, и аббате Гатье, его наставнике в семинарии Анси.

Понятие о Боге должно прийти от разума: не надо навязывать веру — она должна прийти сама по себе, через определение понятий чувства и разума, от понятия о материи и движении — до осознания необходимости Высшей воли, внешней по отношению к человеку, разумной и созидательной, которую викарий называет Богом, но описать точнее не может: «Я верю, что мир управляется разумной и могущественной Волей; я это вижу, а правильное сказать — чувствую». Все остальное — богословские тонкости. Зло существует, потому что человек свободен: «Человек! Не ищи виновника зла — это ты сам... Уберите сделанное человеком — и все будет хорошо». Мораль проистекает из вселенской справедливости, голосом которой является совесть, «внутренний принцип», предваряющий всякое рациональное знание; она никогда нас не обманет, если только наши страсти и разум, извращенный жизнью в обществе, не заглушат ее голос. И викарий бросает свою знаменитую фразу: «Совесть, совесть! Божественный инстинкт, бессмертный небесный голос, верный проводник человека, невежественного и ограниченного, но при этом наделенного разумом и свободой; непогрешимый судья добра и зла...»

Руссо окончательно отходит в своих воззрениях от прежних друзей.

Вопреки утилитарным представлениям материалистов он верит в нравственную природу человека; вопреки сенсуалистам он настаивает на дуализме «дух — материя»; вопреки рационалистам он убежден в несостоятельности одного лишь «голового» разума.

При этом Руссо не делал никаких уступок и церковникам: это стало очевидным, когда он произвел обзор традиционных религий. Ведь все культы — не что иное, как результаты так называемых «откровений», возникших в том или ином народе. Жан-Жак отвергал эти человеческие толкования, преподносимые как окончательная истина: «Сколько людей помещается между Богом и мною!» Кто может доказать достоверность чудес? Какое еще может быть «откровение» — кроме того, мгновенного и происходящего без всяких посредников, того, что совершается в каждом сознании, этого божественного озарения, не нуждающегося в посредничестве церкви? Конечно, Евангелие — это прекрасная книга, намного превосходящая все философские книги. Но в ней много «невероятных вещей», которые возмущают разум. Что же до божественности Христа... Иисус — это образец, идеал, если угодно — «божественный человек», но не Богочеловек христианской ортодоксии. Сегодня нам понятно, откуда это исходило: зачем, по Жан-Жаку, человеческому роду нужен такой «искупитель», если человек по своей природе и так хорош? Достаточно «естественной» религии. Что касается других религий, заявлял Руссо, то это просто разные исторические варианты объяснения сверхъестественной реальности: «...Я думаю, что все они хороши, если достойно служат Богу», — и правильнее всего придерживаться религии своих отцов, проявляя терпимость к другим религиям.

Но христианин ли он сам, если отрицает первородный грех человека, искупление, воплощение Богочеловека, вечную жизнь, догматы и чудеса? Руссо считал нужным сохранить от религии то, что могло выполнять ее роль, — сохранить ствол, обрезав ветви, и примирить таким образом церковников и неверующих.

Книга пятая была, наконец, посвящена женщине. Софи у Руссо — женский вариант Эмиля; ее тоже нужно воспитать в соответствии с природными законами, чтобы она могла занять достойное место в физической и нравственной сторонах жизни. Итак: «В том, что они имеют общего, — они равны. В том, чем они различаются, их сравнивать нельзя». От природы мужчина силен и активен — женщина же пассивна и слаба, ее предназначение в том, чтобы заботиться о детях. Ее интеллект устроен иначе: практичный, неприспособленный к абстрактным понятиям, к

мышлению в чистом виде. Полностью осуществиться она может лишь в подчиненном положении. «Образование женщин должно соотноситься с потребностями мужчин». У Софи крепкое здоровье, так как она тоже занималась физическими упражнениями на свежем воздухе, но ей рано привили вкус к шитью, рисованию, она умеет готовить пищу, экономно вести домашнее хозяйство. Ей привиты навыки послушания, так как ей придется испытать на себе социальное давление и считаться с мнением других людей. Таким образом, два пола не будут противоречить друг другу, а будут дополнять один другой — в соответствии с природным законом. Поскольку женский ум менее склонен к самостоятельности, то религиозное образование молодой девушки не требует осознанного приобщения к вере, как это было у Эмиля. Достаточно, чтобы она следовала религии своей матери, пока не присоединится к религии супруга: «Поскольку они не могут выносить суждения сами, они должны соглашаться с решением отцов и мужей, а также Церкви». Руссо постоянно рассуждает о природном законе, но при этом сам не был свободен ни от социальных условностей своего времени, ни от влияния женевских нравов.

Когда Софи исполнилось 15 лет, ее отец предоставил ей право выбора мужа. Между молодыми людьми, старательно подготовленными к браку воспитателем, возникает идиллия. Поженятся ли они? Несомненно, но сначала необходимо, чтобы Эмиль научился владеть своими чувствами и завершил свое образование. В течение двух лет он путешествует по Европе вместе со своим неутомимым воспитателем, приобретает знания о разных нравах и образах правления. Руссо вставляет сюда резюме своего «*Общественного договора*», который тогда еще находился в работе. Затем приходит время для женитьбы, и уже через несколько месяцев Эмиль готовится стать отцом. Только тогда воспитатель слагает с себя полномочия.

Многие из идей «*Эмиля*» обсуждаются и в современной педагогике. Что важнее — воспитание или дрессура? Разве Эмилем не управляет чужая скрытая воля? «Пусть он воображает, что он хозяин положения, но этим хозяином всегда должны быть вы». Однако не надо забывать, что Эмиль — это не настоящий, живой ребенок, а условный образ, к которому автор прилагает свою педагогическую систему; воспитатель не ставит перед собой задачу сформировать его определенным образом, но должен лишь помочь ему не отклониться от естественного порядка вещей. «*Эмиль*» — это не учебник практической педагогики. Это лишь воображаемый опыт, имеющий целью доказать, что пороки не являются неотъемлемой частью человеческой природы. Руссо четко выразил эту мысль в письме издателю

Крамеру 13 октября 1764 года: «Я не могу поверить, чтобы вы приняли эту книгу за настоящий трактат о воспитании. Это больше философское произведение, построенное автором на той же идее, что и в предыдущих его сочинениях, — что человек по природе своей добр». Система, мелькнувшая в Венсенском озарении, облеклась плотью: по-еле обличений, содержащихся в двух его предыдущих «*Рассуждениях*», Жан-Жак решил, что пора предложить положительные идеи.

При такой занятости время текло быстро. Семья Люксембург окружала Жан-Жака дружеской заботой, мадам де Буффле была с ним очень любезна. Она часто навещала его в сопровождении Лоренси, и даже сам принц Конти дважды посетил его собственной персоной. Луи-Франсуа де Бурбон, внучатый племянник великого Конде, либерал и покровитель философов, Конти был принцем крови. Но это не помешало Жан-Жаку, несмотря на предостерегающие знаки, украдкой подаваемые ему придворными, разгромить принца в шахматной игре. Его плебейская гордость была удовлетворена.

ОТ РОМАНА К ПОЛИТИКЕ

Окончательно решившись опубликовать роман, Руссо уведомил об этом своего издателя. В апреле 1760 года в Мон-Луи были доставлены первые гранки. Жан-Жак оказался весьма педантичным автором: он придирался к шрифту, формату, бумаге, страшно гневался на опечатки и просто взорвался, когда Рэй предложил — в начале романа! — поместить эпиграф: «Vitam impendere vero»^[30]. Затем возник вопрос о двенадцати эстампах, которые услужливый Куэнде заказал граверу Гравело, — безжалостный Руссо придрался и к ним. Он хотел еще опубликовать отдельно второе предисловие к роману — рассуждение о романах. Это предисловие было напечатано в феврале 1761 года, эстампы в марте, через несколько месяцев — «Юлия». Столько хлопот с этим романом! Жан-Жак любил говорить о нем с деланным безразличием. В письмах он упоминал о «скучном сборнике», «долгой тянучке из засахаренных слов», «скучной галиматье», «скучном и плоском романе» или даже о «книжке для дам». Сам он, однако, не верил ни одному этому слову.

«Новая Элоиза» была выпущена в продажу в первые месяцы 1761 года. Это было первое из семидесяти двух изданий, которые она выдержала до 1800 года. Хулитель словесности создал, как оказалось, бестселлер своего века.

Это был не просто успех — это был беспрецедентный триумф. Особенно женщины сходили с ума по «Юлии», и у Жан-Жака создалось приятное впечатление, что некоторые из них, даже из самого высшего общества, не проявили бы жестокости к тому, кто сумел так взволновать их душу. Любопытство читателей было возбуждено: была ли эта история чистым вымыслом или это были воспоминания Руссо о пережитом? Предисловие только подогревало сомнения читателей: «Люди света, какое вам до этого дело?»

В среде критиков и литераторов некоторые делали недовольную мину. В то время жанр романа, хотя и вошел уже в моду, еще не получил благородного «дворянского» звания в литературе и оставался всего лишь легкомысленным развлечением. Руссо «взорвал» привычные представления о романе и внедрил в него проблемы моральные, социальные, политические и религиозные. Автор-моралист навлек на себя немало упреков за непривычность персонажей, за критическое изображение нравов: его роман называли «сборником диссертаций», «педантичными

дискуссиями»; набожная Юлия раздражала одних, а атеист Вольмар возмущал других. Фрерон и Палиссо назвали роман скучным, Бюффон^[31] прочел его, перескакивая через несколько страниц. Бывший друг Гримм разнес роман в пух и прах: он «уже давно не видел худшего романа, чем *«Новая Элоиза»*. Некоторые умудрялись, наоборот, обвинить роман в аморальности, говоря, что в нем очень много неприличных сцен. Вольтер сначала охарактеризовал роман несколькими язвительными словами: «Главный герой — гувернер, который получает плату девственностью своей воспитанницы». Он не забыл ни выпады Руссо против зрелищ, ни его яростное прошлогоднее письмо, ни запрет на представление комедий у себя на дому. Под именем некоего друга, «маркиза де Хименеса», он опубликовал затем *«Письма о «Новой Элоизе»*, где издевался над языком романа, неточностью понятий, тривиальностью положений, а затем давал свою непристойную версию повествования и образов. У него Сен-Пре — «кто-то вроде слуги-швейцарца... и пьяницы», а Юлия «делает выкидыш, что, к великому несчастью, лишило Швейцарию маленького Жан-Жака»; затем она выходит замуж за «здоровенного русского, прижившегося в долине Во», который «очень доволен своей бочкой, хотя в ней кем-то другим уже проделана дырка». Каково?..

Пуританская Женева публиковала разные отклики. Некоторые, правда, восторгались этой «восхитительно прекрасной» книгой, но пастор Мульту предупредил Руссо, что «омерзительная клика расписывает ее самыми черными красками». Сюзанна Неккер, будущая мать мадам де Сталь, дала четкое определение: «Это здание добродетели, возведенное на фундаменте порока». Шарль Бонне — тот самый, кто был ярим противником второго *«Рассуждения»* и вскоре станет одним из заклятых врагов Руссо, — усмотрел в романе «немножко хорошего, растворенного в большом количестве плохого».

Но не этим критикам и пуританам была обязана *«Новая Элоиза»* своим успехом, а простым читателям. Первый раз в истории литературы мы имеем возможность узнать отзывы даже неизвестных почитателей автора. Ведь *«Юлию»* читали все! Тем, кто не имел средств купить книгу, книгоиздатели предлагали ее «в аренду» — по 12 су в час за один том, и этот том проглатывался стоя, пока остальные в нетерпении топтались, ожидая своей очереди. Публика плевать хотела на какие-то там литературные «правила»! Она читала, потому что хотела быть увлечена, захвачена эмоциями — и вот уже автору пишут, что ему нужно возвести алтари, что его книга должна быть напечатана золотыми буквами. Это удивительные письма — сплошные рыдания и судороги, слезы нежности и

счастья! Маркиза де Полиньяк не выдержала эпизода смерти Юлии и заболела; барон де ла Сарра закрылся в комнате, чтобы всласть выплакаться; аббат Каань не снес удара третьего тома. Даже 20 лет спустя барон Тьебо вспоминал о том, как читал этот роман: «Я дошел до последнего письма Сен-Пре даже не плача, а крича, воя как зверь». Автору расточают похвалы, целуют руки за то, что он заставил их плакать слезами облегчения. «Я плакала, месье, — писала одна читательница, — и я благодарю вас за это от всего сердца».

Руссо превзошел все ожидания не только тем, что вызвал в людях огромной силы эмоциональное сопереживание. Он показал, что добродетель и счастье, мир и добрая семья возможны лишь вдали от мира и его тщеславия. Роман возвышает душу, облагораживает чувства. Это книга-путеводитель, наставник нравственности, евангелие для сердца — она по-настоящему зовет к добродетели. Ее невозможно читать, не испытывая потребности стать лучше. Об этом говорили все, как, например, некий бывший иезуит: «На каждой странице моя душа таяла. О! Как прекрасна добродетель!» Руссо не романист — он наставник совести, долга, героизма, самопожертвования. Один молодой человек написал ему: я погибал, а вы меня спасли — «я обожаю вас и ваши возвышенные писания».

Сейчас мы не в состоянии представить себе то впечатление свежести и новизны, которое породила тогда в читателях «Новая Элоиза». Но сколько открытий принесла она им в свое время! Публика, привычная к городским условиям, к светской жизни в будуарах и тесных комнатах, — открыла для себя ясные дали, туманы Лемана, зов горных вершин. До сих пор читали Кребийона, Дюкло, Ла Морльера или Вуазенона, у которых хорошим тоном считалось заменять любовь чисто физическим «влечением», чувства — развратными уловками. А Жан-Жак вдруг заговорил о страсти, верности, супружеской нежности! И — прощай «вольтеровский стиль», сухой, ироничный, рассудочный! В романе Руссо длинные периоды перекачиваются, как речные волны, его красноречие возбуждает, крики страсти звучат как арии итальянской оперы.

Потом и романтики будут читать эту книгу с тем же пылом. Она принесла Руссо небывалую популярность, сравнимую, по меньшей мере, с популярностью Вольтера. Но главное в другом: она сделала автора романа кем-то вроде мирского святого, учителя, наставника чувствительных сердец, который зовет к добродетели людские души, заблудшие в пороках.

Необычнее всего то, что человек, открывший Франции и Европе красоту чувств, в то же время оказался одним из самых глубоких политических мыслителей своего века — его идеи не перестают

обсуждаться и сегодня. «Эмиль» уже показал, как можно сохранить природную доброту человека в среде искажающего ее общества. Но каким должно быть общество, построенное не на ложном общественном договоре, навязанном богатыми, а на законных основаниях? Ведь человек не создан для того, чтобы вечно оставаться в природном состоянии. Жизнь в обществе развивает в нем стремление к совершенствованию, преобразует животное в разумное существо: «Человек является существом общественным по своей природе или, во всяком случае, создан для того, чтобы стать таковым». Его пороки зарождаются извне, и Руссо уверен, что «все сводится, главным образом, к политике, и с какой стороны ни взгляни, любой народ является тем, чем сделала его природа собственного его правительства». Нужно, следовательно, восстановить справедливый порядок согласованными обратными действиями. Он размышлял над этим еще со времен Венеции — это будет его «*Общественный договор*».

Само название указывает, что Руссо присоединился к теории договора, которую начиная с XVI века протестантские мыслители противопоставляли (от имени «естественного закона») абсолютной монархии божественного закона. Власть проистекает, конечно, из божественного закона — может ли она вообще исходить не от Бога? — но носителем ее является народ, который вручает ее правителю с условием, что он должен соблюдать основные законы бытия. Другие мыслители, уже в XVII веке, пошли тем же путем, но у них эта теория принимала иногда неожиданный оборот: договор об объединении приводил, естественно, к образованию общества, но договор о подчинении, то есть о передаче власти главе общества, парадоксальным образом приводил к укреплению абсолютной монархии.

Первая книга «*Общественного договора*» была посвящена поиску оснований для общества, построенного на законе, и начиналась недопустимо вызывающим заявлением: «Человек рожден свободным, но повсюду живет в кандалах». Общество не может быть основано, как утверждалось ранее, по образу семьи, потому что дети вырастают, обретают независимость, и семья распадается. Оно не может также основываться на праве сильного или завоевателя: в таком случае общество стало бы «простым скоплением, а не объединением», которое подразумевает добровольное соглашение сторон.

Что нужно сделать? Решить дилемму: «Найти такую форму объединения, которая общими усилиями защищает личность и блага каждого члена; с ее помощью каждый член, объединяясь со всеми, подчиняется при этом только самому себе и остается таким же свободным, как изначально».

Это возможно, только если каждый человек берет на себя обязательства по отношению ко всем: если «каждый член общества со всеми своими правами добровольно ограничивает себя ради всего сообщества», и тогда взаимность обязательств и равенство гарантируют свободу каждого. Люди, объединенные таким образом, составляют вместе единое общественное лицо, именуемое «сувереном», в котором каждый человек будет свободен, так как подчиняется не другому человеку, а закону, который он сам себе предписал и который определяет его права, но также и обязанности.

Такое сообщество признает законной и частную собственность — в той мере, в которой она не превышает разумные потребности и поскольку приобретена собственным трудом; юридическое признание собственности исключает чрезмерное неравенство и претензии на то, что человеку не принадлежит. Руссо вовсе не проповедует коммунизм — он за частную собственность, но разумно ограниченную, так, чтобы «никто из граждан не был настолько богат, чтобы купить другого человека, и никто не был настолько беден, чтобы быть вынужденным продаваться». Справедливое общественное устройство наделяет человека новой природой, делая его гражданином — единицей, являющейся частью целого.

В следующей книге рассматриваются сложные понятия «суверенность» и «законность». Суверенность определяется как выражение общей воли, которая не является ни суммой, ни усредненным числом индивидуальных волеизъявлений. Характерным для нее является то, что она подразумевает благо для всех, а не интересы каждого в отдельности. В правильно устроенном обществе настоящий гражданин — тот, кто выбирает решение, выгодное не ему лично и не малой группе людей, объединенных корпоративными интересами, а всему обществу. Суверенность, или законодательная власть, неотчуждаема, так как волеизъявление не может передаваться, и это исключает систему представительства; она неделима и потому исключает принцип разделения властей. Только исполнительная власть, будучи подчиненной, может иметь в себе подразделения; она имеет ограничения, то есть может быть основана только на общественном интересе и никогда — на частном, что и является гарантией равенства. Только законодательная власть является главной и принадлежит народу, который выражает свою волю голосованием.

Государство, устроенное таким образом, держится на законе — публичном акте общественного волеизъявления, который касается всех граждан: он исходит от всех, чтобы быть приложимым ко всем.

Кто должен создавать законы? Не сам народ, поскольку он

некомпетентен, а некий мифический персонаж, которого Руссо называет Законодателем, — он должен черпать вдохновение в таких великих личностях, как Моисей, Ликург, Солон, даже Кальвин. Не нарушает ли здесь Руссо так называемую демократию? Не проявляется ли здесь будущая якобинская диктатура? Ни в коей мере. Этот Законодатель должен быть посторонним в данном городе, он не принадлежит ни к законодательной, ни к исполнительной власти и ограничивается тем, чтобы в качестве эксперта сформулировать законы, наилучшим образом приспособленные к данной ситуации. Но силу эти законы приобретут только после одобрения их народом-сувереном. Будучи личностью умудренной, Законодатель сумеет учесть географические, исторические и экономические условия жизни данного народа.

Определив условия, на которых происходит объединение людей в общество, Руссо в третьей книге переходит к устройству правительства. Он напоминает об основополагающем принципе: неотчуждаемая законодательная власть принадлежит только суверену, то есть народу, который не имеет права сложить ее с себя. Правительство — это исполнительная власть, а значит, подчиненная, и потому она должна давать отчет о своей деятельности.

Каковы возможные формы правительства? Суверен может доверить его создание всему народу или большей части народа — тогда это демократия, более соответствующая условиям малых государств. Суверен может поручить осуществление ее нескольким лицам — это может быть аристократия, уместная в государствах средней величины. Это может быть и единый магистрат в случае монархии, что более подходит крупному государству, управление которым требует быстроты исполнения распоряжений власти. Вполне обычное разделение? Нет, если исходить из существенного разграничения между сувереном и правительством. В понимании Руссо демократия исключает принцип представительства: это система, при которой «исполнительная власть соединена с законодательной», когда весь народ создает законы и наблюдает за их исполнением; такая система, однако, очень трудна в применении, — разве что в совсем малых республиках. Это дает Руссо основания сказать: «Если рассматривать этот термин в буквальном его значении, то настоящей демократии никогда не существовало и никогда не будет существовать. Если бы на свете жил народ из богов, то он мог бы управлять собой вполне демократично. Такое совершенное управление невозможно людям».

На практике Руссо отдает предпочтение аристократии, однако не наследственной, а выборной, — причем в качестве *правительства*, а не

суверена^[32]. Но внимание! Со временем имеет место явление; «истощения», которое возникает из антагонизма между законодательной и исполнительной властями, между сувереном и правительством, так как последнее стремится захватить прерогативы первого.

Если с течением времени народ утрачивает интерес к своим обязанностям, то законодательная власть «атрофируется», и происходит постепенное изъятие правительством власти от суверена, что и приводит к утрате свободы. Разве не так произошло в Женеве, где Малый совет (исполнительная власть) в конце концов поставил себя над Генеральным советом (законодательной властью), оставив ему лишь тень того, что должно быть?

Итак, всякое государство обречено на смерть уже при своем рождении. Но, как объясняет Руссо, в своей последней книге, можно, по крайней мере, замедлить его вырождение путем бдительной деятельности специальных магистратур, образец которых Руссо позаимствовал в древнеримском государстве. Действительно, в Древнем Риме были народные трибуны, которые не имели никакой законодательной или исполнительной власти, но имели право указать либо суверену, либо правительству на превышение ими своих полномочий. Имелись там и цензоры, которые должны были наблюдать за нравами. Мог быть, наконец, и диктатор: в крайнем случае, и на очень короткое время, он мог быть поставлен *над* законами — не имея, однако, права заменять их другими. То есть была возможность прибегнуть к помощи исключительной личности в исключительных обстоятельствах.

И наконец, государство должно иметь религию, так как Руссо не верил в раздельное существование этики и религии. Если политика и мораль связаны одна с другой и если мораль неотделима от религии — тогда политика и религия тоже неизбежно оказываются взаимосвязаны. Общность веры укрепляет социальные связи, скрепляет общество индивидов, сближая их между собой и отличая их от людей посторонних. «Религия необходима для хорошего устройства государства». Но какая? Их три, и ни одна из них не устраивает Руссо. Первая из них — это «чистая и простая религия Евангелия», она прекрасна, но политически несостоятельна, так как настоящий христианин более заботится о небе, чем о земле, — потому она антисоциальна по своей сути. Вторая — это «религия гражданина», религия античных городов, которая имела преимущество перемешивать между собой культ богов и почитание законов — но она исключительна и нетерпима. Третья хуже всех: она признает два закона, двух хозяев и тем навязывает человеку противоречивые обязанности — такова «религия священников», римский католицизм,

губительный для общественного единства и подчиняющий государство теократии.

Оставалось то, что Руссо называл «гражданской религией». Ее положения устанавливает сам суверен, сводя их к тому, что имеет важное значение для всего сообщества. Она должна иметь четыре положительные догмы: существование Бога, бессмертие души, счастье праведников и наказание грешников, а также святость общественного договора. Отрицательная же догма только одна — осуждение нетерпимости. Государство не может никого заставить верить в эти догмы, но оно имеет право изгонять любого, кто отказывается ему подчиняться, — не потому, что он безбожник, но потому, что заявляет о своем отпадении от общества. Здесь Руссо добавил фразу, от которой бросает в дрожь: «Если кто-то, признав публично эти догмы, затем ведет себя так, как будто не верит в них, — он должен быть предан смерти; он совершил самое большое преступление — солгал перед законом». Что это — инквизиция? Нет, так как дальше сказано: «Каждый может сверх того иметь те убеждения, которые ему нравятся». Государство имеет право надзора, но не за сознанием граждан, а за их поведением: Руссо требует от гражданина не столько верить в догмы, сколько вести себя соответственно тому, что они предписывают, то есть не нарушать общественный порядок.

Противоречит ли здесь отрицание христианства тому, что утверждается в *«Исповедании веры савойского викария»!* Не более чем какие-либо другие утверждения Руссо: викарий искал религии для человека, а Законодатель — для гражданина, и речь здесь идет не об истинности христианства, а о его политической действенности.

Книга получилась сложная; она мало обсуждалась в свое время, но ею окажется пронизана вся идеология предреволюционной эпохи. У этой книги любопытная судьба. Начиная с XIX века в ней видели то настольную книгу для всех демократий, то кодекс для всех деспотических режимов. Руссо объявляли даже идейным вдохновителем Гитлера, Сталина, Мао, предтечей нацистов и фашистов. Поразительное искажение смыслов — такое возможно, только если берется на вооружение или осуждается тот или иной отдельный элемент текста в отрыве от целого. В ту эпоху, когда большинство либеральных философов, вроде Монтескье или Вольтера, были на стороне ограниченной монархии или просвещенного деспотизма, — идеи Руссо о народе, являющемся суверенным носителем власти, предстают, наоборот, явно демократичными.

Итак, Руссо, став близким приятелем самых знаменитых аристократов, блестящим романистом, вскоре станет еще и одним из самых великих

политических авторов в истории человечества... Все это не мешало Руссо оставаться очень простым в своем поведении. Но при этом — какая слава! 5 июня 1761 года в Женеве, после большого военного и народного праздника, люди квартала Сен-Жерве пили за его здоровье, крича: «Да здравствует Руссо!» Они приветствовали автора «*Рассуждения о неравенстве*» и «*Письма д'Аламберу*», и это не могло понравиться Малому совету. У Руссо просят нравственных наставлений, поддержки. Иные становятся его восторженными почитателями, как, например, маленький женевский пастор Рустан, который благодарил его за полученные от него советы: за то, что «вы напомнили мне ту чудную ночь, когда скромный добросердечный Христос омыл ноги своим ученикам... Мой дорогой Учитель, мое сердце начинает биться при Вашем имени так, словно хочет вырваться из груди; оно переносится на вершины Монморанси и трепещет, завидев издали Вашу крышу. Там, говорит оно, мое жилище. Оно входит дрожа, слышит Ваш голос, нежное волнение охватывает его, оно устремляется к Вашему изголовью и обливает Ваши руки слезами». Какой другой литератор до Руссо получал подобные признания в обожании? Он же пожимал плечами: слава еще не есть счастье. Как писатель он был на вершине счастья. А как человек?

Жан-Жаку иногда кажется, что его уже меньше привечают в окружении Люксембургов, — возможно, по его же вине, потому что он бывает чертовски неловок. Угораздило же его посоветовать маршалу уйти в отставку — к великому неудовольствию герцогини. А когда шевалье де Буффле написал ее портрет, который она сочла совершенно неудачным, — Жан-Жаку, желавшему привлечь к себе симпатию этого мазила, пришла в голову несчастная мысль заявить, что портрет очень похож. И еще одна неловкость, даже несколько унижительная. Кличка его собаки была Дюк^[33]. Вращаясь в блестящем обществе герцога, он счел, что тактичнее будет заменить ее на Тюрк^[34], но маркизу Вильруа вздумалось позабавиться прямо за обедом: он при всех разоблачил эту невинную хитрость застенчивого простолюдина. Атмосфера в компании начала портиться. Возможно, так было лишь в его воображении (он тогда писал 9-ю книгу своей «*Исповеди*»), потому что в его переписке, относящейся к тому времени, незаметно никакого охлаждения с чьей бы то ни было стороны. Да и мадам де Люксембург как раз в это время получила особую возможность доказать ему свою привязанность.

Дело в том, что в мае 1761 года у Руссо случился резкий приступ его обычной болезни. Он был уверен, что конец совсем близок. Его терзало

одно жестокое угрызение совести, особенно со времени написания «Эмиля». Времени, как он думал, у него почти не оставалось, и тогда отчаяние толкнуло его на опасное признание. 12 июня 1761 года Жан-Жак послал герцогине письмо, умоляя ее позаботиться о Терезе, когда его не станет. Решившись, он бросался в омут с головой: «Время не ждет; я сокращаю свою исповедь и хочу доверить Вашему благодетельному сердцу мой последний секрет». Он признался ей во всем: в связи с Терезой, в рождении пятерых детей, из которых только первый удостоился бирки, привязанной к пеленкам. Если бы можно было его найти...

Смерть в очередной раз подшутила над Жан-Жаком. Одному монаху — это был брат Ком^[35] — удалось сделать ему зондирование, и он объявил, что мучиться Руссо будет сильно, но проживет долго. Тем временем доверенный человек Люксембургов вел поиски по всем детским приютам. По словам Руссо, он никого не нашел. Так ли это? 7 августа мадам де Люксембург сообщила ему: «Я неизменно надеюсь найти старшую», то есть ребенка, родившегося в 1747 году. Возможно, поиски должны были вот-вот увенчаться успехом, но Руссо передумал. 10 августа он ответил, что и успех поисков не принес бы ему удовлетворения: «Слишком поздно, слишком поздно». Он хотел этого прежде всего ради Терезы, — но была ли уверенность в том, что найденный ребенок, даже если он действительно был ее, не станет для нее «роковым подарком»? Лучше было оставить всё как есть. На следующий день мадам де Люксембург объявила, что посетит его в Монморанси: «Понадобились бы целые тома, чтобы описать Вам всё, что я думаю по поводу Вашего последнего письма; мне нужно сказать Вам сотню тысяч вещей». Пыталась ли она переубедить его? Мы этого никогда не узнаем.

Спустя несколько недель, 28 сентября, случился сюрприз: Жан-Жаку пришло таинственное романтическое письмо от некой женщины, которая не назвала себя: «Знайте, что Юлия не умерла и что она живет, чтобы любить Вас». Незнакомка не претендовала быть самой Юлией и называла себя ее подругой Клэр. Суровый Гражданин попался на крючок и признался, что хотел бы познакомиться с обеими, хотя «отшельник не должен подвергать себя опасности видеть каких бы то ни было Юлий и Клэр, если хочет сохранить свой покой».

Переписка продолжилась в том же тоне. Дамы беспокоились о его здоровье, умоляли его проконсультироваться у врача. Затем на сцену вышла сама Юлия, скромная, робкая, застенчивая как девственница при мысли о возможности увидеться с ним: «Человек, который заставил говорить Сен-Пре, будет слишком опасен для Юлии, связанной узами брака».

Недоверчивый Жан-Жак спрашивал себя, нет ли здесь какой-либо мистификации — например, какого-нибудь «господина Юлии», который морочит ему голову. Вовсе нет, отвечала Клэр. Юлия не хочет, чтобы ее видели, «но если Вы приедете в Париж, то я покажу Вам через потайной ход только ее ножку, и Вы убедитесь, что эта прекрасная ножка не может принадлежать, мужчине». Подобное любезничанье грозило обернуться посмешищем, но Жан-Жак, этот неисправимый мечтатель, не мог заставить себя выйти из игры. Столь необычно завязавшаяся переписка, то нежная, то бурная, полная разрывов и примирений, будет длиться 15 лет.

Романтичные подруги раскрыли свое инкогнито только спустя три месяца. Та, что назвалась Клэр, была Мария-Мадлена Бернардони, невестка одного итальянца, давно прижившегося во Франции. Устав от грубых окриков «великого человека»^[36], она вскоре покинула его. Юлией назвалась Мари-Анна Мерле де Фуссом, которой едва перевалило за тридцать. Прожив десяток лет в браке с Алиссаном де Ла Тур, секретарем-советником короля, она жила теперь отдельно от него, а в 1774 году и вовсе откажется от его фамилии и заменит ее на Франквиль. Сентиментальная и разочарованная, иногда в чем-то даже недалекая, она была неизменно предана Жан-Жаку и переписывалась с ним до 1776 года. Она благоговейно послужила его памяти, написав книжку «Жан-Жак Руссо, отомщенный своей подругой», и умерла в 1789 году. Их переписка — еще одно доказательство мощного влияния книги Руссо. Роман перешел в жизнь: женщины взялись играть роли Юлии и Клэр, убедив его взять на себя роль Сен-Пре, как будто мечта могла иметь продолжение в действительности.

В ноябре 1761 года произошло несчастье, которое на время отвратило Жан-Жака от всех этих романтических затей: мягкий зонд сломался, и осколок, который нельзя было извлечь, застрял в мочеиспускательном канале. На сей раз Руссо не сомневался, что наступил его последний час. Несколько дней спустя он предупредил Рэя, что не успеет сверить гранки «Общественного договора», Руссо приготовился к смерти и был-уверен, что уже не увидит два своих последних произведения, которые были ему дороже всех остальных: ведь они возводили здание целой системы — системы Руссо.

НАВСТРЕЧУ КАТАСТРОФЕ

Но он не умер, и его дела потихоньку продвигались — во всяком случае с политическим трактатом. Как обычно, Жан-Жак жаловался на своего издателя, хотя в данном случае он был неправ. Зная, что Руссо беспокоится о судьбе своей гувернантки Терезы, Рэй предложил назначить ей небольшую пожизненную ренту в 300 франков на случай его смерти. Растроганный Жан-Жак принял это предложение, причем согласился даже на меньшую сумму, но не связанную с его смертью: никогда не следует толкать людей на дурные мысли, не ставить доброе дело в зависимость от чьей-то смерти. Он отблагодарил славного малого Рэя тем, что согласился стать крестным отцом ребенка, который должен был скоро родиться.

С «*Эмилем*» всё было сложнее. Жан-Жак был уверен, что эта книга не может быть издана во Франции: смелые заявления в «*Исповеди савойского викария*» не оставляли ей никакого шанса обойти цензуру. Мадам де Люксембург считала, что издатель Рэй не давал за нее должную цену, и бралась сама найти лучшие условия. Через Мальзерб, директора издательства «Либрери», она связалась с издателем Гереном: тот посоветовал ей отдать «*Эмилю*» какому-нибудь парижскому издателю, который сумеет напечатать книгу в Голландии, и подсказал обратиться в объединенное издательство Дюшесна и Ги.

В августе 1761 года Дюшесн за шесть тысяч ливров приобрел книгу в собственность, при условии — вполне в духе Руссо, — что он должен быть не издателем, а ее депозитором во Франции. Дюшесн все-таки решил печатать книгу сам и только к середине ноября заключил договор с Неольмом в Гааге — не как с хозяином типографии, а как с соиздателем. Таким образом, в соответствии с издательскими и цензорскими правилами того времени, должны были появиться два одновременных издания: одно в Париже, другое в Гааге, которое, по сути, ограничилось тем, что перепечатало парижское издание. Мальзерб узнал об этом, но слишком поздно, чтобы вмешаться, а Руссо узнал об этом еще позже. Он был уязвлен: поскольку парижское издание должно было служить образцом, то он должен был проследить за ним, чтобы в текст не вкрались искажения или ошибки.

Жан-Жак был уверен в том, что доживает последние месяцы, и впал в кризис тяжелой мнительности. Он убедил себя, что с изданием его книги происходят какие-то необъяснимые проволочки, что Дюшесн заставляет

его править одни и те же гранки. И почему начали печатание со второго тома? 8 ноября он пишет Дюшесну: «Мне теперь ясно, месье, что моя книга чем-то удерживается, только я не знаю чем». Подозрения о каком-то заговоре против него превращались в навязчивую идею. Наконец, как ему кажется, он понял, в чем дело: Герен, связанный с иезуитами, его предал, и, зная, что Руссо тяжело болен, церковники, задерживают печатание в ожидании его смерти: они хотят завладеть его произведением и извратить его в удобном для себя смысле. 18 ноября он написал Мальзербу: «Скоро, месье, Вы с удивлением узнаете о судьбе моей рукописи, попавшей в руки иезуитов стараниями г-на Герена». Эти его подозрения были беспочвенны: иезуитам, накануне их изгнания и рассеяния, было не до «Эмиля». Два дня спустя Руссо получил наконец гранки своей книги. «Ах, месье, — написал он Мальзербу, — я совершил что-то ужасное!.. Жестока участь грустного и больного отшельника — иметь расстроенное воображение и при этом не получать известий о том, что его интересует». Дюшесну он принес свои извинения.

Спустя несколько дней Руссо снова охвачен ужасом: он осаждает Мальзерба, собирается потребовать возврата своей рукописи, уверяет себя, что его труд потерян. Мальзерб и герцогиня связались с издателем и убедились, что нет никакой «непроницаемой тайны», что Жан-Жак изводит себя по пустякам. Видя, что он чуть ли не в бредовом состоянии, Мальзерб взял на себя труд написать ему длинное письмо, дабы привести его в разум. Успокойтесь, говорил он ему, нет никакого заговора. Я знал, что книга печатается во Франции, но «я сделал вид, что не знаю этого». Вы должны понимать, что в настоящее время необходимо соблюдать осторожность, но и только. Вы стали жертвой необоснованных опасений, усиленных болезнью и одиночеством. «Я заключил из половины Ваших писем, что Вы самый честный из людей, а из другой половины — что Вы самый несчастный».

Страх наконец рассеялся. Жан-Жак не понимал теперь, что с ним было. Он написал Мальзербу душераздирающее письмо: «В течение более шести недель мое поведение и мои письма представляют собой лишь цепь несправедливых упреков, безумств и бессовестных выпадов». Мальзерб, опечаленный временным помутнением рассудка у этого гениального человека, проявил бесконечное терпение и понимание. Он видел в нем «груз меланхолии и мрачных настроений», усугубленный к тому же страданиями и одиночеством, но «я думаю, что это Ваше природное свойство и причина его кроется в Вашем физическом состоянии».

Этот диагноз заставил Руссо задуматься. Он-то знал, что причина была

совсем в другом, к тому же Мульту и Рэй уже подавали ему идею описать свою жизнь. Он колебался, так как понимал, что при этом придется говорить и о других людях. Характеристика, данная ему Мальзербом, убедила его, однако, что объясниться необходимо, так как никто, кроме его самого, не понимал его настоящего. 4,12, 26 и 28 января 1762 года он отправил Мальзербу длинные письма, которые стали предисловием к *«Исповеди»*.

Нет, он вовсе не ненавидит людей, но он появился на свет «с врожденной любовью к одиночеству» и всегда предпочитал мечту разочарованиям реальной жизни. Мрачные настроения он познал только в Париже, а не в уединении, которое гораздо более подходит ему. Всё, что ему нужно, — это жить по своему вкусу: не гнаться за удовольствиями, трудиться, когда этого хочется, и держаться в стороне от общественных обязательств. Я не добродетелен, признавался Руссо, но достаточно добр, мирного нрава и безобиден. «Никто в мире не знает меня, кроме меня самого». Его карьера? Прихоть случая, которая настигла его в 40 лет, когда он об этом уже и не думал, — и здесь он рассказывал об озарении, постигшем его на дороге в Венсен. Потом он познал славу и потерял душевный покой. Он хотел забыть о мире, но мир не захотел забыть о нем. Теперь он ждал только выхода из печати *«Эмиля»* и *«Общественного договора»*, чтобы распрощаться со своей литературной карьерой: «О, трижды счастливый день!..»

Он несчастлив в одиночестве? На самом деле он никогда не был счастливее, чем в тот день, 9 апреля 1756 года, когда распрощался с Парижем и его суетой. Уединение было его собственным выбором, чего упорно не хотят понять те литераторы, которые проповедают повсюду, что человек вне общества бесполезен, — так жестоко заявлял ему Дидро.

Говорят, что Руссо — человеконенавистник. Клевета. У него любящее сердце, «которому достаточно самого себя»; он любит друзей, но ему необязательно видеть их каждый день. Он уступил любезностям Люксембургов, но он не продал себя: «Я ненавижу важных персон, их состояние, их жестокость, предрассудки, ничтожество и все их пороки». Но владельцы Монморанси являются исключением из этого рода людей; они одарили его настоящей дружбой, и он любит их всем сердцем. Было бы проще, если бы господин де Люксембург был обычным провинциальным дворянином, а он сам — простым человеком, привечаемым владельцем замка и его супругой!

Эти письма уже содержали в себе наброски *«Исповеди»*. Руссо и сам подтверждал это: «Так или иначе, я не боюсь быть увиденным таким, какой

я есть: я знаю о своих больших недостатках, я живо чувствую все свои пороки. Со всем этим я умру — надеясь на Всемогущего Бога и будучи убежден, что никто из людей, известных мне при жизни, не был лучше, чем я». Здесь уже видна потребность в объяснении, оправдании, самораскрытии, но проявляется она не в полной мере. Так, о карьере литератора он на самом деле мечтал с двадцати лет, но теперь, в письмах, она предстает в его воображении как случайная причуда его несчастливой звезды. И все же Руссо не лжет — он искренне воссоздает свою жизнь как миф.

Излив душу перед Мальзербом, Жан-Жак почувствовал себя лучше, но продолжал страдать от болезни. Чтобы носить свои зонды незаметно, он решил заказать ткань и пошить из нее длинную одежду в армянском стиле. Но наденет он ее только несколько месяцев спустя в Мотье.

Руссо был слишком занят собой и потому не придавал значения одной тревожной новости. В сентябре 1761 года торговец-протестант из Монтобана, Жан Риботт, рассказал ему о пасторе Франсуа Рошетте, который тайно отправился проповедовать. Он был арестован, и ему грозила смертная казнь, так как реформаторские конфессии были запрещены. Его положение осложнялось еще и тем, что трое дворян попытались помочь ему бежать. Риботт умолял Руссо вмешаться и похлопотать перед герцогом Ришелье, тогда правителем Лангедока, и прибавлял, что с той же просьбой он обратился к Вольтеру. Этот последний вскоре прослышет бессмертным борцом за «дело Каласа», но случай с пастором Рошеттом он воспринял не слишком всерьез, хотя все же написал Ришелье. Руссо заверил Риботта в своем сочувствии, но напомнил, что закон есть закон и что христиане должны быть готовы пострадать. Это было слабым утешением. Конечно, он, Руссо, на стороне веротерпимости, но борется он за принципы и не вмешивается в частные случаи. Риботт настаивал, но тщетно. А спустя два месяца он сообщил Руссо о случае, произошедшем в Тулузе: Жан Калас, почтенный коммерсант протестантского вероисповедания, был обвинен в том, что повесил своего сына, хотевшего перейти в католичество. Риботт выбрал для своего рассказа неудачное время: разбитый болезнью Жан-Жак жил в ожидании смерти, а печатание «*Эмиля*» привело его в полное расстройство. Затем Риботт поведал Руссо о казни Рошетта и тех трех дворян, которые хотели помочь ему (21 февраля 1762 года), а также о жестокой казни Каласа (10 марта). На этот раз Жан-Жак потребовал документы, свидетельства. Этот случай наглядно показывает разницу между двумя философами. Вольтер действовал, употребил всю свою энергию, чтобы реабилитировать Каласа, — тогда как теоретик Руссо лишь

рассуждал и обобщал: он выражал протест только тогда, когда дело касалось его самого. Впрочем, в любом случае протестовать было уже слишком поздно: буря вскоре разразится и над его головой.

Печатание «*Общественного договора*» завершилось без помех, но о его появлении во Франции не могло быть и речи: Мальзерб был вынужден запретить его выход в свет.

С «*Эмилем*» дело обстояло еще хуже. Беспокоясь о судьбе своего детища, Руссо переписал оттуда «*Исповедание веры савойского викария*» и отослал его Мульту, чтобы обезопасить эту часть от возможных фальсификаций. Мульту был ею восхищен, но указал ему на опасность: «Какие крики, какие вопли вы вызовете этим в Женеве!» Да еще Руссо имел неосторожность подписать эту книгу своим именем! Жан-Жак только пожал плечами. Во Франции, говорил он, я иностранец, а что до Женевы, то это «само собой разумеющееся христианство», по словам Мульту, должно ее просто привести в восторг. Сам молодой пастор был далеко, не уверен в этом: в отличие от философа Руссо народ хочет верить в чудеса, и для него «Вы станете просто неверующим». Впрочем, он был не единственным, кто предостерегал Жан-Жака. Дюкло, которому Руссо прочел «*Исповедание веры*», нашел его великолепным, но прибавил: «Сделайте мне одолжение никому не говорить о том, что Вы читали мне этот отрывок». Неольм, его голландский издатель, тоже испытывал страх.

Ну же, отвечал им Жан-Жак, разве не видно, что «я хотел лишь убрать частности и сохранить ствол за счет веток и что я оставляю религии всё, что полезно для общества, не разрушая и остального? Впрочем, ничто в мире никогда не заставит меня убрать оттуда хотя бы единый слог».

Почему же он теперь был так уверен в себе? Во-первых, он женевец, печатавшийся в Голландии, — в чем может упрекнуть его французское правительство? И потом, то, что могло быть вызывающим в «*Исповедании веры*», уже упоминалось в словах умирающей Юлии, и никто из этого не делал драмы. Наконец, у него были влиятельные покровители. Конти был к нему благосклонен, мадам де Люксембург нашла издателя, и Мальзерб был явным доброжелателем, почти сообщником.

Задавался ли он вопросом: почему эти высокопоставленные персоны проявляли такой интерес к республиканцу Руссо? В ту эпоху немало просвещенных аристократов были сторонниками реформ и энергичных мер, особенно в отношении духовенства, которое всё более завоевывало положение «государства в государстве». Таковы же были и позиции философов, и вполне понятно, что они пользовались определенной поддержкой у высоких должностных лиц государства. Тот же Руссо

безоговорочно утверждал, что духовенство должно быть подчинено светской власти. Но это было еще не всё. Принц Конти, удалившись от двора, старался сблизить аристократию с парламентом — против королевского абсолютизма. В нем видели человека, способного, возможно, возродить «двойную. Фронду» — дворянскую и парламентскую, которой удалось в прошедшем веке даже пошатнуть на некоторое время монархию. В «*Общественном договоре*» Руссо он вполне мог найти поддержку своим тезисам об «основных законах». Что до Мальзерб, то он занимал одно из первых мест в парламентских кругах, а мадам де Люксембург была свояченицей графини де Буффле, которая, в свою очередь, была любовницей принца Конти. По сути это был чудный союз принца крови, «дворянства мантии» и «дворянства шпаги»^[37], который использовал простолюдина Руссо для проведения своей реформы государственной системы.

Однако на сей раз Руссо успокаивал себя напрасно. «*Эмил*» поступил в продажу 24 мая, а уже 31-го в «*Секретных записках на службе истории словесности*» было отмечено: «Книга Руссо все более возбуждает скандал. Меч и кадило объединяются против автора». Тревожные признаки множились. Д'Аламбер поздравил Руссо, но под письмом не подписался. Мадам де Буффле тоже поздравила, но попросила вернуть ее записку обратно. Господин де Люксембург тоже попросил Руссо отослать обратно все письма Мальзерб и с озабоченным видом поинтересовался, не высказался ли он плохо в своем «*Общественном договоре*» о министре Шуазеле. Но Жан-Жак решил не поддаваться страхам и очень удивился, когда мадам де Буффле посоветовала ему «навестить Англию», а потом даже спросила, как он отнесся бы к «маленькому» королевскому указу о заточении, который отправил бы его на несколько недель в Бастилию, государственную тюрьму, где он был бы недосыгаем для парламентского суда.

Дело было в том, что «*Эмил*» появился в очень неудачное время. Парламент в большинстве своем состоял из янсенистов, которые наконец схлестнулись с иезуитами, своими старыми врагами, на почве громкого финансового скандала. Скандалом этим воспользовались, чтобы добиться пересмотра устава этой почтенной организации, требовавшей от своих членов беспрекословного подчинения, что являлось наглым вызовом королевской власти.

6 августа 1762 года орден иезуитов был официально запрещен, а школы его закрыты. Это была блестящая победа, которая обрадовала и философов. Да, но пусть неверующие не воображают, что им сделана

уступка! Нанеся удар по иезуитам, парламент одновременно хотел утвердиться в качестве непоколебимого поборника веры и потому ополчился против философа, который осмелился с открытым забралом проповедовать. «преступную систему» «естественной религии». Начиная с 15 июня Руссо стал явно ощущать на себе эту тактику: «Дело не в том, что парламент меня ненавидит и не понимает своей несправедливости. Преследуя иезуитов, они в то же время хотят заткнуть рты церковникам, и потому, невзирая на мое плачевное состояние, желали бы подвергнуть меня самым жестоким пыткам: сожгли бы меня живьем, хотя и несправедливо и безо всякого удовольствия, — просто потому, что так им нужно».

Понимание опасности наконец-то начало приходить к нему, но было уже поздно. 1 июня канцлер Ламуаньон, отец Мальзерб, издал распоряжение об изъятии «*Эмиля*»; 3-го числа тираж был конфискован полицией, а 7-го синдик богословского факультета выступил с обличительной речью в Сорбонне. Однако Руссо, необъяснимо спокойный, по-прежнему отказывался прислушиваться к предостережениям, звучавшим со всех сторон, и рядился в тогу римской доблести: «Если жизненный девиз, принятый мною, не пустая болтовня, то сейчас как раз подходящий случай показать себя достойным его». 8 июня мадам де Кроки кричала ему: «Это истинная правда — то, что вам грозит указ об аресте. Ради Бога, бегите!» В тот день была прекрасная погода, и Жан-Жак без всяких предосторожностей отправился на пикник в сельскую местность в сопровождении двоих приятелей: «Никогда в жизни я не был так весел». Вечером он спокойно улегся в постель и прочел, как обычно, несколько страниц из Библии — в частности, ужасающую историю Левита с горы Ефремовой из Книги Судей.

В два часа ночи доверенный человек от Люксембургов забарабанил в дверь: он принес записку принца Конти, адресованную маршальше, которую она теперь пересылала Жан-Жаку: в ней говорилось, что через несколько часов к Руссо заявятся с ордером на арест. Жан-Жак осознал наконец всю серьезность ситуации и побежал в замок. Он клялся себе, что не будет беглецом, — но мог ли он скомпрометировать герцогиню, рассказав историю публикации «*Эмиля*»? И он уступил — к великому облегчению своих покровителей. Мальзерб, который уже несколько месяцев играл с огнем, защищая «*Энциклопедию*», тоже вздохнул с облегчением, узнав о его решении. Конти был слишком высокопоставленной особой, чтобы беспокоиться о себе лично, но на карту был поставлен его политический имидж, и он не мог позволить себе потерять поддержку парламента.

Руссо решил искать убежища в Швейцарии, в Ивердоне, у Даниэля Рогена, — достаточно близко от Женевы, чтобы знать, как там воспримут его появление. С помощью маршала он перебрал все свои бумаги, сжег то, что могло скомпрометировать его друзей; при этом он хорошо понимал, что уничтожает таким образом свидетельства своей благонадежности, то есть связи со знатными людьми, и подставляет под удар себя одного. Тем временем верхняя палата парламента составляла обвинения против «Исповедания веры» — с этой его «естественной религией»: отрицанием чудес, Откровения, божественности Иисуса Христа и авторитета Церкви. Решение было принято: книги будут изорваны и сожжены, а автор — арестован.

Нужно было торопиться. Привели Терезу, всю в слезах, и Жан-Жак объяснил ей, что она должна остаться в Мон-Луи на некоторое время, чтобы завершить все дела с их маленьким хозяйством, а потом она сможет присоединиться к нему. Руссо прижал ее к себе: отныне, сказал он, их жизнь будет наполнена лишь «оскорблениями и клеветой». Было уже четыре часа утра. Мадам де Люксембург и мадам де Буффле, плача, обняли его, а маршал, безмолвный и бледный как смерть, проводил его до конюшен, где уже ждал кабриолет с лошадьми и кучером. Два человека долго стояли обнявшись. Они знали, что больше не увидятся.

Возле Ла Барра ему навстречу попала карета с четырьмя людьми в черном, которые вежливо его приветствовали: это были судебные исправники, которые должны были арестовывать его. Руссо ехал навстречу своей судьбе. Позднее он часто спрашивал себя, что было бы, если бы он отказался бежать и принял удар на себя. Пока же его жизнь была разрушена, и он двигался наугад в будущее, полное угроз.

ОТ ПЛОХОГО К ХУДШЕМУ

11 июня 1762 года весь тираж «Эмиля» был изорван и сожжен у подножия лестницы Дворца правосудия. Руссо тем не менее успокоился и на следующий же день после своего отъезда принялся писать, прямо в карете, историю Левита с горы Ефремовой, читанную им накануне, и сделал из нее поэму в прозе наподобие «Идиллий» поэта Гесснера. Это была история о насилии, о массовых убийствах и похищениях, но Руссо странным образом решил изложить ее в «духе сельском и наивном», расцветить «милыми картинками» и придать свежий колорит — то, что Вольтер назвал потом «каннибальскими сказками». Но у Жан-Жака были на то свои причины, и писал он, чтобы отогнать тоску. Этот левит, как и он сам, был невинно осужден злобой мира, но справедливый суд воздал ему должное. Он видел в этом доказательство того, что ненависть не имеет власти над его душой, и поэтому, говорил он потом, «Ефраимский левит» если и не лучшее мое произведение, то всегда останется самым любимым».

14-го числа Руссо остановил свою карету у границы земель Берна, простерся на земле и поцеловал ее, восклицая: «О Небо, покровитель добродетели, хвала тебе, я касаюсь земли свободы!» Некоторое время спустя он был дружелюбно принят Даниэлем Рогеном и его семьей, и это дружелюбие его подбодрило, как и новости, полученные из Парижа. Дюкло приготовил для него 600 ливров; д'Аламбер предлагал свои рекомендации в случае, если Жан-Жак решит устроиться где-нибудь в Германии; Куэнде сообщал, что может всё бросить и последовать за ним.

Руссо сразу написал своим покровителям. Почтительная благодарность — принцу Конти, чья записка спасла его от ареста. Несколько слов — маршалу, чтобы сообщить, что он уже в безопасности. Несколько строк с горьковатым привкусом — герцогине де Люксембург, ради которой, как он считал, пришлось пожертвовать своими принципами: «Так захотели вы, госпожа маршалыша...»

Будущее было темно, и Жан-Жак не хотел принуждать Терезу разделять с ним его изгнание. Он только передал ей свои советы на тот случай, если она все же решится последовать за ним. Женщина не колебалась. Встав в четыре часа утра, чтобы заняться сборами в дальнюю дорогу, она прежде всего написала ему, что приедет, даже если придется преодолевать моря и пропасти. У Жан-Жака выступили слезы на глазах, когда он прочел в конце письма такие строки с ее невероятной

орфографией: «Эта мае сэрца вас цалуе а не май губы. Ждита маму даехаць к вам». Они так и останутся вместе.

Но где жить? Женева могла счесть его присутствие обременительным, тем более что «Эмиль» продолжал вызывать самые разные толки: «Исповедание веры» никого не удовлетворяло полностью. Философы оценили выпад против официальных религий. Вольтер ликовал по поводу отчуждения церквей («эти пятьдесят страниц я бы отдал переплести в сафьян»), но Руссо, будучи теперь неприемлемым как для католиков, так и для протестантов, высказывал свое несогласие и с философами: он стремился возродить религиозные чувства в самый разгар борьбы философов против Церкви. Вольтер на это ворчал: «Он высказывает столько же оскорблений философам, сколько и Иисусу Христу». Дидро возражал: «За него стоят святоши. Он обязан их интересом к себе именно тому дурному, что он говорит о философам... Они надеются, что он обратится». Другие просто возмущались. Вольтер, узнав о брошенных детях Жан-Жака, писал д'Аламберу: «И это чудовище еще осмеливается рассуждать о воспитании! Он, который не захотел воспитать ни одного из своих сыновей и отдал их в детские приюты! Он покинул и детей, и нищенку, которой он их сделал!» Троншен, рассказав об этом Мульту, сделал слова Вольтера известными и в Женеве.

Женева — не Франция. В Париже парламент осудил «Эмиля» по религиозным соображениям, но «Общественный договор» читали меньше, и он отталкивал от себя, как сказано было в «Секретных записках», «научной сложностью, которая делает его непонятным большинству читателей». Однако то, что было непонятно в Париже, оказалось вполне понятным в Женеве. После 15 июня Мульту радостно возвестил: «Наши буржуа говорят, что «Общественный договор»—это арсенал свободы, и пока некоторые мечут гром и молнии, большинство торжествует». Но и он вынужден был признать: даже те, кто с удовольствием принимал политическую сторону трактата, не воспринимали его «гражданскую религию» и высказывания о «необщественной» сущности христианства. Граждане Женевы и женевские буржуа объединились по поводу политической системы Руссо, но разделились в отношении его дерзких высказываний на религиозные темы. Малый совет воспользовался этим расхождением, причем очень легко: ведь пасторы, с одной стороны, утверждают, что только, разум устанавливает догмы «естественной религии», а с, другой — считают Библию священной книгой, а ее исторические свидетельства о чудесах — доказательствами истинности христианского учения.

11 июня правительство Женевы наложило арест на «Эмиля» и «Общественный договор»; 18-го на заседании Малого совета было решено, что первый насаждает деизм, а второй — «идеи, разрушительные для всякого правительства, и особенно опасные — для нашего». Вследствие этого книги будут сожжены «как дерзкие, бесстыдные, скандальные, разрушительные для христианской религии и всех образов правления», а автор будет арестован, если ступит ногой на землю Женевы.

Следовало ожидать, что поводы к осуждению этих книг будут главным образом религиозными, и нужно было бы, конечно, сразу опровергнуть обвинения в «противообщественной направленности», недавно выдвинутые д'Аламбером. Однако на самом деле за религией скрывалось более существенное — политика. Ведь «Эмиль» был осужден везде, а «Общественный договор» — только в Женеве: значит, именно там он мог оказаться «пожароопасным». Религия оказалась лишь удобным поводом, чтобы разъединить сторонников Руссо, — и Мульту сразу ясно увидел это: «Вовсе не религиозные взгляды Руссо вызвали гонения на него в Женеве. Его преследователи совсем не были добрыми христианами, но воспользовались христианством, чтобы погубить его посредством глупой набожности некоторых христиан... «Исповедание веры викария» стало тем факелом, которым свободный народ сжег «Общественный договор».

19 июня ошеломленный Руссо узнал об осуждении своих книг и об указе взять под стражу его самого. «Как! Осужден, даже не будучи выслушан! Где обвинение? Где доказательства?» Он был настолько убежден, что его книга прямо-таки создана для его родного города, что тут же заподозрил чьи-то происки. Подозрение сразу перешло в убежденность: «Это по наущению г-на Вольтера обернули против меня Божье дело!» Не один он так думал. Но никаких доказательств вмешательства Вольтера нет, кроме того, что он якобы предлагал убежище Жан-Жаку.

Надо признать, что процедура осуждения Руссо не была обычной. Делами, касающимися религии, должна была заниматься Консистория, а не Малый совет, и некоторые ее члены высказывали свое недовольство этим. Родственники Жан-Жака безуспешно пытались получить копию решения по его делу; полтора десятка граждан, раздраженных ореолом таинственности вокруг этого дела, требовали определенного ответа: есть или нет указание о взятии Руссо под стражу? Ответа они не получили. Это были разрозненные протесты: общество еще не поняло, что возникшая проблема далеко выходила за пределы того, что было связано с личностью Руссо.

Из Франции Руссо получал утешительные известия от

высокопоставленных покровительниц — мадам де Люксембург, де Буффле, де Верделен, де Шенонсо. Мадам де Буффле продолжала говорить Жан-Жаку об Англии, где могла оказать ему гостеприимство графиня де ла Марк. Но он предпочитал оставаться в Ивердоне: здесь один честный балый^[38] обратился к сенату Берна с просьбой предоставить философу право на жительство; Надежды не оправдались. 23 июня «Бернская газета» перепечатала парижское постановление о Руссо; 1 июля Совет запретил продажу «Эмиля» и известил о том, что автору предоставлено лишь несколько дней на то, чтобы покинуть Берн. Ведь в Берне у Руссо тоже имелись непримиримые враги: набожный женевец Шарль Бонне утверждал, что «этот вызывающий гений, помешавшийся на полном равенстве и независимости... вреден для республики», а бернский ученый Альбрехт Халлер высказывался еще категоричнее: «Всякий христианский правитель должен, по распоряжению самого Господа Бога, выказать свое возмущение против такого богоотступника, каким в самом прямом смысле этого слова является г-н Жан-Жак». Бернский сенат держался того же мнения и 8 июля жестко подтвердил свое решение: Жан-Жаку на сборы давалась неделя, самое большее — две.

Извещенный об этом, Руссо отбыл 9 июля — накануне того дня, когда соответствующий указ должен был быть доставлен в Ивердон. Прошел ровно месяц, как он бежал из Парижа. Мадам Буа де Ла Тур, вдова негоцианта из Нешателя и племянница славного де Рогена, предоставила ему убежище в маленьком доме в деревушке Мотье, что в нескольких лье от Ивердона, в Валь-де-Травер: на земле Нешателя Руссо не подпадал под действие законов Берна.

Его новое жилище было очень скромным, и он надеялся, что его оставят в покое в этой затерянной деревушке. Куда ему идти, если его опять прогонят? 21 июля 1762 года он пожаловался мадам де Люксембург: он обвинял «полишинеля Вольтера и его кума Троншена» в интригах в Женеве и Берне и «другого Арлекина», — очевидно, д'Аламбера — за то, что тот проделывал то же самое в Париже. «Остается только узнать — добавлял он, — нет ли таких же марионеток в Берлине».

Руссо заговорил о Берлине, потому что область Нешателя находилась в подданстве у прусского короля, представленного здесь губернатором. Руссо не испытывал симпатии к королю Фридриху II, считая его правителем без чести и совести; король, в свою очередь, считал «Эмиля» «собранием несуразных выдумок». Тем не менее получить разрешение короля было необходимо, и Жан-Жак направил ему короткое гордое послание, ставя его в известность, что отдается под его власть. Фридрих принял на себя роль,

которая ему предлагалась, и известил своего губернатора, что благосклонно принимает Руссо — при условии, что тот воздержится от писаний «на непристойные темы, которые могут вызвать слишком бурные потрясения в ваших нешательских головах». Это его заявление едва всё не испортило: Руссо и сам дал себе обещание больше ничего не писать, но он не хотел давать таких обещаний никому другому.

Король, расположившись к нему, хотел подарить философу сто экю, или их эквивалент зерном, вином и дровами, но Руссо опять «встал в позу»: он предпочтет «жевать траву и грызть коренья, чем принять от короля кусок хлеба». Он настолько усердно отстаивал свою независимость, что даже преподавал урок королю — причем столь высокомерным тоном, что это выглядело почти смехотворно: «Вы хотите дать мне хлеба — разве нет никого другого среди ваших подданных, кто нуждался бы в нем?.. Могу ли я увидеть Фридриха Справедливого и Грозного — населившим свои земли счастливым народом, как подобает истинному отцу? И тогда Жан-Жак Руссо, враг королей, умрет от радости у подножия Вашего трона».

Менее высокомерным был его тон по отношению к Джоржу Кейту, губернатору принципата, высокому худому сутулому старику семидесяти шести лет. Он был сторонником Стюартов, свергнутых с трона, и участником восстания 1715 года; затем этот наследственный маршал Шотландии разорился, был объявлен изменником государства. Ему довелось служить в испанской армии, затем у Фридриха II, и тот вознаградил его за службу, поставив в 1754 году во главе Совета этого принципата. Антиклерикал и вольнодумец — милорд Маршал, как называл его теперь Руссо, — был образованным, терпимым и добрым, к тому же неконформистом. Эти два человека понравились друг другу с первого взгляда: Жан-Жак стал называть его отцом, а тот его — сыном. Маршал знал по собственному опыту, что значит оказаться в немилости и быть изгнанным отовсюду.

Тереза приехала к Жан-Жаку 20 июля. Он испытывал некоторые сомнения по поводу их воссоединения, потому что ему казалось, что уже некоторое время в женщине происходят какие-то перемены. Может быть, Терезе в ее 42 года тяжело было переносить воздержание, на которое он обрекал ее уже четыре года? Но она, плача, упала в его объятия. Он обеспечил ее жизнь, поместив ее небольшое состояние — три тысячи ливров — под 5 процентов в предприятия дома Буа де Ла Тур в Лионе.

Чтобы скрыть постоянные зонды и чувствовать себя непринужденно, Жан-Жак, к великому удивлению крестьян Мотье, стал носить длинную одежду в армянском стиле: эта идея пришла ему в голову еще в

Монморанси. Единственным его желанием теперь было — чтобы о нем забыли. Не терпя пустого времяпровождения, Жан-Жак принялся плести сеточки и дарить их молодым женщинам-новобрачным, которым предстояло кормить детей. Ему нравилось заниматься этой работой, сидя у порога своего дома и болтая с соседями. По вечерам часто заходила молодая Изабель д'Ивернуа, дочь генерального прокурора Нешателя, — она даже называла Руссо папой. Он любил беседовать с милордом Маршалом; совершал долгие прогулки, раскланиваясь со встречными прохожими, а вечерами ужинал с Терезой, болтая с ней обо всем и ни о чем. Наконец-то — покой...

Однако недруги не дремали. Доктор Троншен советовал Мульту, который собирался сочинить резкий пасквиль в защиту Руссо, ни во что не вмешиваться в его же собственных интересах. В Берне некий кузен Альбрехта Халлера заявлял во всеуслышание, что он предпочел бы пожать руку Картушу или Мандрену^[39], нежели этому проходимцу Руссо. Пастор Якоб Верн лил лицемерные слезы о том, что Руссо «поколебал души, утвердившиеся в вере». Оказалось, что надо было соблюдать осторожность и в этой маленькой стране, где духовенство оказалось столь мелочно-подозрительным! Так, например, еще в 1758 году пастор Петипьер, отвергавший идею о загробных страданиях, вызвал этим необычайные волнения в принципате и спустя два года был смещен со своей должности, несмотря на заступничество самого Фридриха II.

Приближался момент причастия. Руссо обратился для этого к пастору Мотье, Фредерику Гийому де Монмоллену, любезному священнослужителю, который приветливо принял его и даже одалживал свою карету Терезе, чтобы дать ей возможность съездить послушать мессу в католических владениях. Это был человек строгий, честолюбивый и в меру тщеславный. 24 августа Жан-Жак сделал ему заявление о том, что имел претензии только к Римской церкви, и просил дать ему разрешение причаститься вместе с другими прихожанами. Монмоллен согласился, и Жан-Жак с воодушевлением причастился 29-го числа. Таким образом, он получил своего рода «удостоверение христианина», которое не позволяло теперь Женеве объявить его еретиком. Вскоре, к великой радости друзей Руссо, стали ходить по рукам две сотни списков с его письма Монмоллену. В Париже, однако, это письмо не понравилось, и оно даже рассорило Жан-Жака на несколько месяцев с мадам де Буффле, которая заявила, что в письме не было необходимости. Таково же было мнение Вольтера и д'Аламбера: они увидели в этом письме лишь раболепное отречение Руссо от прежних взглядов.

Тем временем Руссо вновь принялся за писания. Он сочинил «Пигмалиона» — сказку в прозе, где ставил проблему отношений между художником и его творением: здесь обожаемая художником Галатеея оказывалась отражением его собственной души. Он начал писать продолжение «Эмиля» под названием «Эмиль и Софи, или Одинокие». Эта идея принадлежала мадам де Кроки: почему бы не провести этих молодых людей через разнообразные приключения, в которых их превосходное воспитание подвергнется испытаниям? И Руссо сочинил бурное и трагическое продолжение своего трактата — опять в виде романа в письмах: постаревший Эмиль добровольно уединяется на далеком острове и рассказывает бывшему наставнику о своих несчастьях. Софи же, в отсутствие Эмиля, в Париже под тлетворным воздействием столичной жизни изменяет мужу. Сломленный этим, Эмиль удаляется, живет трудом своих рук, затем отплывает в Неаполь и попадает в руки корсаров-берберов. Оказавшись рабом на каторге в Алжире, он поддерживает товарищей по несчастью, вдохновляет их на молчаливое сопротивление; ему удается завоевать уважение своего хозяина и даже стать доверенным лицом дея^[40].

История на этом месте прерывалась, но смысл ее был ясен: воплотив в жизнь полученное воспитание, Эмиль вернул себе самообладание и сумел обрести подлинное человеческое достоинство. Это был рассказ об испытаниях, но также — о силе духа и преодолении: даже Софи, не столько испорченная, сколько невольно вовлеченная в порок, должна была возродиться душой. Руссо предполагал написать еще одно продолжение — он говорил об этом Бернардену де Сен-Пьеру всего за неделю до своей смерти.

Продолжали приходить известия от парижских друзей, но, к сожалению, слишком редко от маршала Люксембурга. Зато слава Руссо стала причиной целого потока писем, стихов, воспоминаний, похвал, сочинений — это отняло бы у него все время, если бы он взялся отвечать на всё, что получал. И это не считая посетителей. Некоторые были желанны, как, например, добрейшая мадам Буа де Ла Тур или пасторы Рустан и Мушон в компании часовщика Бошато. Они в течение восьми дней обедали с ним и отбыли домой покоренные его живостью и веселым обращением: он даже прочел им свою красивую сказку «Своенравная королева». Бывали и другие, просто любопытные или докучливые, — таких он холодно отсылал от себя.

Одним октябрьским утром Жан-Жак получил письмо от господина Конзье, своего бывшего соседа по Шарметту. Тот сообщал ему печальную

весть: 29 июля умерла Матушка — в полной нищете. Жан-Жак ощутил острую боль, еще более усиленную угрызениями совести: он не виделся с ней после их плачевного свидания в 1754 году. Он ответил господину Конзье, жалея, что не смог приехать и оплакать вместе с ним эту добрую женщину, которая так опекала его юность...

Раньше Жан-Жак мог какое-то время не вспоминать о Матушке, но отныне ее образ постоянно присутствовал в его памяти. Да и Рэй давно уже требовал от него взяться за мемуары. Он пока еще не решался на это, но тогда же, в октябре, все-таки обратился к Мальзербу с просьбой вернуть четыре его больших январских автобиографических письма; ближайшей зимой он начал собирать письма, документы, копаться в воспоминаниях.

Настоящее, к сожалению, не предвещало ничего хорошего в будущем. Его письмо пастору Монмоллену и присоединение к местному приходу у многих вызывали недовольство. Разве не следовало господину Монмоллену потребовать от этого так называемого прихожанина официального и публичного отречения от его прежних взглядов? Жан-Жаку было известно о таких пересудах, и он начинал ворчать: «Эти люди не успокоятся, пока не вынудят меня взяться за перо, и я подозреваю, что если это случится, то над ними будет кому посмеяться». В конце концов, оставят ли его в покое? Конечно нет! Осуждения в его адрес следовали одно за другим повсюду. 9 июня «*Эмил*» был запрещен в Париже, 19-го — в Женеве, 30 июля — в Голландии; 9 сентября на него был наложен запрет; в ноябре Сорбонна устроила над ним судилище, одобренное посланием папы Климента XIII; памфлеты и пасквилы множились день ото дня. Руссо относился к этим нападкам с презрением. «Я швырнул его на землю, — сказал он мадам де Верделен по поводу письма из Сорбонны, — и плюнул на него вместо ответа». Но «*Предписание*» монсеньора Кристофа де Бомона, парижского архиепископа, от 20 августа 1762 года переполнило чашу терпения Руссо. «*Эмил*» был назван творением сатаны, кощунством и соблазном, разрушением евангельской морали. На сей раз Руссо не мог не ответить. 1 января 1763 года он направил соответствующее письмо Рэю, поручив ему опубликовать его перед Пасхой.

Уже сам заголовок задавал тон всему посланию: «*Жан-Жак Руссо, гражданин Женевы, — Кристофу де Бомону, архиепископу парижскому*». В нем Руссо перечислял свои беды и устроенные на него гонения; он обличал князя Церкви, ополчившегося на него, мирного отшельника, и вопрошал, почему «государства Европы объединились против сына часовщика». Он не уступал ни пяди в своих убеждениях об изначальной доброте человека, о более позднем преподавании основ религии, о величии

естественной религии. Это он-то безбожник?! «Монсеньор, я — христианин, искренний христианин, в соответствии с учением Евангелия. Я христианин — не как последователь церковников, а как последователь Иисуса Христа». Не уступал Руссо и по вопросу о чудесах: не отрицая их явно, он подвергал сомнению правдивость свидетельств о них и осмелился даже усомниться в чудесах самого Христа и в его Преображении — чем весьма порадовал Вольтера. Возможно, я ошибаюсь, говорил Руссо в конце своего послания, но я по крайней мере честен: «Безбожники — это те, кто присваивает себе право осуществлять Божью власть на земле и стремится открывать или закрывать Небо другим людям по своему произволу». После такого письма у архиепископа должен был быть бледный вид.

Руссо открыто выступал против католического духовенства, подчеркнуто превозносил «достойного пастора», который принял его в Мотье, и заявлял, что ему посчастливилось родиться в лоне самой разумной религии, которая только может быть. Однако он не смог удержаться и в гневном порыве бросил предупреждение и пасторам: «Если несправедливые священники, захватившие права, которых они не имеют, захотят стать судьями моей веры и будут нагло заявлять мне: отрекитесь, перекрой-тесь, объясните здесь, разоблачите там — их высокое положение не произведет на меня никакого впечатления. Они не заставят меня ни лгать, чтобы остаться «правоверным», ни говорить то, чего я не думаю, только чтобы им угодить».

Это было предупреждение тем, кто намеревался потребовать от него унижительного отречения!

Позиции сторон были ясны. Противники жаждали публичного отречения, которое оправдало бы *postfactum* осуждение Руссо Малым советом. Друзья, Делюк и другие, хотели от него письма, в котором бы Руссо показал себя христианином без всякого отречения и доказал, что Малый совет неправ. Жан-Жак тоже многого ожидал от ближайших выборов, на которых многие хотели помешать одержать победу прокурору Жану-Роберту Троншену: «Приближается критический момент, когда я смогу узнать, представляет ли собой что-нибудь Женева — для меня». Увы! Выборы состоялись 21 ноября, и Троншен на них выиграл. Оппозиция высказывалась, но недостаточно. Руссо констатировал с горечью: если четыре сотни граждан были возмущены несправедливостью, то восемь сотен других к ней приспособились. Он был не столько разъярен, сколько опечален.

Конец 1762 года был тягостным и грустным: Жан-Жак опять страдал от болезни мочевого пузыря — и так тяжело, что Монмоллен опасался за

его жизнь. Он в очередной раз составил завещание, по которому Тереза становилась единственной его наследницей. Наступление весны придало ему бодрости, но он стал подумывать, несмотря на отговоры милорда Маршала, о том, чтобы отказаться от звания «гражданин Женевы»: всё теперь зависело от того, как воспримут в Женеве *«Письмо монсеньору Бомону»*.

Были у него и возможности отвлечься от мрачных мыслей. Неизменно преданная ему Марианна де Ла Тур писала письма, которые иногда могли растрогать его, а иногда — рассердить, так как эта дама упорно требовала скорейшего ответа. Руссо пожелал узнать о ее внешности: она согласилась описать себя, указала свои стати и, после многих уверток, назвала свой возраст. Потом они ссорились — и игра начиналась сначала.

Было и другое. Однажды Жан-Жака посетил человек, которым он увлекся сразу — как некогда Баклем или Вентуром де Вильневым. Это был молодой, любезный и общительный венгерский барон Соттерн; по его словам, он служил ранее в австро-венгерской армии, но вынужден был эмигрировать, потому что был протестантом. Жан-Жака предупреждали на его счет: вдруг это шпион? Чтобы не держать про себя подобные сомнения, великодушный философ повез своего нового знакомого в Понтарлье, что на французской территории. Там он сердечно обнял его, признался в своих подозрениях и заверил в своей привязанности и доверии. Соттерн прибыл в Мотье в марте, а уехал в июле, покинув Жан-Жака в печали, так как эта короткая дружба стала много для него значить.

Однако сразу же по отъезде барона гостеприимный хозяин узнал о своем молодом друге нелестные для него вещи. Так, служанка трактира в Мотье заявила, что беременна от него. Жан-Жак обрушился на нее с обвинениями, уверяя, что такой честный молодой человек, как Соттерн, не мог польститься на эту «отвратительную свинью», «вонючую падаль, самое мерзкое чудовище, которое когда-либо порождала Швейцария». Увы, служанка говорила правду: виновник сам признался в этом на следующий год, а заодно — и в другой своей лжи. На самом деле его имя было Жан Игнаций Соттермейстер де Соттерхайм и был он сыном бургомистра Буды. Он не был бароном, бросил свою должность помощника секретаря архивов Королевской палаты в Пресбурге и к тому же соблазнил замужнюю женщину. Жан-Жак лишь слегка пожурил его. Этот мальчик, наделавший глупостей, напомнил ему неких «Дуддинга» и «Вуссора де Вильнева» его собственной юности. Соттерн умер в нищете в Страсбурге в 1767 году.

Близилось решающее испытание. *«Письмо Кристофу де Бомону»* было опубликовано в феврале 1763 года и довело до последнего градуса

кипения гнев высших кругов. Мульгу наивно воображал Жан-Жака уже оправданным и полагал, что его с почестями приняли в Женеве. Увы, отвечал ему Руссо 2 апреля: «Я вернее, чем вы, предвижу эффект этого письма». Он оплакивал тогда еще и отъезд милорда Маршала, которого называл отцом: тот отправлялся в Берлин, чтобы потом вернуться в Шотландию. Милорд беспокоился о возможных последствиях для Руссо и постарался защитить его, как мог, — выдал ему «аттестат о гражданстве», который официально делал Руссо гражданином Нешателя, так что теперь его не могли отсюда изгнать.

Жан-Жак оказался прав: его ответное послание ничего не изменило в его положении. 27 апреля французский представитель в Женеве сообщил несговорчивому философу, что его правительство неблагосклонно восприняло «Письмо» Руссо, усмотрев в нем агрессию против видного иерарха католической церкви, вновь официально признанной в Женеве. 29-го числа Малый совет запретил печатание книги. Никто не возразил против такого вмешательства в издательские дела. Чаша терпения Жан-Жака переполнилась. 12 мая 1763 года он написал синдику: «Прошу вас заявить от моего имени этому Высочайшему Совету, что я навсегда отказываюсь от звания буржуа и гражданина города Женевы и Женевской республики». Руссо нанес Женеве оскорбление на глазах у всей Европы. 19 мая Малый совет вынес соответствующее решение без всяких комментариев.

Расстроенные друзья Руссо обвиняли себя в том, что их бездействие привело его в такое безвыходное положение. Однако дело на этом не закончилось. 18 мая коммерсант Марк Шапюи бросил Жан-Жаку обвинение: он не имел права отречься от родины, тем более что все порядочные граждане в душе поддерживают его. 25 мая Делюк поддал жару: этих порядочных граждан, объяснял он Жан-Жаку, надо только немного подтолкнуть; письмо Шапюи — это шанс, который надо использовать... 26-го числа Жан-Жак ответил Шапюи. Я десять месяцев ждал от Вас, писал он, хоть какого-нибудь действия. Разве буржуазия не имеет права заявлять свои ходатайства, если она считает, что имеют место нарушения закона? «Что сделала она почти за целый год?.. Я Вам доверил свою честь, почтенный женевец, и был спокоен на этот счет, но Вы так плохо хранили это достояние, что я был вынужден у Вас его забрать».

Когда это письмо было опубликовано, «патриции» назвали его «ядом подстрекательства к мятежу». 18 июня депутация из четырех десятков граждан Женевы вручила ходатайство магистратам — это был протест против нарушений законных процедур в деле Руссо. Во-первых, в соответствии с церковными предписаниями Руссо должен был предстать

перед Консistorией. Кроме того, «*Общественный договор*» не призывает к свержению правительств, а сама книга, напечатанная за границей, не находится в юрисдикции Женевы. Наконец, если оба произведения и носят имя Руссо, его авторство не было установлено официально. Малый совет сухо отказался от принятия этого ходатайства. Мульту, опасаясь упорства Делюка и даже возможного гражданского противостояния, умолял Руссо снять с себя ответственность за происходящее. Поколебленный философ 7 июля обратился к Делюку с просьбой, чтобы подобные ходатайства более не возобновлялись. «Искреннее осуждение этого дела наиболее здоровой частью государства», сказал он, отомстило за все причиненные ему несправедливости. Но для успокоения разгоряченных умов время было упущено.

В июле и августе Жан-Жак снова страдал от приступа своей болезни — и до такой степени, что даже подумывал о самоубийстве. К тому же обстановка в Мотье стала не той, что была прежде. В деревне стали с меньшим уважением относиться к человеку, о котором пошли слухи, что он не верит в Бога, который одевается, как колдун, живет с «гувернанткой», а на самом деле сожительницей, и скомпрометировал себя дружбой с так называемым бароном Соттерном. Эти пересуды настолько выводили из себя Руссо, что он даже писал мадам Буа де Ла Тур, что считает Мотье «самым скверным и злоязычным местом из всех, где ему приходилось жить».

Подвергался он и нападкам извне. Летом 1763 года Вольтер, развлечения ради, приписал Жан-Жаку «*Катехизис честного человека*» — переделанное им самим и на свой манер «*Исповедание веры*» Руссо. Пастор Якоб Верн выдавал себя за друга Руссо, но публиковал «*Письма о христианстве Ж.-Ж. Руссо*» с целью защиты официального богословия.

В Женеве положение всё более осложнялось. 8 августа имела место вторая депутация, на сей раз из полутора сотен человек, — ее постигла судьба первой. Это была тактическая ошибка со стороны правительства. 20 августа депутация состояла уже из семи сотен человек и была более настойчивой: поскольку есть разногласия по поводу применения законов, утверждали депутаты, то они должны быть разрешены Генеральным советом, так как «только законодательная власть может выносить такие решения». 31-го числа Малый совет соизволил дать более развернутый ответ, но на уступки не пошел. Стало ясно: Малый совет является единственным хозяином в республике, а значит, и единственным судьей. Начались бесконечные дискуссии о толковании законодательных текстов, и никто из буржуа, конечно, не мог тягаться в этом с правительственными

юристами.

29 сентября новыми представителями было заявлено, что если Малый совет обладает запретительным правом, то право ходатайства становится чистой иллюзией. Уверенный в своей силе Малый совет ответил 14 октября, что его позиция остается неизменной. Дело в том, что генеральный прокурор Троншен опубликовал к тому времени свои *«Письма с равнины»*, которые сам Руссо назвал «подлинным памятником редких талантов его автора». Солидно аргументированные специалистом, они подтверждали позицию Малого совета и в частности — знаменитое запретительное право, необходимое для погашения развивающихся конфликтов. Депутаты поняли, что есть только один человек, который может совладать с Троншеном, и 30 октября Делюк уговорил Руссо взяться за это дело. Некоторое время Руссо колебался, но затем принял вызов. С конца октября 1763 года по конец мая 1764-го он работал в строгой тайне, чтобы внезапно вторгнуться своим опусом в схватку, которая должна была развернуться перед выборами в январе 1765 года.

Троншен назвал свой труд *«Письмами с равнины»*. Руссо свой — *«Письмами с горы»*. Он не уступил своих позиций ни в чем. Первые пять писем утверждали, что только Консистория компетентна в вопросах веры и игнорирование ее Малым советом является незаконным. Шестое письмо отстаивало *«Общественный договор»*, несправедливо обвиненный в анархизме. Три последних письма защищали законно избранных представителей, клеймили использование запретительного права и показывали, как исполнительная власть в течение двух веков постепенно узурпировала прерогативы законодательной власти.

В отношении собственной веры Руссо не делал ни малейшей уступки, обличая «слепой фанатизм». Возвращаясь к вопросу о чудесах, он отмечал, что сам Христос никогда не совершал их для того, чтобы доказать истинность своей миссии. «Уберите чудеса из Евангелия — и вся земля будет у ног Иисуса Христа, — писал он. — ...Это «христиане по привычке» верят в Христа из-за чудес; я же верю в него и без чудес».

Столь же резок был Руссо и в отношении политики. Откройте свои глаза, говорил он согражданам: если вы не имеете права делать заявления; если Генеральный совет, законодательная власть, является лишь тенью своей власти; если запретительное право становится правилом — тогда у вас не осталось никакой свободы перед лицом «двадцати пяти тиранов». И он подробно разбирал механизм олигархии, которая лишила общество свободы.

Ему нелегко было проделать такую работу, так как он более чем когда-

либо был обременен визитерами и корреспонденцией и с трудом урывал время для пешей прогулки с тем или иным посетителем. Письма приходили отовсюду, целыми тюками, от разных почитателей — насколько восторженных, настолько же и утомительных. Это относилось к тем только, кому он хотя бы коротко отвечал. «Мне сейчас нужно ответить на 53 письма, — вздыхал Руссо в августе 1764 года, — не считая того, что мне заказывают мемуары, как сапожнику заказывают башмаки». Одни превозносили его в самых высокопарных выражениях: этот прочел его «божественные сочинения», другой объявлял себя недостойным его, третий восклицал: «О Руссо! Мой достойный друг! Мой нежный отец!» Для других он — наставник их совести. Были и такие, как Сегье де Сен-Бриссон, военный, который заявлял, что хочет всё бросить, стать столяром, как Эмиль, и путешествовать пешком.

Кто они были — сумасшедшие? Нет, просто заблудшие, но искренние души в поисках наставника: для них, разочарованных обрядами «механической» набожности или, наоборот, опустошающим материализмом, этот человек стал надеждой, светом, спасением.

Даже если Руссо и не мог ответить всем — перо он не оставлял. Надо было откликаться на всё происходившее вокруг. Например, милорд Маршал плохо переносил климат Шотландии и не соглашался на отшельничество, предлагаемое ему Жан-Жаком: он решил окончить свои дни в Потсдаме, у Фридриха II. Герцог де Люксембург скончался 18 мая 1764 года; Жан-Жак был этим глубоко опечален и написал вдове соболезнующее письмо, но в нем больше оплакивал самого себя: «Несомненно, он забыл меня — по вашему примеру. Увы, в чем я провинился? В чем мое преступление — разве что в том, что я слишком любил вас обоих?»

Поток посетителей не иссякал: всем хотелось посмотреть на знаменитого изгнанника. Некоторые из посетителей были серьезными людьми — как, например, Даниэль Мальтус, отец знаменитого экономиста, или цюрихский пастор Лаватер, создатель физиономистики. Среди всех этих визитеров был двадцатичетырехлетний шотландец Джеймс Босуэлл, знакомый милорда Маршала, — он угодил Жан-Жаку больше других. Его простодушный апломб позабавил Руссо: с этим гостем он рассуждал, спорил, даже шутил. Они пообедали вместе в хорошем настроении.

Начиная с сентября 1762 года Руссо особенно близко сошелся с человеком, который должен был стать исполнителем его завещания. Пьер Александр Дю Пейру родился в 1729 году в Парамарибо, что в голландской Гвиане, где его дед сколотил себе состояние. Это был серьезный и важный человек, малообщительный из-за своей глухоты, которая затрудняла ему

участие в разговоре. Он был любителем искусства, имел прекрасную библиотеку, интересовался историей, политикой, философией и литературой. Его портрет, данный Руссо в «Исповеди», был набросан в тот злосчастный период времени, когда сам Жан-Жак страдал болезненной мнительностью, и поэтому он получился не совсем объективным. У этого человека был, как когда-то у Гольбаха, большой недостаток: он был слишком богат, а значит, не способен искренне любить, по убеждению Руссо. Богатым он действительно был, но Жан-Жак несправедлив к нему: никто не окажется ни более преданным ему, ни более верным его памяти, чем Дю Пейру.

Когда время и здоровье позволяли, Руссо совершал долгие прогулки по деревне. Помимо прочего они давали ему некоторую передышку от общения с Терезой, которая скучала, сплетничала и ворчала. Конечно, жизнь ее была не слишком весела — ведь гости приезжали к Жан-Жаку, а не к ней. Большую часть времени она хлопотала по хозяйству, будучи для Руссо не столько любовницей, сколько служанкой. Он же сам пускался в длительные походы в кантон Во, к озеру Нешатель, исследовал Ла Робеллас с тем большей охотой, что увлекся теперь ботаникой, которой пренебрегал прежде, во времена бедняги Клода Ане в Шамбери. Иногда он путешествовал по нескольку дней — например, в июле, когда взобрался на Шассерон. Возвращался вымокший, разбитый, но в полном восторге — он вспомнит об этом в «седьмой» из своих «Прогулок».

Руссо никогда не был богат и не хотел быть богатым. Но он был предусмотрителен и заботился о своей старости. В мае 1764 года он предложил Рэю большое издание своих сочинений за 100 луидоров и пожизненную ренту в 800 франков, которая начинала начисляться со дня подписания контракта. Для Рэя эти условия были тяжелы. Но он великодушно предлагал Руссо 800 франков пенсионера, не требуя взамен ничего, кроме дружеского отношения и тех произведений, которые Руссо захочет доверить ему в будущем. Жан-Жак отказался и предложил книгоиздателю Дюшесну свой «Музыкальный словарь», за который получил три выплаты по 1600 франков. В ноябре издатель Фош из Нешателя рассматривал вопрос об издании полного собрания сочинений за тысячу экю и 1600 ливров пожизненной ренты, но этот проект не осуществился. Будущее оставалось неясным.

В один сентябрьский день курьер принес Жан-Жаку сюрприз. В 1751 году на Корсике произошло восстание, которое освободило остров от протектората Генуи, и к власти там пришел молодой генерал Паскаль Паоли, приверженный демократическому образу правления. В своем

«Общественном договоре» Жан-Жак как раз упоминал о Корсике — как о молодом государстве, еще способном выработать достойное законодательство. И вот теперь патриот Корсики Матье Бутгафоко явился просить Руссо стать их законодателем. Руссо ответил ему с большой осторожностью, ссылаясь на свое здоровье и на то, что ему трудно будет добраться до места. Он знал, что ситуация на Корсике ненадежная: 7 августа 1764 года Франция подписала договор, признававший власть Генуи над этим островом, и направила туда экспедиционный корпус. Все же он не ответил отказом и затребовал необходимые документы. Эта новость быстро распространилась и добавила ореола его славе.

Руссо имел основания держаться настороже в этом вопросе. Во-первых, позиция Франции не обнадеживала, а во-вторых, сам Бутгафоко был аристократом и, возможно, имел какие-то личные соображения, по которым мог попытаться подтолкнуть философа на создание такой конституции, которая не соответствовала бы эгалитарным и демократическим взглядам Паоли. Жан-Жак отложил пока этот вопрос.

В середине декабря его «Письма с горы» буквально обрушились на Женеву. Город закипел — так 23-го числа отметил Вольтер. Поздравления лились потоком, но мнения были разные. «Наши люди, — писал д'Ивернуа 21 декабря, — заявляют громко, что ваша книга — это Евангелие, по которому мы должны жить; другие — что это факел свободы; иные — что это зажженная граната, брошенная в пороховой склад». В аристократической «партии отрицания», то есть в правящей олигархии, царили беспокойство и ярость. И все стороны с тревогой ждали январских выборов, на исход которых «Письма» Руссо неизбежно должны были повлиять.

Именно этот момент выбрал Вольтер, чтобы нанести Руссо ужасающий удар. В пятом из своих «Писем с горы» Руссо допустил неосторожность: упомянул Вольтера как автора «Клятвы пятидесяти». Это был чудовищно антихристианский текст, от которого Вольтер во всеуслышание отрекался. И вот теперь он поклялся, что Жан-Жак «раньше его в рай не попадет». 31 декабря в Мотье появилась брошюра в восемь страничек — «Мнение граждан». Ее автор выдавал себя за «добродетельного патриота», возмущенного поведением «мерзкого лицемера» Руссо. Руссо — фигляр, которого выпороли в Опере, непристойный романист, сумасшедший, который отправляет нас в лес питаться желудями, — и это еще полбеды. Сегодня он взялся уже за христианство, оскорбляет Иисуса Христа и готовит кровавую баню своей родине. Кто такой Руссо? «Это человек, который носит на себе зловещие

отметины своих непотребств; переодетый в шута, он таскает за собой по горам и долам несчастную женщину, мать которой он оставил умирать и детей которой он подбросил к дверям приюта». В заключение Вольтер бросил фразу с явно подстрекательскими намерениями: «Надо показать ему, что если нечестивый романист может отделаться легким наказанием, то дрянного бунтовщика надо наказать жестоко».

Жан-Жак был в полном смятении. Его позор выставлен перед всей Европой! Теперь он в глазах всех подлец, бездушное чудовище: ведь никто не знает о его самообвинениях и страданиях! Этот гнусный пасквиль Вольтера сыграл, возможно, решающую роль в его намерении взяться наконец-то за свои мемуары — чтобы объяснить перед потомками. Пока же надо было протестовать и всё отрицать! Странное дело: известно было, с какой охотой Руссо стремился увидеть повсюду «руку Вольтера», — на сей же раз он ни на минуту не заподозрил его. Он клялся, что узнал автора по его стилю: это был, несомненно, Якоб Верн. 6 января Руссо отправил Дюшесну брошюрку «*Мнение граждан*», сопроводив ее примечаниями и предисловием, в котором обвинял пастора.

По поводу откровенной клеветы достаточно было просто сказать правду: у него никогда не было венерических болезней, и мать Терезы была жива. Но как быть с остальным? «Я никогда не выставял и не заставлял выставял ребенка к дверям приюта, ни куда-либо еще». Жан-Жак лгал, однако если рассматривать это высказывание буквально — он сказал правду. Он действительно *не выставял детей* — но только в прямом смысле этого слова. Конечно, это попахивало иезуитством, особенно в устах человека, девизом которого была жизнь по правде — «*Vitam impendere vero*». Но в тот момент он оправдывался, как мог.

Вольтер на этом не успокоился. 27 декабря, почувствовав неуверенность Малого совета, он направил в его адрес тайное послание, в котором подсказывал линию поведения правительству. Не стесняясь урезать и подгонять фразы из текста, он составил на основе «*Писем с горы*» список высказываний Руссо, которые можно было расценить как богохульные. Он подстрекал Малый совет к жесткому преследованию «безбожного бунтовщика», требовал положить конец «дерзости предателя»: если вы хотите заткнуть рты всем этим буржуа — раздавите Руссо.

Последствия оказались печальными. На выборах 6 января 1765 года кандидатуры Малого совета прошли, но с таким малым преимуществом, что правительство почувствовало опасность. И тогда оно пошло на риск: если граждане и буржуа не выказывают им доверия, то магистраты подадут в отставку «всем блоком», оставив государство «без руля и ветрил».

Эта тактика вызвала раскол в рядах оппозиции. Кем заменить магистратов? Традиционалистски настроенные буржуа хотели реформ, но не хотели революции. Растерявшись, они предпочли компромисс: 1100 граждан пришли засвидетельствовать магистратам свое доверие, но при этом поддержали и свои ходатайства. Руссо понял, что на большее они не решатся. И ради этих людей он себя скомпрометировал!.. Он оказался прав. Почувствовав нерешительность своих противников, Малый совет опубликовал 12 февраля декларацию. «Искренний порыв граждан» был, конечно, принят ими во внимание, но ходатайства при этом совершенно игнорировались — зато торжественно бичевались «*Письма с горы*» Руссо. Волнения утихли не сразу, и Малый совет был вынужден в январе 1766 года обратиться за помощью к государствам-гарантам для восстановления порядка в своем неуправляемом государстве. Но «дело Руссо» более не рассматривалось: никто не выразил протеста против него.

Это долгое бесплодное сражение истощило силы философа. 24 февраля он окончательно объявил сыну старого Делюка: «Я не хочу более ничего слышать о Женеве и о том, что в ней происходит. На этом наша переписка заканчивается. Я всегда буду любить Вас, но писать Вам больше не буду».

И СНОВА БЕЖАТЬ

Книги, памфлеты, пасквили хлынули потоком в первые месяцы 1765 года, но «*Письма с горы*» наделали шума только в Женеве. Аббат де Мабли называл Руссо опасным подстрекателем; Гримм называл «*Письма*» шедевром «бессмыслицы, неверия, безумия и жестокости»; Дэвид Юм, тогдашний первый секретарь посольства Англии в Париже, осуждал «бунтарские намерения» Руссо, который якобы пытался развязать гражданскую войну в мирном государстве.

21 января «*Письма*» были сожжены в Гааге, 23-го запрещены в Берне, а 19 марта опять-таки сожжены, уже в Париже. Руссо задумался о том, чтобы покинуть Мотье. Можно было отправиться в Англию или лучше — в Италию, чей мягкий климат подходил ему больше. Он еще пребывал в нерешительности, но вскоре его вынудили принять решение.

Противники Руссо не отказались от стремления вовлечь и Монмоллена в «доброе дело», а почтенная компания пасторов Нешателя пребывала в волнении и требовала запрета на продажу «*Писем*», а также отказа от издательского проекта Фоша. Государственный совет, впрочем, не имел единого мнения по «делу Руссо», так как в нем заседали несколько его друзей — они хотя и были в меньшинстве, но обратились даже с петицией к Фридриху II.

Жан-Жак предчувствовал: дело обернется плохо. Конечно, его нельзя выдворить, потому что он пользуется покровительством короля и обладает «удостоверением гражданства». Но можно расправиться с ним и иначе — достаточно отлучить его от церкви. У Руссо случались и приступы ярости: «Пусть только ваши идиоты церковники заявятся ко мне с их отлучением, и я обещаю, что заткну им его. обратно в глотки, так что оно надолго отобьет у них охоту кудахтать». Он то загорался решимостью, то впадал в отчаяние.

8 марта 1765 года Жан-Жака посетил Монмоллен, понимавший, что тогда, в 1762 году, он слишком легко отнесся к заявлениям Руссо в связи с его обращением. Приближалось время очередного причастия — так не лучше ли было бы для всех, чтобы Руссо воздержался... Руссо наотрез отказался. Он хотел полной ясности в своем положении: быть, как он говорил, «внутри или снаружи, в мире или в войне, овцой или волком». На худой конец, он мог пообещать ничего более не писать по религиозным вопросам. Почтенная компания пасторов собралась 12 и 13 марта и сочла это обещание Руссо недостаточным: либо полный отказ от своих прежних

воззрений, либо отлучение от церкви. Ему назначено было явиться «на суд» 29 марта. Теперь уже сам Монмоллен пытался добиться отлучения и дошел до того, что присвоил себе два голоса и заставил голосовать и своего дьякона. Но собрание так ничего и не решило, причем четверо из шести старейшин даже заявили протест Государственному совету. Сверх того, хотя Фридрих II и согласился на запрет издания, предполагавшегося Фошем, но воспротивился нападкам. «*Письма с горы*» и любым мерам, направленным против автора. Наступила передышка.

Куда же отправиться? Англия далеко. Савойя времен его молодости устроила бы его, но милорд Маршал сообщил ему, что в Турине на Руссо поглядывают косо. Вена? Тоже нет: герцог Вюртембергский говорил, что церковники имеют там большую силу. Барон де Монфокон был готов принять его — но при условии, что парламент Тулузы (тот самый, что осудил Каласа) будет согласен. Итак, оставались Пруссия, Венеция или Корсика.

Наступили теплые дни, и Руссо решил отложить на время свои заботы. Он вновь пустился в «ботанические путешествия», ощутив под ласковым солнцем прилив сил; Улегшись на траву на природе и раскрыв толстый том Линнея, он изучал цветы и растения. Купил книги, микроскоп, краски для раскрашивания иллюстраций. Ботаника утешала его «сердце, сжатое тоской», приближала к природе и ее Творцу.

В феврале 1765 года корсиканец Буттафоко вернул Руссо к поставленной прежде проблеме. Он послал философу бумаги, в которых развивал собственные идеи — в частности, о восстановлении привилегий аристократии. Жан-Жак выразил ему свое недовольство: «Из того немногого, что я прочел в Ваших заметках, я понял, что мои идеи разительно отличаются от тех, что бытуют в Вашем народе. План, который я мог бы Вам предложить, будет иметь много недовольных, и, возможно, в первую очередь — Вас самого». И все же Руссо разработал «*Проект конституции для Корсики*», но ни Буттафоко, ни Паоли никогда о нем не узнали.

Принципы, на которых была основана эта конституция, представляли собой применение к корсиканской действительности всё того же «*Общественного договора*». Корсика, писал Руссо, должна прежде всего позаботиться о сохранении своей независимости. Она должна ограничить торговый обмен и оборот денег в пользу развития собственного сельского хозяйства, которое является не столько способом производства, сколько образом жизни демократической республики. В ней не должно быть аристократии, и даже приобретенные заслугами звания не должны

передаваться по наследству. Важнее всего — укрепить гражданский дух, воспитать глубокое чувство родины. Нужно быть старше двадцати лет и женатым, чтобы получить звание патриота; иметь двоих детей и надел земли — чтобы иметь звание гражданина. Насколько возможно, обмен должен быть натуральным, а законами против роскоши будут запрещены излишества и искусства для развлечения. Природные ресурсы — соляные шахты, медные и железные рудники — будут разрабатываться только в районах, наименее пригодных для земледелия. Частная собственность будет ограничена законом, а государственные земли будут обрабатываться назначенными для этого бригадами.

Руссо изучил нужные документы и принимал во внимание конкретную действительность острова, его сельские традиции и бедность жителей. Он понимал, что «искусство управления — это умение применяться ко времени, месту и обстоятельствам». Он верил в необходимость, прежде всего, развития ментальности народа, которая только и может обеспечить жизнеспособность политических и экономических условий; способность к коллективному существованию предполагает преобразование изолированного индивида в гражданина общества. Все это, конечно, не имело никаких шансов прийтись по вкусу господину Буттафоко. Руссо все же подумывал о том, чтобы перебраться на Корсику, но его предупредили, что там у него не будет никаких бытовых условий и он должен будет везти туда всё, вплоть до кухонной утвари. Что до его «*Проекта конституции*», то проект этот вскоре потерял всякий смысл: в 1768 году по Версальскому договору Корсика отошла во владение Франции — как раз вовремя, чтобы родившийся там некто Наполеон Бонапарт мог считаться французом.

Между тем в Мотье атмосфера сгущалась. Монмоллен усиленно обрабатывал умы местных жителей, обличая с кафедры своего неисправимого прихожанина. Чтобы произвести впечатление на неискушенные души, он дошел до заявлений, что Руссо — это сам антихрист во плоти и что он якобы утверждает в своих книгах, будто у женщин нет души.

Положение становилось опасным. Один из друзей Жан-Жака уверял, что он может обосноваться на острове Сен-Пьер. После того как в 1762 году ему было запрещено пребывание на территории Берна, официальное разрешение не могло, конечно, быть получено, но местные власти готовы были закрыть на это глаза. В конце августа ему доставил большое удовольствие визит мадам де Верделен, его соседки по Монморанси. Эта его приятельница провела в Мотье два-три дня. Как и мадам де Буффле или милорд Маршал, она полагала, что лучше всего Руссо будет в Англии. Как

раз во время ее визита события стали ускоренно развиваться. Уже несколько недель встречные люди обругивали проходящего мимо них «безбожника»; случалось даже, камень пролетал и падал к его ногам. В воскресенье 1 сентября пастор Монмоллен в очередной раз метал громы и молнии: Господь ненавидит, утверждал он, того, кто приближается к Святому престолу, не будучи этого достоин. Этим он подлил, масла в огонь, и враждебные выпады усилились — мадам. де Верделен была тому свидетелем. Пропала скамейка, стоявшая перед домом Руссо; перед его дверью поставили две бороны с огромным еле держащимся камнем на них. В ночь с воскресенья на понедельник в его окна бросали камни. Во вторник 3-го числа ему довелось выслушать оскорбления от косцов, которые грозились застрелить его. Пятница 6-го (это был ярмарочный день в Мотье) стала решающим днем. Посреди ночи Руссо был разбужен градом камней, один из которых разбил окно в кухне и упал прямо у его кровати. Двери были разбиты, и галерея усеяна крупными булыжниками. От угроз явно переходили к настоящим покушениям, и перед его окнами был выставлен пост охраны. Расследование, само собой разумеется, не дало никаких результатов.

Надо было уезжать не откладывая, что Руссо и сделал 8 сентября. 10-го или 11-го он причалил к острову Сен-Пьер. Тереза оставалась в Мотье под охраной вооруженного стражника, а затем отправилась искать убежища у Дю Пейру.

И на этот раз Жан-Жаку подумалось, что он попал на землю обетованную. Сен-Пьер оказался приветливым островком посреди Бьенского озера — с его лугами и огородами, соснами, березами и виноградниками. Немного южнее находился еще один остров, поменьше, неводеланный и необитаемый, но покрытый чудесной мягкой травкой. Жан-Жак поселился в единственном здесь доме — у приемщика Энжеля; тот уступил ему просторную мансарду с паркетным полом, фаянсовой печью и кое-какой мебелью. Здесь Руссо нашел желанное уединение, так как народ появлялся на острове только на время сбора винограда. Здесь его навещали простые люди, которые раньше никогда о нем не слышали. Тереза присоединилась к нему в конце месяца.

Вставая вместе с солнцем, Жан-Жак вел именно такую жизнь, которая более всего была ему по душе. Прошептав молитву Творцу, он небрежно набрасывал несколько писем, открывал без особого интереса одну-другую книгу — и затем уходил в луга или в леса. Без спешки и без всякой системы он собирал травы — «жевал сено наугад», мечтая о большой коллекции, перепись которой он собирался произвести в своей «*Flora petrinsularis*»

(«Флоре острова Сен-Пьер»).

После обеда, используя теплые осенние дни, Жан-Жак садился в лодку и там, на водном просторе, отдавался свободному покачиванию волн. Он наслаждался счастьем просто жить, наблюдать движение облаков, без всяких раздумий и тревог, подчиняясь медленному ритму глубинных движений водной массы, созвучному движениям его души, — до полного блаженства, которое он опишет в «пятой» из своих *«Прогулок»*. Его преследователи были далеко, и для него время растворялось в вечном настоящем без забот о будущем. Когда его пес Султан начинал лаять, Жан-Жак причаливал к маленькому соседнему островку, чтобы пес мог порезвиться там, пока он сам отдыхал, простершись на траве. Или же, если волнение на озере было слишком сильным, он любил посидеть на песчаном берегу, созерцая волны, подкатывавшиеся к его ногам, — они навевали ему образ вечной зыбкости нашего мира.

Жан-Жак любил уединяться, но при этом вовсе не дичился людей. Ему нравилось бывать в компании своих хозяев, случалось катать на лодке Терезу, жену приемщика и ее сестер. Однажды они торжественно выпустили на маленький остров несколько пар кроликов. По вечерам Жан-Жак ужинал с приемщиком и его домашними. Вот так хотелось бы, вспоминал он в своей *«Исповеди»*, жить всегда. Если меня оставят в покое, записал он 1 октября, «я решил остаться на этом острове и закончить здесь свои дни и свои горести».

Но разве могли оставить в покое этого возмутителя спокойствия? 10 октября Секретный совет Берна потребовал от бальи Нидо издать приказ об изгнании Руссо. Жан-Жак, ссылаясь на приближение холодов, на свои болезни, просил, чтобы ему дали хотя бы две-три недели. Потом ему пришла в голову безумная идея. 20 октября он обратился к бальи — порядочному человеку, который старался выпросить для него отсрочку: он не знает, куда ему податься, а потому просит поместить его в заключение; он сам будет себя обеспечивать, ничего не будет писать, не будет общаться с внешним миром. Ему нужно будет лишь иметь несколько книг и возможность иногда совершать прогулку по саду. Это было предложение одновременно абсурдное и трагическое. 21 октября Берн дал ему пять дней на сборы и потребовал окончательно покинуть подвластную ему территорию.

Руссо попросил дю Пейру позаботиться о его бумагах, особенно о первой части *«Исповеди»*, которую он начал писать еще в Мотье. Теперь он намерен был податься в Берлин, где собирался провести зиму рядом с милордом Маршалом, а потом отплыть в Англию. 25-го он покинул остров,

снова не взяв Терезу с собой. Первая его остановка была в Бьенне, маленьком городке, подчиненном Балю. На следующий же день ему дали понять, что власти городка не имеют никакого желания из-за него навлечь на себя неудовольствие Берна. 30-го числа, больной и «со смертельной тоской в сердце», Руссо прибыл в Баль, а на следующий день отправился оттуда в Страсбург, куда и прибыл 2 ноября совершенно измученный и не будучи в состоянии двигаться дальше. Он не знал, как быть: ехать ли в Берлин, остановиться в Готе, присоединиться к Рэю в Амстердаме или сразу отправиться в Англию проездом через Париж?

И вдруг всё стало образовываться само собой. Страсбург устроил Жан-Жаку хороший прием, который его подбодрил. 22 ноября Дэвид Юм прислал ему дружеское письмо, и все стали уговаривать его отправиться в Англию. 30 ноября он сообщил Юму, что поедет — хотя бы для того, «чтобы обнять его». 9 декабря он был уже по дороге в Париж.

Спустя четыре дня по прибытии Руссо в Париж принц Конти поместил его в отеле Сен-Симон в районе Тампля, где сам принц пользовался привилегией экстерриториальности^[41]. Здесь ему был устроен пышный прием. Впрочем, гостеприимство Конти не было таким уж бескорыстным. На первый взгляд это было довольно странно — так открыто выставлять напоказ изгнанника. Но принцу это было нужно для того, чтобы подтвердить неизменность своего особого права давать убежище на этой ограниченной территории любому человеку — и в то же время иметь Жан-Жака под присмотром, если бы тому вдруг пришла в голову несуразная мысль сдать власть.

Руссо встретился и с Дэвидом Юмом. Этому философу-шотландцу было 54 года, и он хорошо знал Францию, где с 1763 года служил секретарем посольства в Париже. Он был автором серьезного труда *«Исследование человеческого разума»*, а также имел репутацию превосходного экономиста и историка и потому вскоре стал завсегдатаем салонов. Он очень хотел угодить мадам де Буффле, да и сам был под впечатлением исключительной известности Руссо; Жан-Жак же, со своей стороны благоприятно настроенный милордом Маршалом, заранее испытывал к Юму добрые чувства. Однако оба они шли на сближение, толком не зная друг друга. Из произведений своего будущего товарища Руссо был знаком только с *«Историей дома Стюартов»*, Он считал Юма «душой вполне республиканской», тогда как в действительности этот шотландец и в философии, и в политике был очень далек — «в ста лье» — от него. Юм был эмпириком, скептиком, позитивистом и даже слыл атеистом.

Эти два человека сильно различались и характерами. Жан-Жак, с его сверхчувствительностью, склонностью к уединению, требовательностью, впадением в крайности, готов был сразу «броситься в объятия». Юм же, полный, с тяжелыми веками, — был типичным флегматиком, при этом очень общительным. К тому же Юм был знаком со всеми парижскими философами, а те настраивали его против Жан-Жака. Юм пока не принимал этого во внимание: он собирался общаться с Руссо лишь для того, чтобы помочь ему обрести убежище в Англии.

Тем временем перед дверью Жан-Жака толпились люди, жаждущие аудиенции, и он принимал их, как и положено знаменитости: с девяти утра до полудня и с шести до девяти вечера. Он даже согласился позировать скульптору Лемуану. К Жан-Жаку также явился с визитом Мальзерб, чтобы признать свою частичную ответственность за проблему с «Эмилем», и Руссо потребовал у него расписку в том, что книга была напечатана в Париже без его ведома.

Дней через десять, однако, Руссо решил, что с него хватит этой светской жизни. Его не заботило то, что кто-то может сильно огорчиться, зная, что Руссо здесь, поблизости, но при этом недоступен. Так, Дидро с грустью писал Софи Воллан 20 декабря: «Руссо уже три дня в Париже. Я не надеюсь на его визит, но не буду скрывать от Вас, что он доставил бы мне большое удовольствие». Значит, он помнил о своем старом друге?

Но тут произошел неприятный случай, который имел весьма тяжелые последствия. Гораций Уолпол^[42], английский романист, живший тогда в Париже, вздумал позабавиться и пофантазировать, что мог бы сказать Фридрих II Жан-Жаку, если бы тот захотел отправиться в Потсдам. «Вы изгнаны отовсюду, но Вы — забавный сумасшедший, и я желаю Вам столько добра, сколько Вы сами позволяете себе его иметь. Если Вы будете продолжать ломать себе голову над тем, как бы занять новые несчастья, — выберите те, что Вам по вкусу. Я король, и я могу обеспечить их Вам по Вашему желанию; но то, чего не могут сделать для Вас Ваши недруги, могу сделать я: сразу прекращу Вас преследовать, когда Вы перестанете использовать Вашу славу для того, чтобы быть преследуемым». Эта остроумная проделка получила широкую известность в салонах, где над ней много смеялись. Жан-Жаку это злосчастное «письмо» причинит впоследствии много страданий.

Руссо покинул Париж с тоской в душе. На этот раз, думал он, — навсегда. «Я уезжаю, — написал он 3 января мадам де Креки, — в жестокой уверенности, что больше Вас не увижу». 4 января 1766 года в 11 часов утра Руссо сел в карету с Дэвидом Юмом и господином де Люзом,

нешательским негодантом.

В ЗАПАДНЕ

В первую же ночь в Санлисе произошло нечто странное. Путешественникам досталась одна комната на троих. Де Люз и Юм сразу заснули, а Жан-Жаку не спалось. Внезапно (как рассказывал об этом Руссо мадам де Верделен, Мальзербу и самому Юму) Юм заговорил во сне и четко произнес: «Я держу Жан-Жака». Руссо сначала оцепенел от ужаса, а потом постарался себя успокоить: это означает, подумал он, что его друг счастлив иметь его возле себя. Несколько месяцев спустя он будет думать иначе: оказывается, уже тогда предатель радовался тому, что заманил его в ловушку. Насмешник Юм отговорился тогда тем, что сам не знает, видит ли он сны по-английски или по-французски. Но всё могло объясняться и проще: этот голос Жан-Жак мог услышать в своем собственном сне — сне человека, уже несколько месяцев жившего в состоянии постоянной тревоги.

8 января прибыли в Кале. Там пришлось пережидать два дня, так как море было беспокойно. Юм воспользовался беспокойным состоянием Жан-Жака и предложил выхлопотать для него пенсию у короля Георга III. Это предложение Руссо не понравилось, но он подсчитал свои ресурсы: у него оставалось около шести тысяч ливров, которые нельзя было растянуть навечно. И все же Жан-Жак чувствовал себя очень неловко: одержимый идеей независимости, он не желал ни помощи меценатов, ни королевских милостей.

Вечером 10 января они наконец отплыли, хотя погода по-прежнему была отвратительной. Однако Жан-Жак — больной, чуть ли не калека! — не почувствовал даже признаков морской болезни. 13-го они добрались до одного из друзей Юма, у которого остановились на две недели. Британские газеты тут же раструбили о приезде Руссо, и он понял, что посетителей ему не избежать. Так и вышло. Среди визитеров были даже герцог Йоркский и свояк короля собственной персоной. Знаменитый актер Гаррик пригласил его на праздничное представление в Друри-Лейн, где должна была присутствовать королевская чета. Жан-Жак едва было не отказался от приглашения, чтобы не оставлять в одиночестве бедного Султана. «Славного Дэвида» все расхваливали за великодушие и преданность.

Как всегда, Руссо мечтал о тихой сельской местности. Но Юм беспокоился о нем: Руссо мог, конечно, с грехом пополам разобрать письмо или газетную статью, — но как он будет обходиться без языка в

повседневной жизни? Ему предлагали остров Уайт, Корнуолл, окрестности Плимута или область Галль. Юм качал головой: все это — забытые Богом дыры! Пока же Жан-Жак квартировал в Чи-свике у одного бакалейщика. Юм делал все возможное, чтобы угодить Руссо, и два философа прекрасно ладили. «Этот достойный человек, — писал Жан-Жак мадам де Верделен, — навсегда заслужил благословение моего сердца». Шотландец говорил то же самое: «Я мог бы провести всю жизнь в его обществе — и ни разу с ним не поссориться».

Ожидался приезд Терезы. В Париже она встретила того симпатичного молодого Джеймса Босуэлла, который навещал Руссо в Мотье, а теперь возвращался в Англию. Они отправились вместе 30 января. Джеймс вбил себе в голову, что должен соблазнить эту женщину, хотя она была далеко не красавица и лет на двадцать старше его. Тереза, давно жившая в воздержании, не заставила себя долго упрашивать. На вторую ночь она пригласила шотландца к себе. Вдохновенный Босуэлл осушил целую бутылку вина, чтобы придать себе куража, и все же потерпел то, что позднее Стендаль назовет «фиаско». Тереза взяла на себя труд подбодрить его, и Босуэлл наконец исполнил свой долг, но в ответ услышал, что он, конечно, крепкий молодой человек, но без особых умений! По прибытии в Дувр Босуэлл записал в своем дневнике: «Вчера был в постели рано утром и сделал еще раз; всего тринадцать раз»^[43]. Тереза, чтобы предупредить нескромные разговоры на этот счет, сама пожаловалась Жан-Жаку на ухаживания своего неожиданного кавалера. Поэтому Руссо 4 августа послал ему очень сухую записку, в которой советовал почаще делать себе кровопускания для охлаждения пыла.

В Англии Руссо был принят с восторгом. Один из друзей Юма, художник Алан Рамсей, изобразил его в костюме и колпаке армянина. Однажды Руссо скажет по поводу этого портрета, что художник нарочно придал ему «вид ужасного Циклопа», отчего он сделался похож на мошенника. У Рамсея Жан-Жак познакомился с Ричардом Дэвенпортом, богатым домовладельцем, который предложил ему апартаменты в своем доме в Уоттон-холле, что в Стаффордшире, в пятидесяти лье от Лондона. А вдобавок — 30 ливров пенсии и полный комфорт, так как в доме находилось большое количество домашней прислуги.

Тем временем тучи над Жан-Жаком начинали сгущаться. Он продолжал оставаться подозрительным, многие мелочи стали вызывать у него беспокойство. В январе Юм сообщил ему о хождении в Париже так называемого «письма прусского короля». 9 марта Дю Пейру прислал ему копию, указав, что автором письма был Уолпол. Значит, Юм знал Уолпола?

Юм ответил уклончиво. Конечно, он не имел никакого отношения к этому издевательству, но еще в январе знал о письме. Почему бы ему честно не признаться в этом? Конечно, это непросто, когда имеешь дело с таким мнительным человеком, как Жан-Жак, — тем более что для Юма это означало бы признаться в своих связях с врагами Руссо. И все же его молчание вызвало у Жан-Жака подозрения.

Это было еще не всё. Он спросил у Юма, не знает ли тот надежного человека, которого можно было бы попросить привезти из Парижа его бумаги, — и тот назвал Уолпола! В представлении Жан-Жака это совпадение приобрело угрожающие размеры; затем он узнал, что Юм снимает жилье в одном доме с сыном доктора Трошена — одного из его заклятых врагов. И зачем Юм старается держать его вблизи от Лондона? Юм занимается его почтой, и письма Руссо задерживаются в пути, а те, которые он получает, бывают распечатаны. Почему друзья Юма, которые сначала были такими приветливыми, сейчас косятся на него? Почему газеты, сначала так дружелюбно настроенные, сменили тон, и почему Юм ничего не делает, чтобы прекратить пересуды? Последний инцидент убедил Жан-Жака, что он не ошибается в своих подозрениях.

18 марта 1766 года Руссо и Тереза покинули Чисвик и выехали в Лондон. Там они должны были провести ночь у Юма, прежде чем отправиться в Стаффордшир. Жан-Жаку кажется, что здесь на него почему-то дуются, с трудом принуждают себя к вежливости, а Терезу и вовсе «загнали в какую-то конуру». Еще одна неприятность. Чтобы избавить его от лишних расходов, Дэвенпорт предупредил Жан-Жака, что он может воспользоваться экипажем, который возвращается порожним в Вуттон, и Юм поддержал эту маленькую дружескую ложь; это рассердило Руссо, болезненно воспринимавшего даже намеки на милостыню. К тому же перед обедом Руссо закончил письмо для мадам Шенонсо, и Юм поторопился запечатать его, затем передал слуге и сразу же вышел вслед за ним — явно чтобы перехватить письмо. Кризис назрел — и он случился в тот же вечер.

По версии шотландца, Руссо упрекнул его за маленькую хитрость с «обратным экипажем» и затем замолчал насупившись. Через час он бросился к нему плача и прося прощения за свои подозрения. Юм был в полном недоумении. «Я поцеловал его и двадцать раз прижал к груди», — записал он 25 марта. Туже сцену описал Руссо, но совсем по-другому. Так, оставшись наедине с Юмом, он был сначала удивлен, а затем напуган его «сухим, горящим, насмешливым и продолжительным взглядом». Они не обменялись ни единым словом ни об обратном экипаже, ни о

«перехваченном» письме. Вне себя, Руссо бросился к ногам Юма, рыдая и крича: «Нет, нет! Дэвид Юм не может быть предателем! Если бы он не был лучшим из людей, это означало бы, что он худший из них!» Что же делает Юм? «В ответ он вежливо обнимает меня и, похлопывая по спине, повторяет спокойным голосом: «Ну-ну, дорогой мой месье! Ну же, дорогой месье! Что с вами, дорогой месье?» В таком изображении этой сцены можно разглядеть предательство. Это та же сцена, но понятая совсем иначе. Юм, который не подозревал об опасениях Жан-Жака насчет письма мадам Шенонсо, говорит только об экипаже. Руссо же не упоминает о таком пустяке, как экипаж, и рассматривает всю эту сцену в свете гораздо более серьезных подозрений. Был ли при этом Юм смущен, холоден? В любом случае, можно понять его удивление. В тот вечер между ними не состоялось никакого объяснения.

22 марта Руссо прибыл в Вуттон, и это место ему понравилось. В доме было немало слуг, среди которых была и девятилетняя кормилица Дэвенпорта, сразу же не понравившаяся Терезе. Однако никто здесь не знал французского. Жан-Жак мог выговорить от силы три десятка английских слов, а Тереза и вовсе объяснялась знаками — с таким набором средств вволю не поболтаешь. 29-го Руссо написал Куэнде, что у него начинается новая жизнь. Но уже в письме к Ивернуа 31-го числа он высказал свои подозрения по поводу Юма, связанные с парижскими врагами и сыном Троншена. В апреле у него появились и другие причины для беспокойства и раздражения. «Saint James's Chronicles» опубликовала на двух языках злополучное «письмо прусского короля». На Жан-Жака сошло озарение: письмо написано д'Аламбером, другом Юма, — он узнал его стиль, он уверен в этом, «как если бы сам видел его пишущим». Руссо выразил протест, но этим только подогрел ретивость журналистов. 24-го та же газета опубликовала, и опять на двух языках, сатирическую сказку «Шарлатан, который сбывал свои пилюли»: герой сказки заставлял людей глотать пилюли до тех пор, пока они не пресытились ими и не прогнали его отовсюду.

Постепенно у Руссо стало складываться убеждение, что его позвали в Англию, чтобы погубить. Ему становилось страшно в этом уединении, где он ни с кем не мог поговорить. Тереза, которая тоже скучала, не могла его утешить. Еще один «подарок» последовал в апреле: Вольтер издал «Письмо доктору Жан-Жаку Пансофу», то есть «доктору Всезнайке», которое опять нашпиговал сарказмами против произведений Руссо: ему предсказывалось прекрасное будущее пророка в некоей стране, где он сможет проповедовать сколько ему вздумается. Жан-Жак сделал вид, что не обратил на это письмо

внимания, но записал: «Вольтер с адской жестокостью прилагает все свои старания к тому, чтобы навлечь на себя ненависть нации». Он чувствовал себя подавленным в этих сумерках неизвестности, так как умел сражаться только при ясном свете дня: для него всё начиналось опять, как тогда, в 1761-м, когда он боялся, что «Эмиль» попадет в руки иезуитов. «Зреет заговор» с помощью Юма, уверяет он Дю Пейру: «Я считаю триумвират Вольтера, д'Аламбера и его — очевидным. Я не постигаю до конца их плана, но они точно имеют таковой». Его друзья — мадам де Верделен, Дю Пейру, милорд Маршал — призывали его к спокойствию, к рассудительности, но было уже поздно. 10 мая, как это было уже однажды, Руссо излил душу Мальзербу: рассказал всё, что знал, о чем подозревал, в том числе о пресловутом ночном крике Юма в Санлисе — словом, о явном и бесспорном, на его взгляд, заговоре.

Тем временем Юм продвигал дело с королевским пенсионом. Король был согласен — при условии, что его великодушие останется в тайне. Руссо был с этим вполне согласен. 3 мая Юм предложил ему сообщить министру генералу Конвэю о своей «благодарности за доброту Его величества». Но это предложение попало, что называется, под горячую руку. Пенсион, и ранее стеснявший Жан-Жака, стал теперь восприниматься им как ловушка: либо он принимает его из рук предателя и этим бесчестит себя, либо он отказывается от пенсиона и предстает неблагодарным чудовищем. 12 мая Руссо написал министру Конвэю невразумительное письмо, в котором, не отказываясь от пенсиона, просил время на раздумье. Юм и Конвэй оказались в затруднении. Они предположили, что Жан-Жака смутило условие секретности. Что ж, пусть не будет секретности — и министр, и сам король пошли на это. 19-го числа Юм сообщил об этом Руссо. Но только, предупредил он, чтобы не было никакого повторного отказа! В ответ Жан-Жак взорвался. «Я Вас знаю, и Вы тоже об этом знаете...» — писал он 23-го числа. Руссо уверен: Юм и его сообщники заманили его в Англию, чтобы предать и погубить. Ничто теперь не могло отвлечь его от этой мысли: ни наступление теплых дней, ни дружеские визиты Дэвенпорта или Мальтуса. В его мозгу, расстроенном годами напряжения и одиночества, механизм мнительности продолжал неуклонно набирать обороты. Бесполезно было говорить ему о недоразумениях, совпадениях: в бреду подозрений всякая мелочь приобретала особый смысл, одно увязывалось с другим.

Когда Юм получил это письмо Жан-Жака, он сначала был ошеломлен, а потом тоже взорвался: потребовал, чтобы Руссо представил ему факты в доказательство своих подозрений. 10 июля Руссо отправил ему десять

страниц ин-фолио, в которых выложил всё, что пережевывал в себе в течение трех месяцев. Он сводил на нет все благодеяния и помощь шотландца; проклинал пенсион, предложенный якобы для того, чтобы его опозорить; опять вспоминал хитрость с экипажем; возвращался к достопамятной ночи 18 марта. Во всем этом не было ни тени доказательств, а лишь подозрения и бредовые истолкования — велеречивые заявления человека, измученного собственными кошмарами. «Если Вы невиновны, — писал он в заключение, — соблаговолите оправдаться, если же нет — прощайте навсегда».

Если бы Юм дождался этого ответа, где явно просматривалось помутнение рассудка, — драмы можно было бы избежать. Но он, ничего не понимая в состоянии Руссо, прислушался лишь к собственному гневу. 27 июня, а потом 1 июля он написал Гольбаху столь яростные письма, что тот счел разумным уничтожить их, чтобы не компрометировать несдержанного шотландца. Юм решил собрать целое досье и опубликовать отчет обо всем этом деле.

В Париже Гольбах тоже не сумел удержать язык за зубами. В большинстве случаев реакция была враждебной по отношению к Руссо, особенно в среде философов и в политических кругах Женевы. Бонне и Троншен злорадствовали: вот, мол, еще одно доказательство того, что «этот человек» сеет за собой только несчастья. Среди друзей Руссо царило уныние. «Все, кто хочет видеть в нем сумасшедшего, — писала мадам де Верделен одному из друзей, Куэнде, — торжествуют из-за такого его поведения... Он был прав в Мотье, и я сильно опасаюсь, что он может быть прав и в Англии». Дю Пейру и милорд Маршал предчувствовали взрыв. Мадам де Буффле, друг Юма и покровительница Руссо, оказалась в сложном положении. Первого она упрекала за неосторожные признания Гольбаху. От второго потребовала доказательств его обвинения. Это рассердило Жан-Жака: он прервал переписку с графиней на два года. В общем, дело становилось всё более громким.

Друзья Юма единодушно осуждали Руссо, но его самого призывали к осторожности: открытая ссора могла нанести ему большой вред. Д'Аламбер и Гольбах заботились об общих интересах: философы не должны обнаруживать перед церковниками несогласия, существующие между ними. Это верно, говорил им Юм, но дело в том, что Руссо пишет свои «Мемуары»: если они появятся после моей смерти — кто меня реабилитирует? Если же они появятся после смерти Руссо — как я смогу оправдаться? Поэтому Юм решил изложить все это дело на бумаге и послать пять-шесть копий надежным людям.

До определенного момента компания философов придерживалась того мнения, что «перестирывать грязное белье» надо только «в кругу семьи». Но 21 июля состоялся совет у мадам де Леспинас: присутствовали д'Аламбер, Тюрго, Морелле, Мармонтель и Дюкло. Публика теперь была уже «слишком информирована», чтобы можно было сохранить в тайне эту историю. Значит, нужно было предать ее более широкой огласке, так как пяти или шести копий было явно недостаточно. Д'Аламбер давал наставления разъяренному шотландцу: «Прежде всего, начните с того, что Вы узнали о том, что Руссо работает над мемуарами...» Он советовал: никакого гнева, злопыхательства, даже никаких комментариев — только факты, беспристрастный пересказ и доказательство того, что он не имеет отношения к «письму прусского короля», последнее в виде письменного признания Уолпола. Д'Аламбер брался также сообщить обо всем Вольтеру. 5 сентября Вольтер наложил свою резолюцию: «Умные люди, которых он морочил в течение нескольких лет, должны объединиться, чтобы его опозорить». До этого момента Руссо был неправ: не было никакого заговора, и Юм ничего заранее не рассчитывал. Но теперь коалиция недругов против него действительно составила и приготовилась его уничтожить.

На «совете 21 июля» д'Аламбер еще не знал, что Руссо именно его считает автором «письма прусского короля». Юм рассказал ему об этом, и теперь, когда дело касалось уже лично его, «беспристрастный» философ страшно разозлился. Д'Аламбер написал Вольтеру: «Жан-Жак — дикий зверь, которого можно безопасно держать только за решеткой и до которого можно дотрагиваться — только палкой». Впрочем, д'Аламбер не хотел пока поднимать со дна всю грязь: надо было посмотреть, что будет дальше. Возможно, дело на этом бы и остановилось, если бы 2 августа Руссо не написал издателю Ги: «Говорят, что г-н Юм хочет опубликовать все детали этой истории. Я совершенно уверен, что он поостережется делать это или, по крайней мере, — сделать это честно». Это письмо выглядело вызовом, и, к сожалению, о нем вскоре тоже стало известно. Жребий был брошен.

Пока в Париже происходили все эти передряги, Руссо старался сохранять спокойствие и держаться в стороне от бушующих страстей. Тем летом у него завязались добрые отношения с аристократами по соседству, особенно с молодым Бруком Бутби, любителем словесности, с которым через несколько лет он встретится в Париже, и с милой Мэри Дьюис, «любезной пастушкой», которая вышила красивый ошейник Султану. Жан-Жак подружился и с герцогиней Портланд, с которой затем десять лет будет поддерживать переписку на почве ботаники. Если шел дождь, он правил

гранки своего «Музыкального словаря» или тайно занимался своими «ужасными» мемуарами, которые наделали столько шума в среде философов.

«Инкубационный период» его мемуаров получился очень долгим. Но в конце концов злобная брошюра «Мнение граждан», опубликованная Вольтером в декабре 1764 года, уничтожила в Жан-Жаке последние колебания и послужила толчком к началу работы над ними. Начатое в Мотье было теперь продолжено в Вуттоне.

Мемуары задумывались им не как простой пересказ жизненных фактов. Еще в январе 1763 года Руссо говорил Мульту, что это должна быть «история человека, которому хватит смелости показать себя «intus et in cute», то есть «изнутри и со всей подноготной». Но это, конечно, должна была быть и «защитительная речь», потому что требовалось восстановить правду, искаженную его врагами, и вывести из заблуждения обманутую публику, сделав свою душу «прозрачной взгляду читателя». Нужно было изложить суть своей жизни, а для этого — вернуться к самым ранним годам, потому что он был «всегда одним и тем же во все времена». Отсюда в его «Исповеди» особое место отведено воспоминаниям детства. Его современникам они казались малозначительными, но он сам-то знал, что именно в детстве были заложены основы его взрослой личности.

Руссо хотел быть совершенно правдивым. Во всяком случае, он старался быть искренним, но, оглядываясь на прожитую жизнь, иногда идеализировал прошлое. Мечты перемешивались у него с воспоминаниями, некоторые события связывались между собой, хотя в действительности, возможно, вовсе не были связаны. Он ничего не скрывал, не лгал, но ему случалось описывать события такими, какими они, как ему казалось, *должны были* быть или *возможно* были. Автор «Исповеди» был уверен, что знает себя, и писал для того, чтобы другие люди увидели его в правильном свете. Руссо в их глазах был тайной, ключ к которой был только у него самого: «Вот что я сделал, о чем я думал, кем я был». Ему не нужны были никакие чужие летописания, пересуды, нескромные воспоминания — ему нужно было объяснить и показать, что если он сам не был добродетельным человеком, то и всякий другой из известных ему людей — и эта фраза вызвала скандал — был не лучше его. В противоположность классическим авторам мемуаров, строившим их по общепринятым образцам, Руссо описывал конкретную личность во всей ее противоречивости. И переживая заново свои счастливые воспоминания, он на время забывал о Юме и «философском заговоре».

С «адским делом», как называл его Дю Пейру, не было, однако,

покончено. 12 августа Юм отослал в Париж копии своей переписки с Руссо, сопровождаемые «кратким пояснением», и дальнейшие события стали развиваться очень быстро. Бумаги были переведены, и д'Аламбер взялся представить их публике, прибавив к ним собственное письмо, в котором утверждал, что никогда не был врагом Руссо и не имел никакого отношения к фабрикация «письма прусского короля». В середине октября было опубликовано «*Краткое изложение спора между г-ном Юмом и г-ном Руссо, с приложением подтверждающих документов*»; в ноябре последовало английское издание этого опуса. Шарль Борд трепетал от радости и 9 декабря писал Вольтеру: «Руссо наконец разоблачен, ему никак не удастся теперь возвеличить свою персону. Я нашел Париж ополчившимся против него... В Англии, где я был в этом году, дело обернулось для него еще хуже — это откровенное презрение». «*Краткое изложение*» имело целью показать, кем Жан-Жак был «на самом деле»: подозрительным, неблагодарным — в лучшем случае, безумцем. 9 ноября Дю Пейру говорил Жан-Жаку: «Я с болью и горечью слышу, что против вас раздается лишь общий крик возмущения».

Слухи обо всем этом дошли до Вуттона, но ничто теперь не могло сбить Руссо с его позиций. Признать свои заблуждения значило разрушить себя, отказаться от себя самого — ему же нужно было остаться непонятым, преследуемым, жертвой Вольтера, Юма, д'Аламбера и прочих — тех, кто заманил его в западню. Милорд Маршал, разрывавшийся между двумя своими друзьями, не хотел больше ни о чем слышать. Тщетно умолял его Руссо писать ему время от времени хоть пару строк. Через три месяца с тоской в душе он еще раз обратился к нему, простирая руки в мольбе: «Мой покровитель, мой благодетель, мой друг, мой отец... Я склоняюсь к Вашим ногам, чтобы выпросить у Вас хотя бы одно слово в ответ...» Ничего. Сердце Жан-Жака было разбито.

Вольтер проявлял откровенную жестокость. Он опубликовал «*Письмо г-на де Вольтера г-ну Юму*», в котором отрицал, «положа руку на сердце», свое авторство относительно «*Письма Пансофу*», перечислял свои претензии к Руссо, высмеивал его, клеймил плутом и шарлатаном. Два месяца спустя появились анонимные «*Примечания к письму г-на де Вольтера г-ну Юму*». Фальсифицируя письма, отправленные в 1744 году Жан-Жаком в министерство иностранных дел, Вольтер доказывал, что «так называемый секретарь» был в Венеции обыкновенным лакеем, которого вышвырнули вон ударами палки, Этого зверя, мол, надо посадить на цепь, и только потом можно будет «на навоз, где он с ненавистью скрежещет зубами против человечества, бросить ему корку хлеба, если он в ней

нуждается». Да, великий Вольтер умел быть гнусным. Не успокоился он и на этом. Им была написана еще «Гражданская война в Женеве» — бурлескная эпопея в нарочито корявых рифмах: там он втоптывает своего «недруга» в грязь, возмущается его похотливостью, вероотступничеством, называет поджигателем войны, прокаженным, зарывшимся в своем грязном логове вместе с мерзкой шлюхой, с которой он совокупляется. Истязаемый таким образом, подвергаемый нападкам со всех сторон, — как мог Руссо теперь сомневаться в реальности заговора?

В ноябре Тереза узнала о смерти своей матери. Здесь, в Вуттоне, она вообще чувствовала себя плохо, скучала, чуть ли не каждый день ссорилась со слугами. С наступлением холодов визитеры перестали их навещать, и Жан-Жак оказался зажат одиночеством, как тисками. Уехать куда-нибудь в другое место? Граф Орлов, фаворит Екатерины II, предлагал ему пристанище под Санкт-Петербургом — но это же так далеко, да еще и с таким климатом! Другое предложение поступило ему от маркиза де Мирабо (отца будущего оратора Учредительного собрания), которого называли «другом людей» — так был озаглавлен его трактат по демографическим проблемам, опубликованный в 1756 году. «Это было бы так прекрасно, — отвечал ему Руссо в 1767 году, — если бы друг людей дал приют другу равенства». Но это предложение он тоже отклонил, во всяком случае на ближайшее время.

Зима в том году была особенно суровой, и Руссо «законопатился» в доме, затерянном среди заваленных снегом полей. После морозов полил нескончаемый дождь с резкими порывами ветра. Оставшись в обществе одной Терезы, Жан-Жак сильно тосковал.

Дэвенпорт, далекий и «очень английский», но искренне желающий сделать доброе дело, опять вспомнил о королевском пенсионе, однако сам Жан-Жак не собирался хлопотать и хотел, чтобы этот пенсioen «был предложен по желанию Его величества». Решено было сделать вид, что так оно и есть, и 18 марта Конвэй сообщил Жан-Жаку, что ему назначена рента в сто фунтов стерлингов. На самом деле Юм и Уолпол выступили с ходатайством об этом перед министром. Руссо, конечно, все понял: он не отказался, но «забыл» указать, где именно ему может быть передана эта сумма.

К весне Жан-Жак совершенно обессилел. Нервы его были на пределе. Ему понадобилось поместить в безопасное место рукопись «Исповеди», и он переслал ее Дю Пейру. Теперь он был уверен, что за ним следят, что Вуттон — это место его заточения, и зачастую мысли его совсем путались. 2. апреля в письме к Дю Пейру у него вырвался тоскливый крик: «О друг

мой, молитесь обо мне...»

Было ли это безумие? Его преследователи во главе с Вольтером утверждали, что дело обстоит именно так. Руссо не был безумцем в прямом смысле, но временами у него случались тяжкие приступы страха под влиянием мании преследования. Действия недругов приобретали в его глазах видимость некоего чудовищного хитросплетения, в котором мельчайшие случайные детали тесно увязывались одна с другой. Иной раз достаточно было какого-то пустяка, чтобы разразился кризис.

Мы никогда не узнаем, что именно произошло 30 апреля. Возможно, еще одна ссора Терезы со сварливой старой кормилицей? Или она сцепилась с экономкой, бой-бабой, которая нарочно подсыпала пепел в тарелки «этих нахлебников»? Как бы то ни было, чаша терпения гостивших в Вуттоне переполнилась. На следующее утро Жан-Жак с Терезой ушли из дому, не взяв с собой ничего. Они вышли на дорогу, сами не зная, куда идут. Жан-Жак не надел даже свое армянское одеяние, потому что оно слишком бросалось в глаза. 5 мая они оказались в Спалдинге, что в Линкольншире, в 150 километрах от Вуттона, и остановились здесь до 14-го числа. Жан-Жак дрожал от страха: сумел ли он оторваться от своих возможных преследователей? Он направил послание канцлеру Англии: он уже не может «продолжать безопасно свой путь в одиночестве»; он умоляет, чтобы ему дали за его счет провожатого, который помог бы ему добраться до Дувра. 11 мая он уже был готов вернуться в Вуттон, но 14-го объявил, что отправляется в Лондон, «совершенно не уверенный, что сможет туда добраться». Таким образом он старался «сбить врагов со следа», потому что уже 16-го, после двух дней безумного бега, оказался в Дувре, в 300 километрах от Спалдинга.

Наконец-то — море! Но погода мерзкая, и ни один корабль не поднимает паруса. Даже само небо против него! Вечером пришел нотабль — пригласить его поужинать. У него в доме Жан-Жак, одержимый своими наваждениями, беспрестанно вставал, подбегал к окну, смотрел, как бьются о причал волны. Внезапно, не в силах более сдерживаться, он бегом бросился в порт, забрался в лодку, вытащенную на берег, и закрылся там в каюте. Тереза уговаривала его вернуться, умоляла — тщетно. Она вышла из себя, стала кричать, ругать его, и только тогда несчастный вышел, дрожа, и вернулся в дом к пригласившему их хозяину. Наступила короткая передышка.

Назавтра, снова охваченный ужасом, не доверяя теперь даже Терезе, Руссо набросился, как бесноватый, с бранью на ошеломленных матросов, ругая их по-французски. Не имея в кармане ни единого су, он расплатился в

трактире предметами из своего серебряного прибора. Беглец был уже на грани полного безумия — в своей убежденности, что Англия непременно станет его тюрьмой и могилой.

18 мая Руссо написал Конвэю отчаянное письмо: «Я должен покинуть, месье, или Англию, или саму эту жизнь...» Его смерть не может пройти бесследной, потому что он, увы, знаменит. Если же ему дадут возможность уехать, он клянется ничего не рассказывать о своем заточении, о Юме, о преследованиях; Он предлагал передать Конвэю все свои бумаги и даже «Исповедь» — в дар со своею подписью; соглашался принять королевский пенсион, так как это доказывало бы, что он был здесь хорошо принят; он обещал, клялся всем, чем угодно, — только бы ему дали уехать. Он не позволит врагам захватить себя живым: «Мой час пробил. Я решил пойти навстречу судьбе и погибнуть — или обрести свободу».

Полностью погрузившись в призрачный мир ужасов, Руссо потерял способность отличать надуманные кошмары от действительности. Дрожащий, с блуждающим взглядом, он метался, натываясь на стены своей воображаемой тюрьмы. Вечером 21 мая корабль наконец снялся с якоря и взял курс на Кале.

ИЗ ОДНОЙ ТЮРЬМЫ В ДРУГУЮ

Утром 22 мая 1767 года Руссо ступил на землю Франции. Но во Франции, которая его изгнала, у него оставались только враги, и он не знал, куда податься. Может быть, в Брюссель? или в Венецию? Из Кале он отправился в Амьен, где его, конечно же, сразу узнали. Именитые люди приглашали его погостить у них в загородных домах, власти хотели устроить банкет в его честь. Жан-Жак не верил в их искренность, опасаясь, что все эти «знаки внимания» — не более чем насмешка, издевка, «вроде тех «почестей», которые расточались «губернатору» Санчо Пансе на «его острове». Такая шумиха не подобала изгнаннику. Она даже вызвала раздражение у принца Конти: «Ваша неосторожность, позвольте Вам это сказать, испортила всё, что я для Вас предпринял». Принц дал Жан-Жаку инструкции: ночью тайно покинуть Амьен, сменить имя и ждать его распоряжений. Податель этого письма должен был отвезти опального философа в безопасное место. Но оказалось, что Жан-Жак уже покинул Амьен, приняв предложение гостеприимства от Мирабо. 4 июня под именем «г-на Жака» он остановился в Сен-Дени, предместье Парижа, в трактире «Три молотка», откуда на следующий же день отправился в карете во Флери под Медоном. Слухи о его приезде расползались быстро: толковали, что Руссо вернулся, но сломленный — тень прежнего Руссо.

Он не чувствовал себя в безопасности и во Флери: здесь было слишком близко к Парижу. 15 июня Конти определил ему местом жительства свое владение Три-ле-Шато, вблизи Жизора. Это место хотя и находилось в ведении Парижского парламента, но было расположено всего в одном лье от границы Нормандии. Необходимо было также сменить имя, и Руссо стал называть себя Жаном-Жозефом Рену. Он взял себе имена, полученные при обращении в католичество, и девичью фамилию матери Терезы (сама же Тереза теперь считалась его сестрой). 21 июня явился Куэнде, чтобы отвезти их, по распоряжению принца, в новое жилище.

Как обычно, вначале на новом месте все шло хорошо. Жан-Жак вылечил свою собаку, хотя для этого ему пришлось съездить в Амьен к ветеринару. Ему казалось, что здесь он сможет в полной мере заняться собиранием трав. Куэнде опять взял на себя роль поставщика и доставил ему приборы, ракетки, воланы, книги по ботанике, гербарии. Настойчивый Мирабо заставил его прочесть свои *«Элементы сельской философии»*, и Руссо добросовестно одолел их. Затем маркиз решил приобщить его к

физиократической доктрине и предложил прочесть «*Основной и естественный порядок политических сообществ*» Ле Мерсье де ла Ривьера, а потом еще и «*Изложение естественного закона*» аббата Бодо. Мирабо засыпал его бесконечными письмами, и в конце концов Жан-Жак в приличных выражениях послал «друга людей» подальше.

Уже спустя неделю ему пришло в голову, что он может «вызывать скрытое раздражение у сельской черни и прислуги замка тем, что не ходит на мессу». Спустя еще три недели Руссо объявил мадам де Верделен о новой западне, в которую он угодил: слуги презирают его, потому что он беден, и считают его доносчиком, приставленным к ним принцем. Поскольку он занимается травами, его еще стали считать отравителем и шарлатаном. Манури, управляющий охотничьими угодьями, зарится на его комнаты; Дешан, консьерж, — каналья, который развлекается тем, что захлопывает дверь перед его носом; садовник отказывается давать ему овощи и наущает конюхов оскорблять его. Вся эта свора восстанавливает против него уже и соседние деревни, и даже викарий стал на их сторону. Очевидно при этом, что все эти люди уверены в собственной безнаказанности, потому что выполняют чьи-то приказы: «Не могу представить себе, чья рука пускает всё это в ход, но несомненно, что такая рука есть».

Налицо была все та же одержимость подозрениями о чем-то темном и тайном. Куэнде умолял Жан-Жака не доверяться своему воображению; тот отвечал ему с горькой усмешкой: «С тех пор как было решено, что я сумасшедший, стало понятно, что все происходящие со мной несчастья — не более чем призраки». Всё же он старался отвлечься немного, собирая травы и особенно — возвращаясь к своей «*Исповеди*». За июль и август Руссо написал шестую книгу — по-настоящему светлую, потому что в ней рассказывалось о Шарметте и пребывании в Лионе. Он рассчитывал на этом и остановиться, ведь потом были Венеция, Париж, литературные дела, Гримм, Дидро, ложные друзья, дурная слава. До каких крайностей могли бы дойти его безжалостные недруги, если бы знали, что он пишет о них?

У Жан-Жака появилось ощущение, что за ним постоянно следят. Ему хотелось побыть на свежем воздухе, но он, наоборот, прятался за стенами замка. «Не скрою от вас, — сказал он Куэнде 25 августа, — что боюсь попасть в беду, как только выйду за ворота этого замка. Все, что я могу возразить себе на это, — что невозможно же все время в нем оставаться».

Его отношение к окружающему менялось к худшему, и это сильно всех огорчало. Всё более погружаясь в свой бред, Жан-Жак стал видеть вокруг себя только участников заговора. Раньше он упрасивал мадам де Верделен

и Куэнде найти для него возможность покинуть замок Три-ле-Шато, но теперь, когда они старались удовлетворить его желание, Руссо стал убеждать себя, что они завлекут его в какую-нибудь новую западню: «Они хотят моей гибели, моей смерти...» «Я знаю, — шептал он Дю Пейру, — что Куэнде — верный раб «Верделенши»... Я притворяюсь, что ничего не вижу. Затаив все в сердце, я отвечаю им любезностями на любезности. Они таятся, чтобы меня погубить, а я таюсь, чтобы спастись». В то же время он говорил мадам де Верделен и Куэнде, что не хочет уезжать; посылал им дружеские письма — чтобы «усыпить их бдительность». В начале октября принц Конти сам пожаловал в Три-ле-Шато. Он обращался с Жан-Жаком как со знатным гостем, показывая домашней прислуге, как он ценит его. Ничто не помогало.

Руссо ожидал приезда ДюЛёйру, которому он передал свои бумаги. Со 2 сентября тот находился в Париже, прикованный к постели приступом подагры. В Три-ле-Шато он смог приехать только 4 ноября. Жан-Жак упал в объятия единственного человека, которому еще доверял. Сначала всё шло хорошо, но через несколько дней у Дю Пейру опять началась лихорадка: рука и нога воспалились. Это подагра, говорил ему Жан-Жак; нет, упрямылся Дю Пейру, это желудок. Жан-Жак пожимал плечами, как вдруг его осенило: его друг считает себя отравленным. Доктор, однако, подтвердил диагноз: это подагра. Жан-Жаку поручили давать больному какую-то слабенькую микстуру. Когда он подавал ее больному, тот придержал его руку, говоря: «Я принимаю ее от вас с большим доверием». Так значит, друг считает его отравителем, убийцей?! Пораженный, Руссо со слезами бросился обнимать Дю Пейру, но друг отшатнулся от него. В ту же ночь Жан-Жак запечатал все склянки с медикаментами, а на конверте, содержащем распоряжения Дю Пейру на случай своей смерти, написал отказ от всякого участия в его наследстве.

Что же там на самом деле произошло? Дю Пейру был ослаблен болезнью, снедаем лихорадкой и к тому же знал, что Руссо уже более года страдает расстройством рассудка и везде подозревает заговоры против себя. Поэтому бедняга испугался и, вероятно, сам впал в бредовое состояние, подозрительности. 10 ноября разгневанный Жан-Жак письменно отказался от всех их взаимных соглашений. Дело в том, что после провала проекта издателя Фоша в 1764 году великодушный Дю Пейру взял на себя обязательство выплачивать Руссо авансом ренту в 1600 ливров за издание полного собрания его сочинений. Теперь же Руссо, не будучи в состоянии вернуть ему уже полученные 2400 ливров, оставлял ему свои сочинения, в том числе «Исповедь»; убеждал его даже взять деньги из капитала в шесть

тысяч ливров, который был доверен ему милордом Маршалом, чтобы выплачивать проценты с него Жан-Жаку.

Когда Дю Пейру выздоровел и пришел в себя, он извинился за свое поведение в лихорадочном состоянии, но Жан-Жак сохранял твердость: он не хотел оставлять за собой ничего, что могло бы выглядеть как его личная корысть, если бы с Дю Пейру что-нибудь случилось. 3 января Дю Пейру покинул Три-ле-Шато, и Руссо видел, что он уезжает без сожалений. Теперь Руссо оставался в полном одиночестве.

Поссорился он и с Куэнде. В Женеве Малый совет предложил Генеральному совету прерогативу избирать половину Совета двухсот. Напряжение нарастало, возникла даже опасность вооруженных столкновений, так что Мульту попросил Руссо дать свой проект примирения. Руссо это сделал. Он советовал соблюдать умеренность: он не хотел больше слыть подстрекателем; окончательное же согласие наступило в Женеве только в марте 1768 года, то есть через пять лет после начала волнений. Поскольку Куэнде проявлял некоторую симпатию к «партии отрицания», они с Руссо рассорились, и Жан-Жак прекратил с ним всякое общение.

Вокруг него росла пустота. Мадам де Буффле числилась теперь в его врагах, потому что в свое время очень настаивала, вместе с «Верделеншей», на его отправке в Англию. Впрочем, он постарался возобновить отношения с ней, чтобы не потерять поддержку принца Конти. Графиня заверила его, что не знает за собой никакой вины перед ним и сохраняет к нему дружеские чувства. Отсюда Руссо заключил, что от нее нельзя ожидать ничего хорошего. Его, определенно, держали узником в Три-ле-Шато, как в мышеловке, или даже как приговоренного, если бы ему вздумалось убежать.

24 мая, когда Жан-Жаку надо было отправляться на обед в Жизор, он не мог отделаться от мысли, что по дороге его могут похитить и даже перерезать ему горло. Иногда у него наступало просветление, и тогда он был способен признать, что его страхи беспочвенны. 28 марта он записал: «Боюсь, что после стольких действительных несчастий я могу воображать себе надуманные, которые затем воздействуют на мой ум». Но это была лишь короткая передышка в его безумий.

Вскоре новое происшествие еще глубже погрузило его в кошмар подозрений. Дешан, консьерж замка, тяжело заболел. Жан-Жак передал ему немного вина, варенья и один раз — рыбу, приготовленную Терезой. 7 апреля 1768 года у Дешана открылась неудержимая рвота, и он умер. К Жан-Жаку вернулась та же навязчивая идея, которая мучила его во время

болезни Дю Пейру. Он убедил себя, что на его счет ходят «всякие подозрительные разговоры», — и вдруг с ужасом понял: «Всё указывает мне на то, что меня обвиняют в его отравлении». Он потребовал вскрытия и написал принцу Конти, что хочет ехать в Париж и предстать со своими возражениями перед судьями. На следующий же день Конти приехал к нему, постарался его успокоить, но убедился, что удерживать Руссо в Трилле-Шато дольше нельзя, чтобы не случилось какой-нибудь беды.

Жан-Жак всё более уходил в себя. Он продолжал ссориться с Дю Пейру, который, выздоровев, упрасивал его не расторгать их договоры. В августе 1767 года ему хватило здравого смысла принять пенсион короля Георга III, и он получил первые выплаты. Но молодой Брук Бутби, знакомый ему по Вуттону, рассказывал ему о тяжелой судьбе народа, о нищих и униженных, и Руссо отказался от пенсионера, который всегда казался ему подозрительным. А еще потому, что желал оставаться бедным и свободным. Он более не хотел ничем заниматься, уговаривал Дю Пейру забрать, если тот хочет, его бумаги, чтобы возместить себе выданный ему аванс, — но еще лучше было бы сжечь их! Он упрямо вынашивал в себе одну и ту же мысль: предстать перед судьями, доказать свою невиновность, «честно положиться на совесть людей». Конти уступил в малом, чтобы спасти большее: Жан-Жак может уехать в другое место при условии, что откажется от самоубийственного намерения предстать перед публичным судом.

Наконец-то! Руссо доверил остаток своих бумаг мадам де Надайка, аббатисе Гомерфонтена, и обещал Терезе вызвать ее к себе, как только найдет верное пристанище. 12 июня доверенный человек от Люксембургов проводил его в Париж, в Тампль, где он провел ночь и следующий день, ни с кем не видясь. 14-го утром он сел в дилижанс, отправлявшийся в Лион.

Спустя четыре дня Руссо добрался до Лиона, зная, что оставаться здесь он не сможет: этот город находился под юрисдикцией Парижского парламента. Впрочем, смена обстановки пошла ему на пользу. Он нанес визит мадам Буа де Ла Тур и встретился с ее дочерью Мадленой, которую знал когда-то в Ивердоне, — теперь она была замужем за банкиром Делессером. Руссо познакомился с господином де ла Туреттом, основателем ботанического сада, и аббатом Розье, который там преподавал. Руссо настолько хорошо себя почувствовал, что 6 июля даже написал Дю Пейру: предлагал, если тот не уничтожил еще его бумаги, послать ему неоконченную рукопись «*Эмилия и Софи*». Затем он совершил ботаническую экскурсию в Гранд-Шартрез.

Поездка ему не понравилась: дождь лил как из ведра, и неудобства его

болезни дали о себе знать. 11 июля он отправился в Гренобль: Конти договорился о его пребывании там с графом Клермон-Тоннером, командующим округом Дофине.

В кармане у Жан-Жака было рекомендательное письмо к семейству Бовье, фабрикантам-перчаточникам, с которыми у мадам Буа де Ла Тур были деловые отношения. Его встретил их сын Гаспар, адвокат и литератор. Позднее в своих *«Прогулках»* Руссо расскажет, как он едва не отравился, пожевав ягоды неизвестного кустарника прямо на глазах этого негодника Бовье, который не остановил его, боясь выглядеть невежливым.

В первый же вечер Жан-Жак отказался от гостеприимства семьи Бовье и выискал для себя чердачное помещение в доме какого-то литейщика. Но он куда лучше отнесся к этому семейству, когда на следующий день увидел, что мадам Бовье, преданная почитательница его *«Эмиля»*, купает своего ребенка в холодной воде.

В последующие дни Руссо совершал прогулки по окрестностям. Сначала он отправился в долину Грезиводан, но когда на обратном пути он подходил к предместьям Гренобля, то увидел, что вся дорога пестреет людьми, вышедшими взглянуть на знаменитость. На следующий день он отправился прогуляться в сторону Эйбена, но возвращение оказалось еще более триумфальным. Это было бы хорошо для Жан-Жака Руссо, но слишком бросалось в глаза по отношению к Жану-Жозефу Рену, которому принц Конти настоятельно рекомендовал оставаться незаметным. И это было еще не всё. Вечером 14 июля несколько его горячих молодых поклонников пришли к нему под окно, чтобы сыграть мелодии из его *«Сельского колдуна»*. Когда он показался в окне, его приветствовали восторженными восклицаниями и аплодисментами.

Жан-Жаку захотелось совершить паломничество в Шарметт. Он вновь увидел этот дом, сад, где он был так счастлив, окно, у которого завтракал с Матушкой в потоках утреннего света. Побывал он и на кладбище, где она покоилась на участке для бедных. И еще встретился со старым Конзье, и тот поговорил с ним о прошлом, рассказал о последних годах жизни мадам де Варан. Но Жан-Жак не стал чрезмерно предаваться раскаянию: он ведь тоже был обманут и загнан врагами.

Тем временем в Гренобле обстановка складывалась не слишком благоприятно. Бовье представил ему молодого талантливого адвоката Мишеля Сервана. Проблема заключалась в том, что Жан-Жак, говоря о Терезе, называл ее своей женой, тогда как она должна была считаться его сестрой. Таким «повышением в должности» она была обязана нахождению здесь этого юриста, который резко выступал против сожителства в своей

«Защитительной речи по делу женщины-протестантки». К тому же сам Бовье не скрывал своего восхищения Вольтером, а Серван бывал даже у него в Фернее с визитом. Могла ли быть им знакома вольтеровская брошюра *«Мнение граждан»!* Тереза должна была считаться здесь женой Жан-Жака, но ведь она должна была называть его братом. Страхи возобновились, и в день своего отъезда в Шамбери Руссо сообщил о своих опасениях Терезе: «Если вы в течение восьми дней не получите от меня известий, не ждите более и располагайте собой сами». В таком состоянии всё казалось ему ужасным. Особенно опасался он приезда Терезы: она выехала из Три-ле-Шато 4 августа, могла прибыть с минуты на минуту и оказаться «освистанной и оскорбленной здешней молодежью», если обман откроется.

Руссо отбыл 12 августа и сделал остановку в 25 лье от Гренобля, в Бургуэне; здесь он был хорошо принят Доненом де Розьером, артиллерийским капитаном, и его кузеном Доненом де Шампанье, мэром этого местечка. Его даже пригласили 15 августа на ежегодный банкет в честь Успения Божьей Матери. Терезе он обрисовал свое будущее смутным, полным угроз и опасностей. Жан-Жак оставлял за ней свободу выбора — присоединиться к нему или нет; но обходиться без нее он уже не мог: «Если я лишусь вашей помощи в моих телесных и душевных немощах, я освобожусь от них гораздо раньше». Однако если она решится приехать, то ее ждет сюрприз: «Будет неудобно, если вы будете здесь называть меня братом... Будем друзьями и родственниками — в ожидании лучших времен. Больше я пока ничего не скажу».

Напрасно Руссо менял места своего пребывания: его страхи следовали за ним, как тень. Он пробыл в Бургуэне всего десять дней, но уже стал замечать «поразительные изменения в лицах и в глазах». Жан-Жак снова болен и снова — во власти своих черных мыслей. На двери своей комнаты в трактире он написал карандашом: «Мнение публики разных сословий на мой счет». Итак: священники, «продавшиеся философам», мечтают его избить; литераторы у него крадут; остроумцы его оскорбляют; каналы его освистывают; прохвосты его проклинаяют; в Женеве «вожди народа, поднявшиеся на моих плечах, хотели бы спрятать меня так, чтобы, видны были только они». Не забыл он и о Вольтере, который не давал ему спокойно спать: тот якобы только и помышлял о мести Жан-Жаку.

Тереза приехала к Жан-Жаку 26 августа 1768 года. 30 августа он оделся тщательнее, чем обычно, пригласил к обеду Розьера и Шампанье и попросил их быть «свидетелями самого важного акта в жизни». Он взял руку Терезы, с достоинством упомянул о двадцати трех годах совместной

жизни и объявил, что берет ее в жены перед Богом. Затем все уселись за стол. Руссо был очень весел, с охотой выпил и даже спел за десертом два куплета, сочиненные им нарочно к этому случаю. Конечно, такая женитьба не имела законной силы — законным могло быть только венчание, совершенное священником. Когда-то Жан-Жак заверял, что никогда на Терезе не женится, но прошло столько лет, они извели вместе столько горестей, что теперь оба ощущали неразрывную связь до самого конца.

Едва «женившись», Руссо снова угодил в абсурдную ситуацию, которую, конечно же, воспринял трагически. Бовье сообщил ему, что некий Тевенен требует у Жан-Жака возврата девяти франков, которые он якобы одолжил ему десять лет назад в одном трактире неподалеку от Нешателя — и трактирщик был тому свидетелем. Ошибка или мелкое мошенничество? Эта мелочная история вновь повергла Жан-Жака в состояние безумия: его хотят опозорить, обесчестить. Он потратил четыре месяца усилий, чтобы доказать, что его вообще не было в Швейцарии в то время. Как же торжествовал Руссо, когда Даниэль Роген сумел установить, что этот Тевенен, с которым Жан-Жак потребовал очной ставки и который его не узнал, — был жуликом, осужденным в 1761 году Парижским парламентом к наказанию кнутом, клеймению и отправке на галеры за подлог! Руссо отстоял свою честь перед правосудием, но возмущался, что этот прохвост отделался лишь несколькими днями тюрьмы, тогда как нужно было прежде всего выяснить, кто направлял его действия, и выявить сам источник заговора. Граф де Клермон не сделал этого, а это доказывало его собственную вовлеченность в сие грязное дело.

Получая удар за ударом, Руссо чувствовал, как расшатывается его психика. Он так жаждал вернуться во Францию, и вот теперь столь же горячо жаждал покинуть ее как можно скорее. В Америку, на Минорку, на Кипр, в Грецию — куда угодно! Потом всё возвращалось на круги своя: стремление убежать подальше сменялось у него упрямой настойчивостью. «Во Франции со мной могут обращаться как угодно, — говорил он Мульту, — но я твердо решил здесь остаться».

В ночь с 8 на 9 ноября 1768 года Жан-Жак перешагнул порог настоящего безумия. Он приводил в порядок бумаги и обнаружил в своей переписке нехватку за несколько месяцев. Он знал о ней и раньше и всегда думал, что эти письма похитил д'Аламбер после своего отъезда из Монморанси. Но сейчас на него вдруг снизошло «озарение»: «В первый и единственный раз я проник за темный покров неслыханного заговора, которым охвачен со всех сторон». Для этого ему хватило всего лишь одной, ассоциации. Так, на границе Дофине недавно арестовали некоего негодяя,

замешанного «в отвратительном покушении», а этот человек должен был потом проехать как раз через Бургуэн. О каком покушении шла речь? Не о том ли, которое произошло 5 января 1757 года: тогда в Дамьене ударом ножа был ранен король Людовик XV? А отсутствующая часть корреспонденции как раз приходилась на период с октября 1756-го по март 1757 года. Всё вдруг стало понятно. Ненависть мадам де Люксембург объяснялась ее участием в заговоре, а заговор сложился к 1762 году, в результате чего был запрещен «Эмиль». Украденные у него письма, фальсифицированные и превратно истолкованные, должны были свидетельствовать об участии Руссо в попытке цареубийства. В его больном воображении одно звено «цепи заговора» неуклонно сочленялось с другим: изгнание в Англию, письмо Уолпола, ухищрения Юма, лицемерие Мирабо, укрывательство в Три-ле-Шато...

Он поторопился Тут же поделиться с принцем Конти своим «открытием» и подозрениями насчет мадам де Люксембург. Никакие доводы против этой версии не могли проникнуть в его разум, в остальном остававшийся неповрежденным. Жан-Жаку нужно было обязательно с кем-то поделиться. В Бургуэне жил некий господин де Сен-Жермен, который слыл человеком добрым и справедливым, — Руссо попросил его об аудиенции и, придя к нему 14 ноября в состоянии страшного возбуждения, сразу закричал: «У меня есть безжалостные враги!» И тут же в сильнейшем волнении принялся рассказывать ему о своих несчастьях. Сен-Жермен доброжелательно выслушал его и постарался успокоить как мог.

Жан-Жака бросало из одной крайности в другую. Вот он говорит Дю Пейру, что чувствует себя намного лучше. Через неделю у него появляются головные боли, он перестает интересоваться своим гербарием, закрывается у себя в комнате и распевает там строфы из Тассо «слабым надломленным голосом, который уже начинает дрожать».

Конец года был тягостным. Здоровье Терезы тоже расстроилось — она страдала приступами ревматизма. В конце января 1769 года они перебрались в жилище, предложенное им супругами де Сезарж на их ферме в Монкене, что в полулье от Бургуэна. Там, на возвышенности, воздух был более свежим, и можно было наслаждаться видом одной из тех широких горных панорам, которые всегда так нравились Руссо.

Тревоги и страдания напомнили Жан-Жаку о Боге, и он взялся наставить на путь истинный в длинном письме некоего «хорошего молодого человека» по имени Лоран Эймон де Франкьер, который поделился с ним своими сомнениями. «Я не могу судить о таком состоянии, как Ваше, — писал Руссо, — потому что сам никогда в нем не был. Я верил

в детстве из-за авторитета взрослых, в молодости — чувством, в зрелом возрасте — умом. Теперь я верю, потому что верил всегда... На каком основании стал бы я заново строить эти рассуждения? Время торопит, уход близок».

Зачем рассуждать и философствовать? Руссо чувствовал, что Бог существует и что слепой материализм абсурден. С точки зрения этой высшей надежды — какое значение имела жалкая земная слава?

В конце мая он позволил себе дерзкое обращение к Конти — он потребовал немедленной аудиенции: или ему должны позволить свободно ездить по Франции, куда ему хочется, или дать паспорт для выезда за границу. В июле Жан-Жак встретился со своим покровителем на водах в Пуге и вернулся оттуда немного успокоенным.

Его тревожила и другая забота. В августе он отправился в большую ботаническую экспедицию в Севенны, на гору Пила, и оставил Терезе длинное взволнованное письмо. Ему казалось, что искреннего чувства между ними больше нет, и это разрывало ему сердце. Жан-Жак не высказывается прямо, но можно догадаться, о чем он умалчивает. Терезе не нравился воздержанный образ жизни, к которому он ее вынуждал; она тщетно пыталась привлечь его внимание разными уловками, и это сказывалось на ее настроении. Жан-Жак убеждает ее в том, что «женское обиталище» усугубляет его болезни, и тут же напоминает ей о тех условиях, которые поставил, когда женился на ней: «Нежная привязанность с вашей стороны убедила меня в том, что такие условия возможны, и побудила прислушаться только к нашей любви — в ущерб моему здоровью и жизни». Однако кризис их отношений действительно оказался серьезным: Тереза собиралась покинуть его, даже не сказав, куда она отправляется. Он умолял ее хорошо подумать, испытать себя во временном расставании, чтобы успокоиться, но он не хотел даже и думать о том, что она может уйти от него навсегда: «Если тебя не будет рядом и я должен буду жить совсем один — это для меня невыносимо; я сразу же — мертвец».

Было ли там еще что-то? В *«Исповеди»* Руссо намекнул на свое израненное сердце; в *«Диалогах»* упоминает, что один монах из Монкена подсказал ему то, «о чем он имел глупость не догадываться до сих пор». Знал ли он о неверности Терезы? Ходили слухи, что знал.

Восхождение на гору Пила принесло Жан-Жаку одни неприятности. Целыми днями шел дождь, Султан был «до полусмерти» искусан другой собакой, а сам Руссо вывихнул кисть руки. Как всегда, Тереза принялась выхаживать его, а потом рассказала неприятную историю: у нее случилась потасовка со здоровенной бабищей Вертье, служанкой мадам де Сезарж.

Руссо высказал протест против «жестокостей этого бандита в юбке». Вертье отомстила ему: стала повсюду вопить о том, что он якобы пытался ее изнасиловать.

Вскоре наступили холода, и Жан-Жаку приходилось сидеть в четырех стенах. С приближением зимы он попросил мадам Буа де Ла Тур достать ему эпинету^[44]. На одинокой ферме свистел ветер; из-за снега, дождя и холода Жан-Жак не мог выходить из дому, и его наваждения возобновились. Он опять воображал себя центром огромной интриги, которая тянулась от всемогущего министра Шуазеля чуть ли не к пресловутой уродине Вертье: все они были подсланы, чтобы его выслеживать, обвинять, предавать и порочить в глазах честных людей. Еще в апреле Рэй спрашивал у Жан-Жака, думает ли он о продолжении своих мемуаров, и он ответил, что не хочет даже слышать о них. Но кто скажет о нем правду, если не он сам? В ноябре, дрожа от страха, что его застанут за этим занятием, Руссо опять принялся за мемуары, прося Небо, чтобы оно избавило его от «двух фурий» — мадам де Буффле и мадам де Верделен, которые хотят его погубить. Он очень боялся, потому что приступал к описанию парижского периода своей жизни, к самым истокам заговора, к выведению на чистую воду ложных друзей. «Больше всего на свете я желал бы похоронить в сумерках времен то, что вынужден сказать... Потолки надо мной имеют глаза, стены вокруг меня имеют уши. Окруженный шпионами и бдительными недоброжелателями, я рассеян и неспокоен; я в спешке набрасываю на бумаге несколько слов — и тут же прерываюсь... Все вокруг меня боятся, как бы правда о них не просочилась через какую-нибудь щель».

Руссо придумал новое начало своей «Исповеди» — блистательное и вызывающее: презирая людей, он обращался теперь к самому Богу за справедливым судом и призывал других предстать перед Его судом, как это сделал он: «Пусть каждый раскроет свое сердце у подножия Твоего трона с такой же искренностью — и тогда пусть хотя бы один скажет Тебе, если осмелится: *«Я был лучше, чем этот человек»*, В 12-й книге он соотносит период осуждения его «Эмиля» с началом большого заговора против него самого: «Так начиналось темное дело, в которое я погружен вот уже восемь лет...»

Когда Жан-Жак писал, он становился храбрым. Страдалец более не хотел бежать от опасности — он был готов смотреть ей в лицо. В середине января 1770 года «г-н Рену» исчез, и Руссо снова стал подписываться собственным именем.

У него созрел план: он должен покинуть Мон-кен. Погода, однако,

этому не благоприятствовала, и ему пришлось в страшном нетерпении дожидаться весны. Он не доверял больше никому. В конце марта, когда бедняга Вэй прислал ему новое издание его сочинений, ему хватило минуты, чтобы обнаружить там пропуски, вставки, купюры и заключить: этот человек тоже подкуплен. Оказывается, почта его вскрывалась и отсылалась обратно.

Прежде чем навсегда удалиться от мира, Руссо решил в последний раз раскрыть душу перед господином Сен-Жерменом. Он сделал это в бесконечно длинном письме, которое было своеобразным резюме его «Исповеди», — в этом тексте, хотя и сокращенном, но хватающем за душу и патетическом, его безумие полыхало уже ярким пламенем. Министр Шуазель ненавидит его — этот могущественный человек счел себя оскорбленным и потому наслал на него своих шпионов: «Он со всех сторон оплел меня своими прислужниками, которые втоптали меня в грязь; он выставил меня посмешищем перед всем народом и сделал игрушкой разных каналов». Какой вред, какое зло причинил он, Руссо, этим людям — Гримму, Дидро, д'Аламберу, Гольбаху, Троншону, мадам де Люксембург, мадам де Буффле, — что они с такой безжалостной ненавистью преследуют его? В собственной жизни, простой и честной, он знает за собой одно преступление — то, что он бросил своих детей. Но он искупил это преступление кровавыми слезами! Он не понимает, что происходит; он видит только результат, не догадываясь о причинах. Он знает только, что его не оставят в покое, что натравят на него, если будет нужно, весь мир и сплетут сеть, чтобы его задушить: «Вокруг меня возведут здание тьмы, меня живым похоронят в гробу... Меня не обвинят, не арестуют, не накажут видимым образом. Но незаметно вгрызутся так, чтобы сделать мою жизнь невыносимой, в сто раз худшей, чем смерть». Служители тьмы приписывают ему какие-то отвратительные сочинения, «Буффлерша» толкнула его прямо в когти Юму, Конзье был подкуплен. Все его портреты затерялись, но везде можно видеть портрет, написанный Рамсеем, на котором у него, Руссо, лицо преступника. Его экзальтация граничит с бредом: «До сих пор я претерпевал несчастья; теперь мне надо научиться переносить заточение, боль, смерть — и это не самое трудное^ хуже — осмеяние, презрение, осуждение... Я не знаю ничего величественнее и прекраснее, чем страдать за правду. Я жажду славы мучеников».

Безумие делало его болезненную чувствительность нестерпимой. Этот «осужденный» без доказательств, «приговоренный» без приговора в бреду раздирает себе душу в кровь.

Страдалец решился: со своей «Исповедью» в качестве щита он

заявится в Париж, чтобы затравить зверя в его логове. 10 апреля Руссо наконец покинул Монкен. В течение двух месяцев он жил в Лионе, дружески принятый мадам Буа де Ла Тур и мадам Делессер. Он познакомился с Горацием Куанье, негоциантом, любителем музыки и даже ее сочинителем, и предложил ему написать музыкальное сопровождение к своему «Пигмалиону». Представления «Пигмалиона» и «Сельского колдуна» с успехом прошли в маленьком театре городской ратуши. В начале июня Руссо узнал, что было решено заказать скульптуру Вольтера знаменитому Пигалю и что с этой целью открыта подписка среди литераторов. Он послал два луидора, и Вольтер чуть не лопнул от злости.

Руссо покинул Лион 8 июня. Пять дней он провел за сбором трав в окрестностях Дижона; трактир, в котором он остановился, осаждала толпа любопытных. В Монбаре он захотел воздать почести знаменитому естествоиспытателю Бюффону, которого называл «прекраснейшим пером своего века»; сохранилась легенда о том, что он упал на колени у порога рабочего кабинета Бюффона, в котором тот писал свою «Естественную историю». Храбрость Руссо росла по мере приближения к Парижу: он был уверен, что сумеет разрушить «стену тьмы». 24 июня 1770 года Жан-Жак и Тереза расположились в своем прежнем доме Сент-Эспри на улице Платриер.

ДОРОГА К КОНЦУ

Новость о приезде Жан-Жака произвела сенсацию. Итальянские комедианты предложили ему свободный вход на свои спектакли; во время прогулок на него показывали пальцем; любопытные толпились в кафе «Режанс», чтобы посмотреть, как он играет в шахматы. И дело было вовсе не в том, что люди многое о нем знали, — просто он был «знаменитостью». Гримм заметил: «У этой публики спрашивали, что она здесь делает, и люди отвечали, что хотят увидеть Жан-Жака. У них спрашивали, кто такой Жан-Жак, и половина из них отвечала, что не знает, но что на него надо посмотреть».

Как всегда, пошел поток посетителей. Принц де Линь явился одним из первых под предлогом заказа на переписывание нот (он избегал называть себя по имени). Принц вспоминал впоследствии скромное жилище Руссо, его «противную жену», которая поминутно вмешивалась в их разговор, мягкость и терпение Руссо. Он ушел под сильным впечатлением от «этого чердака, обиталища крыс, но и святилища гения». Узнав, что у этого гения могут быть неприятности, он предложил ему убежище. На следующий же день Руссо нанес визит принцу и был очень красноречив, говоря исключительно о своих врагах и о заговоре: «Его глаза были как две звезды. Гений сверкал в его взгляде и электризовал меня».

Жан-Жак возобновил старую дружбу с мадам Дюпен, мадам Шенонсо, мадам де Креки. Но всем остальным доводилось испытывать на себе его капризы и подозрения. Даже бедная Марианна де Ла Тур, которая храбро приняла его сторону в ссоре с Юмом, была бесцеремонно им отослана. Сдержанность по отношению к себе он принимал за враждебность, явное же дружелюбие было ему подозрительно.

В середине декабря он переехал из отеля Сент-Эспри в квартиру на шестом этаже соседнего дома. Бернард де Сен-Пьер описал это скромное жилище. Меньшая комната служила одновременно прихожей и кухней. Вторая, побольше, была одновременно гостиной, рабочим кабинетом и столовой. В углу — эпинета, единственный предмет роскоши. Две кровати застелены хлопчатобумажным покрывалом в голубую и белую полоску, напоминавшую обои. Мебели мало: комод орехового дерева, большой шкаф, стол, несколько соломенных стульев. На стене — план леса в Монморанси и эстамп с изображением английского короля, его благодетеля. В клетке, подвешенной к потолку, свистела канарейка. На подоконник,

украшенный цветами и растениями, слетались воробьи поклевать хлебные крошки. Жан-Жак переписывал ноты, Тереза чинила белье. Было чисто и аккуратно, как в доме добропорядочного ремесленника. Руссо не хотел более «ни взлетов, ни падений».

Он не забывал, однако, зачем вернулся в Париж. 20 июля он потребовал у мадам де Надийяк свои бумаги, которые доверил ей перед отъездом в Три-ле-Шато. Он принялся дописывать 12-ю книгу «Исповеди», где повествовал о тягостном периоде от запрещения «Эмиля» до изгнания его с острова Сен-Пьер. Полный решимости доказать свою правду, Руссо организует несколько публичных чтений своей книги. Первое состоялось в декабре у маркиза де Пезе, второе — в конце декабря у Дора, третье — в феврале 1771 года для кронпринца Швеции, еще одно — в мае у графини Эгмон. Дора рассказывал: Руссо читал — и его голос ни на минуту не ослабевал, за исключением рассказа о брошенных детях; чтение длилось без перерыва с девяти часов утра до трех часов ночи и исторгало слезы у слушателей. После чтения у графини Эгмон Руссо сказал: «Здесь только правда. Если кто-то знает что-то, что противоречит тому, что я здесь изложил, и тому даже имеется тысяча доказательств, то это знание — ложь и клевета...» Он ждал хотя бы слова, хотя бы знака от кого-либо, кто отважится разоблачить зачинщиков заговора. Ему показалось, что мадам д'Эгмон вздрогнула, но затем спохватилась, и среди присутствующих вновь воцарилась тишина. Исповеди еще не были в моде, и получалось, что Руссо подносит к лицам своих слушателей неприятно обличающее их зеркало.

Этим его попыткам быстро пришел конец. 10 мая 1771 года мадам д'Эпине обратилась к лейтенанту полиции с требованием пресечь скандальные чтения. Магистрат вызвал Руссо для объяснений и дал понять, что его положение не таково, чтобы лишний раз напоминать о себе властям. Его принуждали к молчанию. Итак, прямого столкновения не будет: враг укрылся. Жан-Жак потерпел поражение. Он решил не писать третью часть своей «Исповеди» — не только потому, что когда-то пообещал Конвэю никогда не вытаскивать на свет божий английские события, но и потому, что понял тщетность своих усилий.

Этот запрет на свободу высказывания, естественно, не мог способствовать успокоению Жан-Жака. Когда он познакомится с Дюзо, переводчиком Ювенала, которого представил ему Дюкло, тот имел неосторожность прочитать ему свой «*Портрет обманщика*», в котором Руссо был представлен, по контрасту, как образец искренности. Такая откровенная лесть не понравилась Жан-Жаку: «Вы меня обманываете, месье; я не знаю, с какой целью, но вы меня обманываете». В начале марта

он опять жаловался Рэю, что его письма перехватываются почтальонами, «которые, возможно, состоят в сговоре не знаю с кем».

Впрочем, нельзя было сказать, что Руссо совсем ничем не интересовался. С 1764 года в Польше правил Станислав Август Понятовский, ставленник своей бывшей любовницы, императрицы Екатерины II. Такое вмешательство русской императрицы во внутренние дела Польши способствовало подъему патриотизма среди мелкого дворянства, которое объединилось в Барскую конфедерацию, сражавшуюся против «узурпатора» и вообще — против русских. Французские философы, находясь под влиянием собственного мифа о «просвещенном диктаторе», были ярыми поклонниками Екатерины Великой, императрицы-философа: она ведь тоже боролась с католическим засильем, но только польским, направленным против православия, — и для этого послала, как шутливо отметил Вольтер, «сорок тысяч русских проповедовать терпимость со штыками, примкнутыми к ружьям». В противоположность философам министр Шуазель благоволил к повстанцам, и поляки делегировали к нему графа Михала Вильегорского. Министерство иностранных дел рекомендовало его Рюльеру, бывшему секретарю французской миссии в Санкт-Петербурге, который был знаком с Руссо по Монморанси. Таким образом граф Вильегорский получил возможность доставить знаменитому «Женевцу» нужные документы по польским делам.

Работа спасала Руссо. Он вновь обрел тот достойный тон, который был присущ стилю его «*Общественного договора*». В чем более всего нуждается угасающая польская нация? Более чем когда-либо — в том, чтобы «поставить закон превыше всего». Чтобы выжить, она должна поддержать и укрепить свои национальные отличия: «Если вы сделаете так, что поляк никогда не сможет стать русским, — я уверяю вас, что Россия никогда не сможет подчинить Польшу». Этому способствует воспитание гражданского сознания: «Младенец, едва открыв глаза, должен увидеть свою родину и до самой смерти должен видеть только ее». Руссо упорно стоял на своем идеале античного гражданина и, таким образом, стал основоположником националистических идей последующего века. В наши дни, сетовал он, «нет больше французов, немцев, испанцев, даже англичан, что бы об этом ни говорили; есть только европейцы». Народы перемешиваются и слабеют, теряя присущие им особенности. Необходимо, наоборот, укреплять непреложность национального характера. Поскольку в случае с Польшей, в отличие от Корсики, не шла речь о новой нации, но о государстве, имевшем старинные традиции, то Руссо утверждал, что касаться их можно «только с крайней осторожностью». Поэтому в данном

случае он допускал то, что отрицал в «*Общественном договоре*», ~ систему представительства. Это не было противоречием, но применением его теории к конкретной действительности. В конечном счете он требовал уничтожения несправедливости, губительной для национального согласия: законодательная власть должна принадлежать всему народу. Кроме того, если народ не отвергает аристократию, то может создать что-то вроде «параллельной аристократии» — не наследственной, а основанной на гражданских заслугах.

Политический изоляционизм влечет за собой экономическое обособление в виде системы сельского хозяйства, не нуждающейся в деньгах, — тогда даже оплату чиновникам можно производить натурой. Роскошь и зрелища уступят место общенародным праздникам, а патриотическое искусство поможет сплотить общество. Руссо отважился даже посоветовать полякам сократить слишком обширное трудноуправляемое государство либо посредством федерации, либо даже за счет уступки части территорий.

Утопист? Конечно! Ведь его мысль вдохновлялась мифическими образами Рима и Спарты и идеализированными воспоминаниями о родной Женеве. Однако в январе 1773 года, комментируя его «*Мысли о правлении в Польше*», Гримм не заметил там очень важной вещи. Дело в том, что в предыдущем, 1772 году Россия, Австрия и Пруссия совершили первый раздел рассыпающегося польского «королевского пирога». Таким образом, Руссо оказался в роли оракула, или «профессора предсказательных наук»: ведь он вручил свои «*Мысли*» Вильегорскому еще в июне 1771 года.

В часы, когда Жан-Жак не работал над польским проектом, он уходил собирать травы. Его можно было видеть в Королевском саду в Трианоне, в Булонском лесу. Чтобы доставить удовольствие мадам Делессер и ее маленькой Мадлон, Жан-Жак сочинил даже восемь «*Писем о ботанике*», предназначенных для приучения ребенка «к вниманию, наблюдательности и особенно — к рассудительности». Он готовил также «*Словарь употребительных терминов ботаники*» для распространения среди широкой публики сведений, до тех пор доступных только латинистам. Этот любитель ботаники постепенно становился профессионалом, переписывался с герцогиней Портланд и лионским ботаником де Ла Туреттом. Жан-Жак попробовал даже изготавливать маленькие гербарии для кабинетов естественной истории, но затем перестал: работа была кропотливая, а дохода никакого не приносила. Ботаника снова объединила Руссо с Мальзербом, потерявшим свои владения в результате переворота канцлера Мопеу; к тому же Мальзерб испытал тяжкое потрясение из-за

самоубийства жены. Прежние друзья совершили несколько совместных экскурсий и возобновили переписку, которая, к сожалению, не была свободна от груза прошлого. Жан-Жак отклонил приглашение Мальзерба погостить у него. Очень жаль, отвечал ему Мальзерб: «...Я признаюсь Вам, что гербарии не та тема, на которую я более всего желал бы объясниться с Вами». Имелось в виду «дело с *Эмилем*». Но у Руссо уже сложилось твердое убеждение на этот счет, и объяснения ему не требовались.

Он по-прежнему жил настороже: ожесточенный постоянными пересудами вокруг него, он придавал значение всяким мелочам. В состоянии тихого ужаса Руссо даже написал жалобу 15 января лейтенанту полиции. Вокруг него снова образовывалась пустота. В апреле 1772 года Жан-Жак встретился с мадам де Ла Тур, но не узнал ее. Неизменно преданная ему, она предложила сверить все издания его сочинений, чтобы выявить недочеты. Такое ее усердие показалось ему подозрительным, и он порвал с ней. Теперь он подозревал даже самых верных — мадам Буа де Ла Тур или милую Изабель д'Ивернуа, свою маленькую приятельницу по Мотье. Он повсюду видел «руку врага» и не посещал никого, кроме мадам де Креки. Дю Пейру тоже получил отставку. Поскольку славный Рэй, уже будучи на подозрении, послал ему «*Новую Элоизу*», изобиловавшую опечатками, Жан-Жак счел это доказательством того, что тот тоже «замешан» в «заговоре». Поссорился он и с Вильегорским, который был не совсем аккуратен с копиями «*Мыслей о правлении в Польше*»; одна из копий оказалась у д'Аламбера, другая у Гримма: тот и предложил ее в декабре 1772 года Станиславу Августу, причем совершенно напрасно, так как король Польши уже полгода как располагал этим текстом. Такие неблагоприятные поступки только укрепляли подозрения Жан-Жака.

Тем временем любопытные продолжали добираться к нему на шестой этаж под предлогом заказов на переписывание нот. Тереза охраняла его от случайных посетителей. Знаменитый переписчик изучал принесенную работу, назначал срок, как какой-нибудь сапожник или портной, причем совершенно одинаково обращался со слугами и с важными господами. Работал старательно, исправлял, подчищал — ручался своей честью, что переписанные им партитуры будут безупречны. Единственная выгода, которую Руссо соглашался извлекать из своей известности, — это более высокая цена за свой труд: по десять су за страницу. Это давало ему около 1400 франков в год. Руссо подсчитал, что на ведение его скромного хозяйства ему нужно по меньшей мере 1600 франков. По его записям получалось, что за семь лет он переписал 11 тысяч страниц. Много великих мира сего, тяжело дыша, поднимались по этим ступеням: принц де Линь,

князь Голицын, герцог д'Альб, герцог де Крой, граф де Крийон приходили почтить этого маленького трудолюбивого человека, чье перо неустанно скользило по бумаге.

Руссо запретил себе заводить новые знакомства. И все же в июле 1771 года он свел знакомство с последним близким ему человеком. Бернарден де Сен-Пьер, будущий автор *«Поля и Виргинии»*, уже три года жил в Иль-де-Франс. Они стали часто видеться: зимой — у горящего камина, в теплое время года — на долгих прогулках, один-два раза в неделю.

По свидетельству Бернардена, Жан-Жак старался соблюдать повседневный распорядок жизни и убеждал приятеля в своем душевном здоровье — к сожалению, непрочно. «Я незаметно удаляюсь от всего, что удерживает меня в этой жизни», — признавался Руссо 15 декабря 1773 года мадам Делессер.

Внешне его жизнь выглядела простой и цельной. Летом с пяти часов утра он занимался переписыванием нот; в половине восьмого завтракал, листая свой гербарий. Потом опять принимался за переписывание или даже за сочинение. В сотрудничестве со своим другом Корансезом, зятем Жана Ромийи, старого женевского часовщика, знакомого с Руссо более двадцати лет, он начал сочинять оперу в четырех актах *«Дафнис и Хлоя»*. Чтобы опровергнуть обвинения в плагиате, Жан-Жак сочинил еще шесть новых арий к своему *«Сельскому колдуну»*. Он сочинял также песни, романсы, дуэты, всего около сотни, — они будут объединены после его смерти в сборник *«Утешения в несчастьях моей жизни»*. В полдень — легкий обед: никаких ликеров, немного вина и простые блюда, такие как рагу из сала, баранины и овощей или каштаны с несколькими ломтиками говядины. Иногда — кофе, смакуемый маленькими глотками в павильончике на Елисейских Полях. Если шел дождь, Жан-Жак сидел дома за нотами или гербарием. В хорошую погоду он выходил с тросточкой в руке, со шляпой под мышкой. Или же Тереза прикалывала его шляпу булавкой к одежде, потому что он везде ее забывал. Он любил побродить и поглазеть на что-нибудь — на ярмарочное зрелище или на какую-нибудь диковину. Но вообще город он не любил. Ему нравилось уходить в луга Сен-Жерве, в Клиньянкур, на гору Валерьен, в Менильмонтан, Роменвиль. В семь часов утра он отправлялся в путь вместе с Бернарденем, перекусывал в какой-нибудь деревушке и возвращался с наступлением ночи. Только бы уйти подальше от парижских улиц, где, по его убеждению, любой прохожий мог быть замешан в заговоре против него! И как радостно встречать простых людей, которые его не знают: рабочих, пахарей или женщин, которые судачат у порогов своих домов! Однажды в Ла Мюзетт они с Терезой

повстречали целый класс девочек во главе с их наставницей-монахиней, и Жан-Жак, в восторге от их милого щебетания, угостил всех вафельными трубочками из короба бродячего торговца. Возвратясь, он обычно ужинал печеньем и фруктами. В половине десятого вечера задувал свечу на своем столе.

В течение многих лет недруги Руссо распускали слухи, что он ничего не смыслит в музыке, — и вот в начале 1774 года к нему явился человек, во всеуслышание выразивший свое восхищение Руссо-композитором; он же стал и зачинщиком последней крупной музыкальной ссоры века. Это был Глюк, и привел его Корансез. Он доверил Жан-Жаку партитуру «*Париса и Елены*». 19 апреля Жан-Жак присутствовал на премьере оперы Глюка «*Ифигения в Авлиде*». Он приветствовал также оперы Глюка «*Орфей и Эвридика*» и «*Альцеста*» и сделал блестящий анализ этих двух произведений.

Такие знаки почтения со стороны знаменитого музыканта согревали ему душу. Но затем демоны подозрительности вновь дали о себе знать. Зачем этот Глюк был приглашен во Францию? Возможно, чтобы высмеять его и его музыку? Глюку тоже было указано на дверь.

Руссо снова оказался в плену своих наваждений. В конце 1774 года он переехал в другой дом на той же улице, чтобы избавиться, как он говорил, от «скандального соседства»: имелся в виду торговец картинами, которого он принимал за шпиона. Его настроения становились непредсказуемыми. Однажды он так холодно встретил Бернардена, что тот, уязвленный, не посещал его несколько недель. Встретив его потом случайно на улице, Руссо объяснил ему: «Бывают дни, когда я просто хочу побыть один». В такие дни его тоска становилась невыносимой. Он делался угрюмым, а его поведение — совершенно непонятным. В феврале 1775 года Жан-Жак встретился на представлении «*Ложной магии*» с композитором Гретри: он знал его творчество и бывал с ним очень любезен. Но когда Гретри дружески поддержал его под руку, Руссо резко отстранился: «Предоставьте мне обойтись своими силами!» Такие перемены настроения закрепляли за ним репутацию эксцентричного человека. Он заметно старел, горбился, одно плечо стало ниже другого, черты лица заострились, на лбу и вокруг глаз залегли морщины, рот кривился в болезненной гримасе. Переменчивая публика больше не интересовалась им. Обрел ли он душевный покой или по-прежнему терзался мрачными видениями? Даже Бернарден бывал в растерянности относительно его состояния.

Запретив публичные чтения «*Исповеди*», недруги Руссо обезоружили его, отчего потребность объясниться стала у него еще острее. Этот запрет

стал очередным доказательством западни, устроенной «этими господами» (такой термин употреблял в свое время Паскаль для обозначения иезуитов). Жан-Жаку пришла в голову странная идея — искусственно воспроизвести ситуацию объективного анализа его «дела»: «Необходимо, чтобы я сам сказал, каким взглядом оценивал бы я, если бы был другим человеком, — такого человека, как я». Он может стать самому себе поочередно защитником и обвинителем перед судом публики — в диалогах, где будут звучать позиции «за» и «против». Так с 1772 по 1775 год в строжайшей секретности он сочиняет, чуть ли не «в духе Кафки», беседы «*Руссо судит Жан-Жака*»: эти непоследовательные диалоги пишутся только «в некоторые краткие моменты», ведь долго выносить такое напряжение он не может.

Принцип «*Диалогов*» был прост и одновременно фантастичен. Раздвоившийся Руссо беседует с неким французом о том Жан-Жаке, которого мир совершенно не знает. Руссо прочел сочинения Жан-Жака и восхищается ими; француз их не читал, но повторяет с чужих слов так называемые доказательства его бесчестности. Произведения добродетельны, а их автор — негодяй. Этого не может быть. Но как же восстановить нарушенное единство?

Первый диалог воспроизводит, с безжалостной логикой бреда, теорию о заговоре. Жан-Жак — плагиатор, ложный гений, распутник, «чудовище, изверг рода человеческого», которого «эти господа» договорились оставить на свободе, но под строгим наблюдением. В центре заговора — Гримм и Дидро, но они сумели привлечь на свою сторону публику. На самом деле виной всему — его собственные угрызения совести. Его единственная вина — брошенные дети. Сыграли свою роль и зависть ложных друзей, желание его унижить и сломать. Его заточили в западню, не имеющую выхода: «Как только он где-то оказывается, об этом уже заранее известно, и стены, потолки, замочные скважины вокруг него обустраиваются с определенной целью... Нашли способ превратить для него Париж в пустыню более ужасную, чем пещеры и леса». Это была вселенная его безумия.

Все эти «меры предосторожности» непонятны его собеседнику — Руссо. Почему бы не выставить на свет божий преступления этого негодяя Жан-Жака? И зачем преследовать его, одновременно защищая умолчанием? Как может этот человек так отличаться от произведений, подписанных его именем? Может быть, есть два Жан-Жака? Ведь если книги хороши — их автор не может быть преступником, и наоборот, если автор — преступник, то его книги не могут быть хороши. Если же есть только один Жан-Жак — тогда одно из этих предположений неверно. Чтобы разобраться в этом,

Руссо отправляется на свидание с Жан-Жаком, а его собеседник-француз прочтет его книги.

Во втором диалоге Руссо отчитывается о своем расследовании. Жан-Жак вовсе не оказался «ужасным циклопом», каким его везде описывают. Это человек простой, бесхитростный, мирный — пусть слабый, но любящий добродетель. Это предполагаемое чудовище проводит свою жизнь за сбором трав, за музыкальными занятиями, избегает реальности, создавая свой собственный воображаемый мир. Его преследуют, потому что он имел смелость говорить правду, обличать обманщиков и интриганов и не желал играть в их игры. Очевидно, что Жан-Жак — книжный человек; его жизнь и его принципы составляют единое целое, так что он просто стал жертвой всеобщего заговора. Заключенный в «тройную ограду мрака», он борется, не видя своих мучителей; обвиняемый, он лишен возможности заставить услышать себя, а его палачи ждут лишь того дня, когда он, истощив все свои силы, «освободит их от себя».

Последний диалог предоставляет слово собеседнику-француз, который наконец прочел произведения Жан-Жака. Чтение его просветило: этот автор не может быть негодяем. Француз вынужден признать наличие коварного заговора. И что же — теперь он громко заявит о невинности Жан-Жака? Но зачем? Это означало бы «погубить себя без всякой пользы и не спасти при этом невинного». Поэтому он промолчит, но пойдет вместе с Руссо засвидетельствовать Жан-Жаку свою симпатию и понимание, он соберет доказательства его честности, которые когда-нибудь оценит потомство.

«Диалоги», таким образом, достигали цели — доказать единство человека и его творчества, объединить Жан-Жака и Руссо. Эти порождения глубокой тоски автора населены ужасающими образами. Руссо видел себя «окруженным людьми, каждый из которых начинает с того, что надевает прочную маску; затем они вооружаются до зубов, застают своего недруга врасплох, хватают его сзади, оголяют его, связывают по рукам и ногам, так что он не может пошевелиться, затыкают ему рот, выдавливают глаза, растягивают на земле и затем посвящают свои благородные жизни тому, чтобы понемногу уничтожать его: умирающий от ран не должен слишком быстро перестать страдать от боли». Это бредовое творение строилось по собственным законам и внешне не выглядело бредовым: логика в нем присутствовала, хотя и искаженная лихорадочным воображением. Разум писателя был еще жив, но жуткие видения завлекали его в безвыходный лабиринт. Жан-Жак осужден невидимыми судьями, выслежен безликими шпионами и лишен возможности узнать, в чем его обвиняют; подгоняемый

собственным страхом, он роет для себя бесконечно длинный туннель. Его уходу в себя мир отвечает молчанием; чувство вины требует осуждения человека в то самое время, когда он отчаянно утверждает свою невиновность... Ужасные и невнятные слова, но в течение четырех лет именно они составляли его тайный мир...

Когда «Диалоги» были окончены, Руссо не знал, что с ними делать. Потом решил представить их Богу, положив на главный алтарь собора Нотр-Дам. Это его деяние должно было наделать шума, напомнить о нем — возможно, даже самому королю. На большом конверте он написал: «Подано Провидению». И ниже: «Защитник угнетенных, Бог справедливости и правды, прими это ходатайство, которое кладет на Твой алтарь и доверяет Твоему Провидению обездоленный иностранец, одинокий, без поддержки, без защитника на этой земле, оскорбленный, осмеянный, опозоренный, преданный всем этим поколением... Я жду с надеждой, я полагаюсь на Твою справедливость и смиряюсь перед Твоей волей».

24 февраля 1776 года Руссо зашел в собор и вдруг заметил решетку, ограждающую хоры, — эта решетка была закрыта. Никогда раньше за все время в Париже он не видел этой решетки, преграждающей подход к хорам; он вообще не помнил, чтобы здесь когда-нибудь была решетка или дверь. Сам Бог его отвергал! Жан-Жак вышел из собора и весь день бродил по улицам до наступления ночи и полного изнеможения, пока, «утомленный и одуревший от боли», не вернулся к Терезе, сходящей с ума от беспокойства.

В последующие дни страдалец размышлял: случившееся, возможно, было добрым знаком, благодаря которому его рукопись не попала в руки преследователей. Он узнал, что в Париже находится аббат де Кондильяк, с которым он 30 лет назад каждую неделю обедал в Панье-Флери. Это был честный человек, и Жан-Жак доверил ему свои «Диалоги». Через две недели он пришел с бьющимся сердцем к аббату, надеясь, что покров тайны наконец будет сорван. Он был разочарован: Кондильяк прочел эти листки как литературное произведение, подсказал некоторые поправки и предлагал даже его издать — он ничего не понял или не захотел понять. Тем не менее Жан-Жак оставил ему свое творение и просил передать его надежному лицу, которое обязуется не публиковать его до конца века. Кондильяк оказался неудачной кандидатурой — но что взять с философа, литератора?! Помог случай: проездом в Париже оказался Брук Бутби, его молодой сосед по Вуттону. Жан-Жак передал ему первый «Диалог» — единственный переписанный начисто — и предполагал затем послать ему остальные. Когда Бутби уехал, его опять одолели сомнения: по всей

вероятности, тот тоже вовлечен в обман! Единственным его шансом было обратиться к незнакомым людям. Должно же было остаться хоть несколько честных людей на земле!..

То, что происходило потом, надрывает нам душу. Руссо написал много листков с «воззванием»; патетический заголовок его был *«Каждому французу, еще не переставшему любить справедливость и правду»*. В нем говорилось: «Французы! Вы были когда-то народом любезным и добрым — что стало с вами теперь? Почему вы так изменились по отношению к несчастному иностранцу, живущему здесь из милости, без всякой поддержки, без единого защитника...» С карманами, полными этих записочек, он бродил по улицам, бульварам, гулял в саду Тюильри, всматриваясь в лица. Если он встречал открытые ответные взгляды, то подходил к людям, протягивал им, ни слова не говоря, свою записочку. Одни проходили мимо; другие бросали взгляд на записку и, прочтя обращение, сразу с жестокой прямоотой заявляли, что это их не касается. Никто не захотел прочесть его призыв, никто не захотел увидеть его отчаяния. Тогда он стал посылать записки тем, кто просил встречи с ним, и соглашался принять их только получив ответ. Неудача постигла его и здесь, и он понял, что надо смириться. Он чувствовал себя «лишенным даже того беспокойства, которое дает надежда», и дошел до предела отчаяния. В июле он решил отказаться от попыток самооправдания: «Что бы ни делали люди, Небо сделает то, что должно... Пусть люди отныне делают, что хотят, после того как я сделал то, что должен был; напрасно они будут тревожить мою жизнь— они не помешают мне умереть с миром».

Ничто не могло уже помочь ему. Он нелепо поссорился с мадам де Креки, с которой дружил 25 лет, — единственной, кого он еще навещал. Поссорился только потому, что она попросила его отложить один из визитов: «Я понял вас, мадам. Служители тьмы добрались и до вас».

24 октября 1776 года Жан-Жак возвращался с прогулки со стороны Менильмонтана, как вдруг увидел несущуюся на него во весь опор упряжку лошадей с огромным датским догом впереди. Повозка не успела свернуть и сбила его с ног. Он ударился головой о землю и потерял сознание. Пришел в себя он только с наступлением ночи: его поддерживали какие-то молодые люди. Верхняя губа была рассечена, четыре зуба шатались, лицо распухло и покрылось синяками, правая рука была вывихнута, колени кровоточили и распухли. Удивительным было то, что он совсем не страдал: словно во сне, смотрел, как истекает кровью, как будто всё это происходило с кем-то другим. Он с трудом вспомнил, где живет, и еле добрался до дома. Когда через несколько недель Руссо снова вышел на

прогулку, то увидел на улицах изумленные лица. Оказалось, что 3 декабря «Курьер Авиньона», описав этот несчастный случай, сообщил о его смерти и одновременно — о возможно скором издании его рукописей. Он заключил отсюда, что, как только он умрет, сразу же издадут «набор нарочно сфабрикованных рассказов». Руссо решил больше об этом не беспокоиться: «Господь справедлив, Он хочет, чтобы я пострадал, и Он знает, что я невиновен... В конце все должно прийти в порядок». Он сумеет пройти свою Голгофу.

Теперь Руссо жаждал покоя и искал его в смирении. В начале осени он начал писать, на этот раз только для себя одного, «*Прогулки одинокого странника*». Первая же строка говорила о его покорности судьбе: «Вот я один на земле: ни брата, ни близкого, ни друга — в обществе только самого себя...» Его «*Исповедь*» и «*Диалоги*» были еще наполнены порывами страсти; в них он еще был исполнен надеждой, которая порождает беспокойство и тоску. Ничего этого ему больше не нужно: «Все кончено для меня на земле». Причиной тому стало «событие грустное и неожиданное», случившееся два месяца назад: 2 августа 1776 года умер принц Конти — единственный человек, от которого он мог еще ждать справедливости.

Последнее свое сочинение Руссо предполагал посвятить изучению самого себя, подведению жизненных итогов, которые он в скором времени сложит к ногам Того, Кто судит окончательно и бесповоротно. Мнение людей больше не имело для него значения: «Пусть следят за тем, что я делаю, пусть беспокоятся об этих листках, пусть их крадут и фальсифицируют — отныне мне это безразлично». Руссо вспоминал родную природу, общение с которой приближало его к полноте существования. Пятая «прогулка» возвращала его к чудесному времени на острове Сен-Пьер, где он, плывя в лодке, отдавался могучему и нежному ритму вселенной и его душа, не отягченная раздумьями, соединялась со вселенским бытием, чтобы слиться с ним в первозданном единстве. Теперь он стремился вообще перестать думать, потому что мысль волнует, будоражит; теперь он отпускал себя в мечты, и ему достаточно было простого чувственного восприятия.

Однако мысль настойчиво возникала сама по себе, влекла за собой вопросы. В третьей «прогулке» Руссо восстанавливал долгую историю своих религиозных исканий; в четвертой исследовал-вопрос: был ли он всегда честен по отношению к самому себе; в седьмой прославлял ботанику, которая спасла, его от людей. Он хотел успокоиться, отвлечься, очиститься, но призраки его «*Диалогов*» всё же проникали и в «*Прогулки*»:

он не сумел окончательно изгнать из памяти «безжалостных преследователей», их «зловещие взгляды». Его продолжали мучить угрызения совести, он истощал свои силы в стараниях доказать, что он, покинувший своих детей, всегда любил детей, и его сердце разрывалось: «О, если бы я мог иметь несколько мгновений чистых ласк, идущих от сердца, — они могли бы исходить от ребенка, еще маленького; если бы я мог видеть в чьих-то глазах радость и удовольствие быть рядом со мной... Тогда я не вынужден был бы искать у животных ласкового взгляда, которого не встречал среди людей...»

Они с Терезой старели. С октября 1774 года Жан-Жак перестал приглашать к обеду редких знакомых — из-за «груза лет». Тереза страдала ревматизмом, приливами, головными болями, ей стало тяжело взбираться на шестой этаж. Нужно было нанимать служанку, но он мог выплачивать ей лишь скудное жалованье, да и характер у Терезы был нелегкий. Начиная с августа 1776 года за 14 месяцев у нее сменилось 11 помощниц; случалось, что на несколько недель она вообще оставалась без помощи.

В феврале 1777 года Руссо передал разным лицам записки, в которых описал свое положение и просил тех, «кто ведает нашими судьбами», найти им с Терезой прибежище по их скудным доходам. Его зрение слабело, руки дрожали — в августе пришлось отказаться от переписывания нот и как-то обходиться 1400 франками. Он никому не верил, терял свои бумаги и думал, что их у него крадут. Лучше было бы перебраться в провинцию, потому что в Париже жизнь была слишком дорогой. Чтобы ни у кого не вызывать возмущения, он согласен был посещать мессу, поменять имя — всё что угодно.

В сумерках своей жизни Жан-Жаку довелось увидеть, как весь Париж содрогался от восторга по поводу возвращения Вольтера — после двадцати восьми лет отсутствия. Самому знаменитому литератору своего времени, защитнику «каласов» курили фимиами, как божеству. Это казалось справедливым. Руссо же в это время в одиночестве клеивал образцы растений в свои гербарии.

Руссо хотел еще раз, прежде чем умереть, прочувствовать самые светлые моменты своей жизни. 12 апреля 1778 года он сел за стол, чтобы набросать свои последние в жизни строки: «Сегодня, в Вербное воскресенье, исполнилось ровно пятьдесят лет со дня моего первого знакомства с мадам де Варан. Ей было двадцать восемь лет — она родилась вместе с веком. Мне еще не было семнадцати... Не проходит дня, чтобы я не вспомнил с радостью и нежностью то единственное и короткое время моей жизни, когда я в полной мере был собой, без всякого вмешательства и

препятствий, когда я мог сказать, что действительно живу...» По словам Руссо, всю жизнь он был именно тем человеком, каким сделала его эта женщина, которую он называл Матушкой, — как если бы она действительно была его матерью. Ведь она так и говорила ему, посылая его в Турин: «Когда ты будешь взрослым, ты вспомнишь обо мне». И вот в конце жизни он вспоминал только о ней.

15 мая Мульту постучался к нему в дверь в сопровождении своего сына Пьера. Жан-Жак передал ему рукописи своей «Исповеди» и «Диалогов» и заставил молодого Пьера пообещать, что он заменит своего отца, если тот не успеет выполнить распоряжения Руссо. Больше они не увидятся.

Уставший от жизни философ колебался в выборе своего последнего пристанища. Лебег де Прель, доктор Терезы, посоветовал ему согласиться на предложение маркиза де Жирардена, который был готов принять его в Эрменонвиле. Жан-Жак был знаком с ним с 1774 года, когда тот сделал ему заказ на переписывание нот. Маркиз был его верным последователем и, влюбленный в «Эмилю», растил своих детей в суровых условиях, брал их в далекие прогулки и даже заставлял их «отрабатывать» свой завтрак, карабкаясь за ним на верхушку «призового шеста», как это бывает на народных гуляньях.

20 мая, никому ничего не сказав, Жан-Жак отправился «на разведку» местности. С первого же взгляда она очень ему понравилась. Маркиз обещал выстроить ему маленький домик, а пока ему предназначался небольшой павильон рядом с замком. 26-го числа туда явилась и Тереза. В телеге, которую она привезла с собой, были кое-какая мебель и хозяйственные принадлежности. Жан-Жак выбежал ей навстречу и расцеловал ее: он был счастлив вновь видеть ту, которая в течение тридцати лет следовала за ним из одного изгнания в другое.

В Эрменонвиле Руссо вел размеренный образ жизни. Он любил разговаривать с крестьянами и с сельским кюре, но более всего — исследовать местность. Встав вместе с солнцем, он насыпал зерен для птиц на подоконники, завтракал с Терезой и уходил. Иногда он забывал о времени — тогда преданная женщина шла его искать, и они вместе возвращались обедать. После обеда Руссо вновь уходил, опираясь на длинную палку, обутый в грубые башмаки; его сопровождал второй сын маркиза, мальчик двенадцати лет, очень привязавшийся к нему, — Жан-Жак называл его «мой маленький гувернер». Вечерами Руссо музицировал с хозяевами. Когда солнце начинало садиться, он любил прогуляться по пруду в лодке вместе с хозяйским семейством. Ему так нравилось грести,

что семья Жирарден ласково называла его «наш пресноводный адмирал». Через несколько дней по приезде ему устроили очаровательный сюрприз: музыканты, спрятавшись в роще на Тополином острове, исполнили его любимые мелодии из «*Сельского колдуна*».

Руссо обрел покой, даже немного радости. Хотя силы его слабели; приближение неизбежного воспринималось им легко, почти с нежностью. В конце месяца в Эрменонвиль приехал Лебег де Прель. Вечером Жан-Жак спел своим друзьям «*Романс ивы*» на слова Делейра, положенные на музыку арии Дездемоны из «*Отелло*». Сообщил о своем намерении продолжить писать «*Эмиля и Софи*». 26 июня, когда Лебег уезжал, он попросил его привезти листы для гербария, книги по ботанике и несколько книг о путешествиях, чтобы развлечь Терезу.

2 июля, в четверг, Жан-Жак выпил чашку кофе с молоком и попросил Терезу, которая собиралась выйти, чтобы она расплатилась по счету со слесарем, так как он сам должен был идти в замок — давать урок музыки дочери маркиза. Несколько минут спустя Тереза нашла его сидящим на стуле и стонущим. Он жаловался на боль в подошвах ног, сильный озноб в спине, глухую боль в груди. Тереза послала сообщить об этом в замок. Мадам де Жирарден сразу прибежала, но Жан-Жак попросил ее не беспокоиться и отослал ее. Дальше всё развивалось очень быстро. Он держался за голову обеими руками; ему казалось, что «череп раскалывается». Было десять часов утра, когда он вдруг упал со стула лицом вперед....

Смерть Жан-Жака была вполне обычной, но вскоре, как и при его жизни, о нем начали ходить нелепые слухи. Говорили, будто он покончил жизнь самоубийством — то ли потому что Тереза продала его «*Исповедь*» какому-то издателю, то ли потому, что он изменила ему со слугой, то ли же потому, что его мучили угрызения совести за убийство неверной любовницы. Сама же Тереза взяла за правило рассказывать посетителям о его благостной смерти, сопровождавшейся поучительными речами...

Надо признать, что Тереза (пережившая Жан-Жака на 23 года) сильно разочаровала его поклонников. Она не замедлила поссориться с Жирарденами, Мульту и Дю Пейру, которые брали на себя издание его сочинений. К тому же она стала жить с лакеем маркиза, который ее обирал, и промотала все деньги, полученные за издание произведений Руссо. Во время Революции она постарается извлечь как можно больше выгоды из своего положения «вдовы Руссо». Тереза приобрела известность только благодаря Руссо, и после смерти Жан-Жака она эту известность утратила. Толком не известно, что с ней было потом. Она умерла в возрасте

восьмидесяти лет и была похоронена на маленьком кладбище в Плесси-Бельвиль.

3 июля 1778 года скульптор Гудон прибыл, чтобы снять с Руссо посмертную маску, прежде чем хирурги приступят ко вскрытию тела. У Руссо оказалась рана на лбу — результат падения. Были обнаружены также две маленькие грыжи и некоторое количество жидкости в черепе; причиной смерти была названа серозная апоплексия.

Маркиз Жирарден организовал бальзамирование тела Руссо, приготовил деревянный гроб, обитый тканью и обложенный свинцом, и положил внутрь медальоны с его именем, датами рождения и смерти.

4 июля в 11 часов вечера гроб был помещен в лодку в присутствии Корансеза, Лебега де Преля и старого часовщика Ромийи; крестьяне, выстроившиеся на берегу озера, держали зажженные факелы — их пламя колыхалось на ветру. На Тополином острове маркиз Жирарден пробыл часть ночи вместе с могильщиками: здесь была устроена временная могила, над которой установили погребальную вазу. Когда лодка удалилась от острова, тот, кто называл себя «человеком природы и правды», наконец успокоенный, остался один. Тело его пребывало там до 11 октября 1794 года, когда революционная Франция перенесла останки своего «апостола свободы и равенства» в Пантеон, где он — по иронии истории — будет покоиться рядом с Вольтером.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Ж.-Ж. РУССО

1712, 28 июня — в Женеве родился Жан-Жак Руссо, сын Исаака Руссо, часовщика, и Сюзанны Бернар.

7 июля — смерть матери.

1722–1724 — пребывание в Босси у пастора Ламберсье.

1728 — ученичество у секретаря суда, затем у гравера Абеля Дюкомена.

14 марта — побег из Женевы.

21 марта — встреча с мадам де Варан в Анси.

23 апреля — католическое крещение в Турине.

Лето — встреча с мадам Базиль.

Лето — осень — служба в Турине лакеем у мадам де Вер-сейи.

Конец года — эпизод с кражей ленты Марион.

1729 — служба лакеем у графа Гувона. Возвращение в Анси, пребывание в семинарии, затем ученичество при соборе.

1730, 1 июля — эпизод с мадемуазель де Граффенрид и мадемуазель Клодиной Галле («день вишен»).

1730–1731 — бродяжничество: Анси, Нион, Фрибург, Лозанна, Веве, Нешатель, Фрибург, Берн, Солер, Париж, Лион, Шамбери, где Жан-Жак пробует давать уроки музыки.

1732, осень — Жан-Жак становится любовником мадам де Варан.

1735–1737 — идиллия в Шарметте.

1737–1738 — пребывание в Монпелье.

1740–1741 — Руссо пребывает в Лионе в роли наставника в семье Мабли. «Послание г-ну Борду».

1742 — «Послание г-ну Паризо». Приезд в Париж и передача в Академию наук проекта нотной записи.

1743 — «Диссертация о современной музыке». Опера «Любовные музы».

1745 — связь с Терезой Левассер. Дружба с Дидро, Гриммом. Проект «Пересмешника». Сотрудничество в «Энциклопедии».

1747–1752 — рождение у Терезы пятерых детей.

1749, октябрь — озарение в Венсене. «Рассуждение о науках и

искусствах».

1751–1752 — публикация «Рассуждения о науках и искусствах». Проект «реформы». Написание и представление «Сельского колдуна». Предисловие к «Нарциссу».

1753 — «Письмо о французской музыке». Путешествие в Женеву.

1753–1754 — «Рассуждение о происхождении и основах неравенства между людьми». Его публикация. «Рассуждение о происхождении языков».

1754 — последняя встреча с мадам де Варан.

1755 — статья «Политическая экономия» для «Энциклопедии».

1756, 9 апреля — приезд в «Эрмитаж» к мадам д'Эпине. Весна — начало работы над «Новой Элоизой».

18 августа — письмо Вольтеру о Провидении.

1757, январь — первый визит мадам д'Удето.

Июнь — эпизод в роще Обонна.

Лето — осень — «эрмитажные дела».

15 декабря — Руссо покинул «Эрмитаж» и устроился в Мон-Луи.

1758 — «Письмо д'Аламберу о зрелищах». Разрыв с Дидро. Работа над «Новой Элоизой», «Эмилем», «Общественным договором».

1761, январь — публикация «Новой Элоизы».

1762, весна — публикация «Общественного договора» и «Эмиля».

9 июня — запрещение «Эмиля». Приговоренный к аресту, Руссо покидает Францию.

Июнь — июль — Ивердон, затем Мотье. «Левит Эфраим».

1763, февраль — «Письмо Кристофу де Бомону».

1763–1764 — «Письма с горы», «Проект конституции для Корсики». Волнения в Женеве и Мотье.

1765, ночь с 6 на 7 сентября — забрасывание камнями дома Руссо в Мотье. Уединение на острове Сен-Пьер.

Конец октября — изгнание с острова Сен-Пьер по приказу сената Берна. Отъезд в Баль, Страсбург, Париж.

1766, 4 января — Руссо отбыл в Англию в сопровождении Юма.

Весна — Руссо позирует для портрета Рамсею.

22 марта — прибытие в Вуттон, во владения Ричарда Дэвенпорта. Руссо продолжает работать над первой частью «Исповеди», начатой в Мотье.

1767, 1 мая — Руссо покинул Вуттон.

22 мая — Руссо отплыл в Кале. После краткого пребывания во Флери-под-Медоном у Мирабо Руссо расположился в Три-ле-Шато под покровительством принца Конти.

1768, 12 июня — Руссо покинул Три-ле-Шато и отправился через Лион в Гренобль.

13 августа — Руссо задержался в Бургуэне.

30 августа — Руссо в присутствии двух свидетелей объявляет Терезу своей женой.

1769, январь — Руссо переехал в Монкен.

Ноябрь — редактирование второй части «Исповеди».

1770, 26 февраля — письмо господину Сен-Жермену.

10 апреля — отъезд из Монкена в направлении Лиона.

24 июня — прибытие в Париж и поселение в отеле Сент-Эспри.

Конец года — окончена 12-я книга «Исповеди».

1771, июнь — закончены «Мысли о правлении в Польше и его предполагаемом реформировании». Составление «Писем о ботанике».

1772–1775 — диалоги «Руссо судит Жан-Жака».

1776, 24 февраля — тщетная попытка оставить рукопись «Диалогов» в соборе Нотр-Дам.

24 октября — несчастный случай вблизи Менильмонтана.

1776–1778 — «Прогулки одинокого мечтателя».

1778, 12 апреля — редактирование последней части «Прогулок».

20 мая — переезд в Эрменонвиль к маркизу Жирардену.

2 июля, 10 часов утра — смерть Руссо.

3 июля — скульптор Гудон снял с Руссо посмертную маску.

4 июля, 11 часов вечера — Руссо похоронен на Тополином острове.

1794, 11 октября — останки Руссо перенесены в Пантеон.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения: В 3 т. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1961.

Руссо Ж. Ж. Трактаты. М.: Наука, 1969.

Роланд-Гольст Г. Жан Жак Руссо: его жизнь и сочинения. М., 1923.

Верцман И. Жан-Жак Руссо. М., 1958 (2-е изд. М., 1976).

Асмус В. Ф. Жан Жак Руссо. М., 1962.

Лотман Ю. М. Руссо и русская литература XVIII в. // Эпоха Просвещения. Л., 1967.

Манфред А. З. Три портрета эпохи Великой Французской революции. М., 1977 (2-е изд. М., 1989).

Сиволап И. И. Ж.-Ж. Руссо в советской литературе. 1917–1976 гг. (к 200-летию со дня смерти) // Французский ежегодник. 1976. М, 1978.

Дворцов А. Т. Жан Жак Руссо. М., 1980.

Ж.-Ж. Руссо: Pro et Contra / Авт. — сост. А. А. Златопольская и др. М., 2005.

Другач Т. Б. Три портрета эпохи Просвещения. Монтескье. Вольтер. Руссо (От концепции просвещенного абсолютизма к теориям гражданского общества). М., 2006.

Занин С. В. Общественный идеал Жан-Жака Руссо и французское Просвещение XVIII века. СПб., 2007.

Морлейд. Руссо / Пер. с англ. 2-е изд. М., 2012.

INFO

Труссон Р.

Т 78 Жан-Жак Руссо / Реймон Труссон; пер. с фр. Е. А. Чижевской. — М.: Молодая гвардия, 2015. — 328(8] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: Малая серия: сер. биогр.; вып. 95).

ISBN 978-5-235-03854-7

УДК 821.133.1.0(092)

ББК83.3(4Фр)

.....

FB2 — mefysto, 2022

notes

Примечания

1

Лье — старинная французская мера расстояния, равна 4,44 километра.
(Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, примечания переводчика.)

Левантинцы — потомки европейцев, переселившихся в прибрежные районы Ливана и Сирии в начале Крестовых походов и смешавшихся с местным населением.

Лазаристы — члены католического монашеского братства Святого Лазаря.

Францисканцы — католический монашеский орден, основанный в начале XIII века Франциском Ассизским; члены ордена исповедовали нищенство и, как и доминиканцы, ведали инквизицией.

5

Французский поэт (1670–1741).

Послание (*греч.*) — литературный жанр в форме письма-обращения к тому или иному лицу, часто — в стихотворной форме.

Знаменитый итальянский поэт-гуманист (1474–1533). Автор героической поэмы «Неистовый Роланд», комедий «Чернокнижник», «Сводня».

Популярный в свое время буколический («пастушеский») роман Оноре д'Юрфе, яркий образец «жеманной литературы». Действие в нем происходит в VII веке.

Во французском языке слово «*maîtresse*» имеет два значения: «хозяйка» и «любовница».

10

Настойка на спирту, в состав которой входит опиум.

Беспорядочные взаимоотношения между полами, которые, как считается, предшествовали установлению в человеческом обществе норм брака и семьи.

Мистическое течение в протестантизме, отвергавшее внешнюю церковную обрядность и призывавшее к углублению веры как таковой.

Янсенизм — религиозно-философское течение в католицизме, начало которому положил голландский богослов XVII века Янсений. Янсенисты резко выступали против иезуитов. Порт-Рояль — знаменитый женский монастырь в Париже, оплот янсенизма, вокруг которого объединялись образованные и талантливые светские люди. Школы при нем и учебники были лучшими на то время.

Невидимые при обычном свете чернила, используемые для тайнописи.

Якобиты — сторонники свергнутого английского короля Якова II Стюарта.

Судья.

В древнегреческой мифологии — бог богатства.

Велась в 1740–1748 годах коалицией европейских государств (включая Францию), отрицавших наследственные права австрийской императрицы Марии Терезии, против другой коалиции (включавшей Россию).

Пьер Карле де Шамблей де Мариво (1688–1763) — французский писатель, и драматург.

Деизм — религиозно-философская доктрина, полагающая Бога мировым разумом, создавшим некую «Машину природы», которая, однако, отвергает дальнейшее «вмешательство» Его в жизнь Вселенной и человека; единственным путем познания Бога предполагается разум.

Эфраим Чемберс (Шамбер; ум. 1740) — британский переводчик и книгоиздатель. Подготовленная им «Циклопедия» стала одной из самых популярных энциклопедий эпохи Просвещения.

«Служанка-госпожа» (*ит.*).

Вале — кантон в Швейцарии.

В переводе с французского — уединение, отшельничество.

Французский философ-просветитель (1715–1780), автор «Трактата об ощущениях». Сотрудничал в «Энциклопедии».

Французский поэт (1716–1803), автор поэмы «Времена года».

Какуаки — прозвище, данное энциклопедистам их врагами. Два памфлета Ж. Н. Моро («*Воспоминания о какуаках*» и «*Дополнения к истории какуаков*») были опубликованы в Париже в 1757 году. Выше упомянуты яростные противники энциклопедистов: писатель и памфлетист Шарль де Монтенуа Палиссо (1730–1814) и литературный критик Эли Катрин Фрерон (1718–1776).

Сторонники доктрины Фаусто Соццини (1537–1604), итальянского богослова, отрицавшего догмат о Святой Троице.

Оратория — объединение католических священников, созданное в Риме для пропаганды католицизма и перенесенное во Францию.

Посвятить жизнь правде (*лат.*).

Французский естествоиспытатель, почетный член Петербургской академии наук (1776). В трактате «*Естественная история*» высказал идею о единстве построения органического мира.

Необходимо держать в памяти точное значение терминов, употребляемых Руссо, чтобы правильно понимать формулу, выведенную им в «*Письмах с горы*»: «Лучшее из правительств — аристократическое; худший из суверенов — аристократический». (Прим. авт.)

Duc (*фр.*) — герцог.

Turc (*φρ.*) — турок.

Известный парижский хирург (в миру — Базейлак).

Возможно, автор имеет в виду, что это был представитель клана знаменитого итальянского архитектора XVI века Бернадони.

«Дворянство мантии» — то есть приобретенное на государственной службе; «дворянство шпаги» — приобретенное на военной службе.

Глава судебно-административного округа в средневековой Франции.

Известные в свое время главари преступного мира.

Турецкого наместника Алжира.

Неприкосновенность территории и личности на ней. (Тампль — старинный замок, бывший резиденцией ордена тамплиеров. Во времена Руссо принадлежал ордену госпитальеров, в котором принц Конти пользовался большим влиянием.)

Английский «писатель (1717–1797), основатель жанра романа ужасов и тайн — «готического романа» («*Замок Отранто*»). Его притчи («*Иероглифические сказки*») являются самым ранним образцом сюрреализма в литературе. Также оставил ценные исторические мемуары.

Страницы из дневника, описывавшие «подвиги» Босуэлла, позднее были вырваны одной из его наследниц. Но в 1927 году их еще смог прочитать полковник Исхэм, американский коллекционер, который затем их прокомментировал. *(Прим. авт.)*

Старинный музыкальный инструмент.